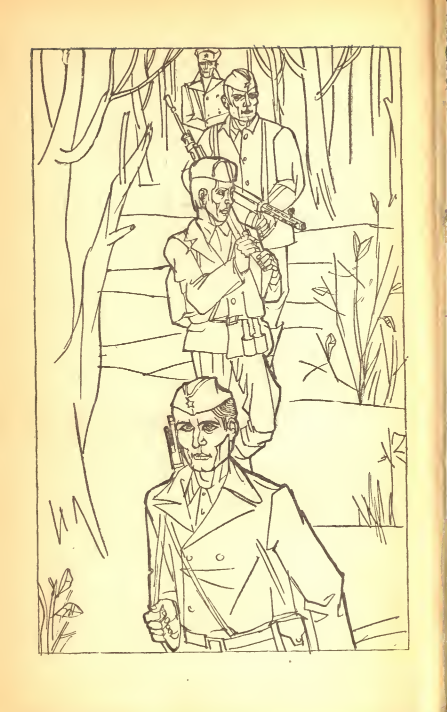
АНДРЕЙ ДУГИНЕЦ

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ БОЯ






В
И



АНДРЕЙ ДУГИНЕЦ

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ БОЯ

роман

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1974

Р2
Д80

Д $\frac{70302-264}{068(02)-74}$ 151-74

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



I

Пепелище было залито дождем, прошедшим в полдень, и Сарбаев никак не мог определить, когда здесь горел костер. Если вчера, то ни одной искорки, конечно, не осталось. А если сегодня утром, то, может быть, под золой еще таится тлеющий уголек.

Носком облупившегося кирзового сапога он копнул пепелище. Мокрая зола поддалась легко. Наружу выкатились крупные черные угольки.

Ясно! Дождь залил костер, когда еще был сильный огонь. Иначе угольки перегорели бы и зола стала бы мелкой, белесой.

Преодолевая смертельную усталость, Сарбаев присел и хворостинкой начал ворошить пепелище.

И вдруг из-под палочки пыхнула сухая зола. Сарбаев приложил руку — тепло. Быстро, нетерпеливо начал прощупывать пальцами золу.

— Джума, чего ты там? — послышался слабый голос из кустарника, окружавшего большую березу, вершина которой была срезана снарядом. — Неужели надеешься найти картошку?

Джума ничего не ответил, продолжая лихорадочно шарить по разворошенному пепелищу. И вдруг отдернул руку: нащупал горячий уголек, потом другой. Положил их плотно один к другому и, прикрывшись плащ-палаткой, начал дуть. Между угольками в темноте сверкнула желтая искорка. Загородив ладонями угольки, стал дуть сильнее.

— Товарищ командир, живем! — в радостном волнении закричал Сарбаев, прикрывая драгоценную находку, уже обжигавшую ему и руки и лицо. — Березовой коры бы! Отдерите, киньте, а то угаснет, если отойду!

— Неужели огонь? — удивленно спросил лежавший под березой худой, изможденный человек в истрепанной полевой форме. — Не отходи. Притащу...

И он начал сдирать кору. Но, убедившись, что толстая кора березы не поддается его ослабевшим пальцам, зубами прогрыз бороздку и начал одно за другим сдирать розовато-белые кольца бересты... Зажав свою добычу в кулаке, пополз к очагу, с трудом волоча распухшую правую ногу.

— Джума, вот! — Он сунул пучок бересты в руку то-

варища, который распластался над огнем, как наседка над цыплятами. — Сейчас еще хворосту насобираю.

Командир вернулся к березе и начал собирать сучки, которые быстро сохнут и хорошо горят. Сучочки были тоненькие, чуть толще спички. Но именно такие и нужны для растопки.

...Целые сутки полковник Стародуб, командир стрелкового полка, потерпевшего поражение в неравной схватке с фашистами, и лейтенант Сарбаев пробирались по глухому белорусскому лесу. Ни хлеба, ни лекарств. Они бежали из плена. Полковник был ранен осколком в бедро. Идти он не мог, последние три километра Сарбаев тащил его на себе. В плену рана загрязнилась, но даже воды не могли они вскипятить, чтобы ее промыть, — не было спичек. И потому-то они так обрадовались возможности развести костер.

Набрав за пазуху сучков, зажав под мышкой большую сухую ветку, Стародуб опять подполз к товарищу.

Полулежа, Джума потихоньку дул на угли, от которых уже тянулась сизая, веселая струйка дыма.

«Да, истинный сын степей! — тепло подумал Стародуб о своем спутнике, урожепце Казахстана. — Горожанин и не глянул бы на залитое дождем пепелище. А он вернул его к жизни!»

Дымок вдруг пожелтел, напыжился и ударил бойким голубоватым огоньком. Потом огонь стал красным, костер затрещал весело и победно.

Сарбаев встал возбужденный и радостный. Никаких признаков усталости не было на смуглом остроносом лице черноволосого крепыша.

Сняв с ремня полковника котелок и больше не заботясь о костре, который разгорался все сильней и стремительней, Сарбаев быстро пошел к ручью, отчетливо обозначавшемуся полоской высокого рогоза у опушки леса.

Уже совсем стемнело, когда отмыли, обложили подорожником рану и снова забинтовали остатком нижней рубашки.

Во тьме костер пылал жарче и увереннней. Он потрескивал, шипел, недовольно пофыркивал.

— Костер скулит, как мой желудок, — нашел в себе силы пошутить снова приунывший Джума. — Брось кусок мяса, сразу успокоится.

— Не дразни! — сказал Стародуб.

Бросить в голодающий костер было нечего. Картофельное поле видели только издали, да и то еще вчера. Не оказалось и рыбы в ручье, сколько Джума ни бродил с гимнастеркой, завязанной у воротника. А он был отличный рыбак. Но это там, на родине, в старицах Ишима. Тем же способом он пытался ловить и тут, не зная, что вьюн, главная рыба здешних ручейков и речушек, не плавает в воде, а прячется под корягами да в глубокой тине. И это не просто рыба, а второй после картошки хлеб жителей этих мест.

— Товарищ командир, разрешите мне сходить в село, добыть еды? — попросил Сарбаев.

— В село опасно. Там могут быть немцы.

— Ну, на тот хутор, что обходили вчера.

— Очень далеко.

— Вдвоем далеко. А один я за три часа обернусь. Пойду вдоль ручья, он, как тропинка, сам приведет.

— Да, это верно,— согласился Стародуб.— Тогда спи. Набирайся сил. А на зорьке я тебя разбужу.

Сарбаев собрал большую кучу хвороста. В костер бросил несколько пней, чтоб тлели до самого утра, лег и сразу уснул.

Полковник долго смотрел на багрово-черное от пожаров небо в той стороне, куда с дымом и грохотом ушла война, и думал о том, как нелепо, в самом начале войны, выбило его из седла...

— Огонь! Бей! Бей! Гранаты! Вперед! — закричал во сне Сарбаев.

Стародуб, смочив пальцы в котелке с холодной водой, приложил руку ко лбу спящего. Тот облегченно вздохнул и успокоился.

Подбрасывая хворост в затухающий костер, Стародуб вспоминал свой путь с этим юношей, которого до войны совсем не знал.

...Полк отражал четвертую за день немецкую атаку.

Стародуб вышел из своего блиндажа и стоял в траншее рядом с пулеметчиком, наблюдая за полем боя. По ровному лугу, простирающемуся перед траншеей, развернутой цепью приближались гитлеровцы. Позиции полка были изрыты авиационными и снарядными воронками, загромождены подбитыми в вечернем бою танками, связь с батальонами прервана, но оставшиеся в живых бойцы

продолжали вести огонь: Стародуб видел, как в наступающей цепи то тут то там падали немцы.

— Молодец! Так их, круши,— прокричал Стародуб пулеметчику.

В это время в траншею спрыгнул незнакомый смуглолицый лейтенант, офицер связи из соседнего полка. Он доложил, что полк просит помочь отбить немцев, прорвавшихся на стыке. Вдруг возле траншеи разорвался снаряд и завалил Стародуба до пояса землей. Полковник попытался встать, но правая нога подломилась, он ощутил острую боль и понял, что ранен. Незнакомый лейтенант наклонился над ним и стал вытаскивать его из-под кучи земли. Лейтенант хотел внести полковника в блиндаж, но увидел, что вход в блиндаж плотно засыпан землей, и понес его в кустарник, росший позади траншеи. Там лейтенант осмотрел ногу полковника и стал перевязывать рану индивидуальным пакетом. Но в этот момент в кустарнике раздались гортанные выкрики бегущих прямо к ним гитлеровцев. Первый немец уже поднял на них автомат, но бежавший за ним офицер остановил его, указывая на петлицы Стародуба:

— Эр ист оберст! Полкофник!

Так Стародуб и Сарбаев оказались в лагере для военнопленных.

Сарбаев стал санитаром в лазарете, чтобы помочь Стародубу залечить рану. Однажды Джуме представилась возможность бежать: с группой пленных он был назначен хоронить в лесу умерших за ночь пленных. Стародуб знал, что группа решила расправиться с конвоирами и бежать. Но Джума прикинулся больным и остался в лагере. Стародуб в сердцах сказал ему:

— Почему ты остаешься? Иди! На свободе снова будешь сражаться с фашистами!

— Я спас вас не для того, чтобы теперь бросить беспомощным,— твердо ответил лейтенант.

— Но почему ради меня ты будешь рисковать своей жизнью?

— Я потерял командира своего полка, который был для меня отцом. Я ведь круглый сирота, детдомовец... А вы друг юности моего названого отца. Он часто рассказывал бойцам о ваших подвигах в гражданскую войну...

— Та война была совсем другая, — тяжело вздохнул Стародуб. — А теперь вот сам видишь, что получается...

Враг сумел нахрапом прорваться в глубь нашей страны... Видно, чего-то мы не додумали, не доделали...

Через месяц пленных погнали в другой лагерь, на запад. Гнали колонной по восемь человек в шеренге.

Плен вымотал силы Стародуба, на марше еще не зажившая рана стала кровоточить, и полковника с одной стороны поддерживал Джума, а с другой — рослый сержант в форме танкиста.

Невыносимо тягостным и унизительным был этот путь для Стародуба. Больно было за своих людей, с которыми конвоиры обращались хуже, чем со скотом. Ослабевших и отставших гитлеровцы тут же пристреливали. За двое суток перехода Стародуб не запомнил ни одного лица. Да лиц в колонне, казалось, и не было — со всех сторон мельтешили пропитанные кровью и почерневшие от пыли бинты и повязки, синяки и кровоподтеки. У одного была замотана вся голова и глаза могли смотреть только вниз, под ноги. У другого завязаны глаз и ухо, у третьего сквозь тряпье чуть поблескивал единственный глаз. Все говорило о том, что в плен люди попали в горячем бою, после тяжелого ранения. И только жилистый, как опаленная степным солнцем коряга саксаула, казах Сарбаев был цел и невредим.

Во время перехода полковник не раз советовал Джуме бежать.

Но тот неизменно отвечал:

— Убежим только вместе!

А как мог убежать Стародуб, если он и шел-то с огромным трудом!

Широкая, выложенная булыжником дорога вошла в старый смешанный лес, который так и манил в свою густую зеленую глубину.

Немцы приказали пленным сомкнуться и никого не выпускать из своей шеренги. Если из восьмерки убежит один, будет расстреляна вся шеренга.

Страшный, неумолимый приказ. И все же, только втянулись в лес, из колонны то там, то тут начали убегать. После первого расстрела заложников пленные притихли, но азарт побега охватил всех.

Свежий лесной ветерок казался дыханием самой свободы, которое обновляло силы и окрыляло, несмотря на беспощадную расправу конвоиров.

Вот из шеренги впереди Стародуба вырвался высокий парень с забинтованной головой и влетел в густой ольшаник. Пока немец стрелял ему вслед, оставшаяся в строю семерка, обреченная теперь на расстрел, убежала в другую сторону. За нею последовала и шедшая позади шеренга.

— Шестнадцать человек спаслись! — радостно воскликнул Стародуб и толкнул Джуму: — Беги в другую сторону. Беги!

— Только вместе! — сжал ему руку Сарбаев.

— Беги, дурень! Мне все равно погибать, а ты на воле еще убьешь не одного фашиста! Беги! Я тебе приказываю!

— Мы оба убежим. Я чувствую. Понимаете? Всем сердцем чувствую, что сегодня убежим.

Стародуб сердито выругался.

Но тут внимание обоих привлекло событие, разыгравшееся возле дороги, событие, которое многим перевернуло душу, — печальная, постыдная трагедия нищего духом...

Упустив целую группу пленных, конвоир лихорадочно начал перезаряжать винтовку. Но, видя, что выстрелить ни в одного из убегающих уже не успеет, — канут они в лес, как в воду! — он кинулся вслед за беглецами. И на этот раз ему повезло, он почти догнал маленького, совсем обессилевшего человека в солдатских бриджах, в серенькой гражданской сорочке нараспашку. Бедняга, по сути, не бежал, а семенил мелкой старческой трусцой, хотя с виду был совсем молодым.

Рассвирепевший от прежних неудач конвоир решил догнать и штыком заколоть незадачливого беглеца.

Все время оглядывавшийся человечек, угадав намерение своего преследователя, понял, что убежать не удастся, решил вернуться назад и тем умилостивить фашиста. Остановившись, он начал истово, как в церкви, креститься и фальцетом истерично выкрикивать:

— Я сын попа! Я сын попа! Не стреляйте! Я ваш...

Крепко сжимая винтовку, все больше наливаясь яростью, немец бежал прямо на него. Остро сверкающий штык был твердо нацелен в грудь.

Видя неминуемую гибель, беглец упал на колени и во весь голос завопил:

— Я сы-ын...

Немец со всего разбега, со всей своей фашистской яростью вонзил штык в грудь беглеца да вдобавок выстрел за выстрелом выпустил всю обойму, так и не дав этому несчастному в последний раз сказать, чей же он сын.

И на самом деле: чей он сын? Чей брат? И неужели этот трус чей-то жених или муж?

Вопрос этот долго тревожил притихших, настороженно присмиревших пленных, особенно тех, кто еще надеялся на побег.

Густой, запущенный лес подошел вплотную к дороге, бежать здесь было удобно, только бы сила да воля. И многие бежали. Но не из той сотни, которая видела постыдную гибель сына попа. Его позорный конец надолго сковал волю даже самых отчаянных.

Страшно было подумать, что вдруг и тебе случится погибнуть на глазах всех товарищей вот так же унизительно и непристойно. Именно непристойно!

Дрожь пробирала при одной только мысли об этом.

— Уж если умирать, так чтоб потом никому за тебя не было стыдно! — сказал Стародуб.

И никто не знал, даже Джума Сарбаев, что сам Стародуб думал теперь о смерти — о смерти достойной, такой, которая хотя бы одного из товарищей вернула к жизни, к борьбе. И опять пытался он заставить Джуму спастись бегством, броситься направо, увлечь всю шеренгу, в то время как сам он метнется влево, сделает вид, что хочет бежать, чтобы отвлечь внимание конвоира от настоящих беглецов. Но Сарбаев отвечал твердо:

— Только вместе!

В голову приходили все новые и новые способы побега. Полковник тут же ими делился с соседями по шеренге, и многих они выручали. И может быть, лишь потому, что еще нужен был другим, не умер тогда в дороге полковник Стародуб. С помощью Джумы и танкиста, шедшего слева, он дотащился до городка, за которым колонну ожидал еще пустой, только что оборудованный на бывшем ипподроме лагерь.

Раньше здесь, видимо, была конюшня для скаковых лошадей. Два длинных деревянных помещения и огромный двор, обнесенный высоким дощатым забором. Немцы поверх забора протянули колючую проволоку, а по четырем углам соорудили вышки, с которых уже смотрели

вниз тупорылые пулеметы. Посередине двора что-то дымилось.

— Отсюда не убежишь! — обреченно сказал Стародуб, когда вошли в широко раскрытые ворота, где по обеим сторонам стояли немцы с автоматами на груди и резиновыми дубинками в руках. — Так что зря ты надеялся на лучшее, Джума...

Сарбаев молчал. Он и сам начинал бояться, что ошибся в своих ожиданиях.

Среди дыма были видны железные бочки, под которыми горели дрова. На столбе возле этой импровизированной кухни хрипел, словно пробовал отсыревший голос, громкоговоритель.

— Смотри, как нас шикарно встречают! Жаркое готовят! — с горькой усмешкой заметил высокий сутулый сосед Стародуба.

— Может, и правда на работы пошлют, — серьезно добавил другой, видно еще надеявшийся на перемену в своей судьбе.

Из репродуктора вдруг вырвался зычный дребезжащий голос какого-то наймита-переводчика. Он сообщил, что сейчас будет роздана каша.

— У кого нет котелка, подставляй шапку или откатывайся, не задерживай других. На обед отведено пятнадцать минут. К котлам подходить колоннами, строго по порядку!

У конвоиров была узаконенная пытка — не давать пленным воды во время перехода. Но теперь конвойные остались у ворот, отдыхали, курили. А пленными командовал только громкоговоритель. Увидев это, измученные жаждой люди бросились к колодцам, которых тут было четыре — по два возле каждой конюшни.

Из репродуктора, словно щелчки пистолетных выстрелов, посыпались короткие властные приказы на немецком языке, и все стоявшие у ворот конвоиры и лагерные автоматчики бросились отгонять пленных от колодцев.

Обозленные тем, что им не дали отдохнуть, конвойные орудовали где прикладом, а где и штыком. Лагерная охрана сперва действовала дубинками, а потом тоже пустила в ход приклады автоматов.

Десятки людей валились замертво. Но давка вокруг колодцев все возрастала: люди не пили двое суток. Немцы подняли стрельбу, свистели, кричали.

Оставив Стародуба в очереди за кашей, Джума тоже побежал к одному из колодцев. Но еще издали понял, что к воде ему не пробиться: немцы стреляли прямо в толпу, окружившую колодец. Джума решил вернуться, чтобы, чего доброго, не потерять полковника в тысячной толпе. И тут он заметил немца, не похожего на остальных.

Заложив руки за спину и придерживая там винтовку, словно боясь, что она сама выстрелит, этот высокий сухой немец метался на пути бегущих к колодцу пленных и как-то страдальчески умолял вполголоса, почти шепотом:

— Камрад, цурюк! Камрад, назат! Вассер не можно!

Он то и дело поправлял готовые сорваться с носа очки в тонкой золоченой оправе и опять, закинув за спину руки, повторял:

— Камрад, назат! Цюрюк!

Он словно забыл, что за плечами у него оружие, которое лучше всяких слов могло бы остановить пленных.

Заметив пристальный взгляд остановившегося рядом пленного, немец вдруг нахмурился, поправил очки, чтобы лучше рассмотреть любопытствующего, и вдруг кивнул в сторону сарая:

— Там можно ходи до матки!

Джума растерянно развел руками, он сначала не понял немца: таким невероятным было то, что тот говорил. Но, встретив его ободряющий взгляд за стеклами очков, увидев бледное, страдальческое лицо с белым пятном на месте срезанной до половины брови — следом очень давней раны, — он радостно улыбнулся ему и тихо ответил:

— У меня есть камрад, геноссе, — и для разъяснения поднял два пальца.

— Гут! Давай, геноссе! — бросил немец и снова заметался туда-сюда. — Камрад, цурюк! Камрад, назат!

Стародуба Джума нашел у котла и буквально поволок за собою, пользуясь тем, что конвоиров рядом не было. По пути он рассказал о необыкновенном немце.

Слушая его, полковник с опаской посмотрел на вышки, стоявшие по углам лагеря.

— Павел Прокофьевич, скорее, — нетерпеливо шептал Сарбаев. — С вышек смотрят не на нас. Они любуются тем, что происходит возле котлов и у колодцев. Видите, как хохочут эти сытые морды!

Стародуб пристальней посмотрел на вышки и понял,

что товарищ прав. Пулеметчики сидели, свесив ноги, и, приставив к глазам бинокли, словно в цирке, смотрели на середину двора.

Когда подошли к длинноногому немцу, тот вдруг уронил свои очки и, нагибаясь за ними, прошептал:

— Шнель! Бистро! До свиданья!

— Спасибо, товарищ! — ответил Джума и прижал к плечу кулак, как делают рабочие в знак солидарности.

И пока тот поднимал очки, они со Стародубом скрылись в сарае, где сразу же увидели пролом в стене, который, наверное, и имел в виду немец.

— Было бы среди них побольше таких, как этот! — сказал полковник, когда, выбравшись из сарая, они оказались перед плотным, высоким забором из толстых почерневших досок.

Через такую ограду раненому перебраться невозможно. Это Джума понял сразу. Схватив какую-то палку, он пробрался по бурьяну к забору и, прильнув к черной торфянистой земле, начал подкапывать ее. Стародуб не мог оставаться без дела, подполз и стал руками выгребать из подкопа землю. А увидев, что у Джумы сломалась палка, подал обломок доски, найденный возле пролома.

Сзади не смолкали крики, свист, рев, стрельба. Там страдания, муки. Там смерть. А здесь надежда, здесь путь к свободе.

Руки работали все быстрей и ловчей. А спина и затылок леденели от ужаса. Хотелось оглянуться, но некогда: каждый взмах руки приближал свободу.

Еще немного! Еще!

Но по кому это строчат пулеметы?! Может, заметили подкоп?

Беглецы еще ниже припадают к земле, укрываясь в бурьяне, и роют, роют, роют! Земля становится все суше и тверже.

— Товарищ командир, попробуйте! — вылезая из норы, весь мокрый от пота, сказал Джума. — Если вы пролезете, то и я...

Стародуб полез в подкоп. И когда высунул голову по другую сторону ограды, в глаза ему ударило солнце. Яркое вечернее солнце. Такое яркое, какого он никогда не видывал ни до, ни после этого дня. Да никогда оно больше и не покажется ему таким, потому что это было солнце свободы!

Джума проскочил следом и, подхватив командира под руку, повел вдоль ограды.

— Правильно делаешь, что сразу не берешь в сторону! — одобрил Стародуб. — Раз не стреляют, значит, еще не заметили. А если потом заметят, пусть, сволочи, думают, что мы местные жители и просто идем куда нам надо. Давай, однако, помаленьку отдаляться от забора.

Укрыться здесь было совершенно негде. За оградой простиралось огромное поле, поросшее чахлой травой. Ни кустарника, ни деревца. Здесь даже ползком не скроешься.

Сарбаеву казалось, что в спину, словно раскаленные стрелы, впиваются взгляды немецких пулеметчиков, сидящих на вышках. Все они видят, но играют с ними, как кошка с мышью. Отпустят подальше, да и ударят из пулемета, а потом будут гоготать от восторга.

Хотелось сорваться и стремглав бежать, чтобы скорее вырваться из зоны обстрела. Но бежать было невозможно — Павел Прокофьевич едва переставлял ноги, а опираться на плечо Джумы не хотел: охрана, даже если не заметила побега, может догадаться, что идет раненый пленный из лагеря.

— Может, оглянуться? — спросил Джума.— Что они там: заметили или нет?

— Ни в коем случае! — отрубил Стародуб, тяжело дыша.

И видимо, чтобы отвлечь товарища от навязчивой мысли, заговорил о том, что в эти критические минуты казалось совсем неподходящим.

— Ты знаешь, какой первый кроссворд был опубликован в русской газете?

Джума недоуменно посмотрел на спутника и отрицательно покачал головой.

— Первый русский кроссворд разгадывался так: «Иди вперед своей дорогою, враги полают и отстанут». Вот и продолжай свой путь, пока не залаял пулемет.

Джума с уважением посмотрел на полковника: «Мне бы такое самообладание!»

В полукилометре от лагеря проходила высокая железнодорожная насыпь. Перед нею белели дома станционного поселка. В кювете между крайним домом и железной дорогой мужик в старой, потерявшей цвет шляпе пас корову, держа ее за налыгач. Джума хотел было у него

спросить, есть ли немцы за железной дорогой и далеко ли до леса. Но мужик, вероятно видевший их побег с самого начала, пугливо глянул в сторону ближней пулеметной вышки и поспешно потащил свою коровенку прочь.

— Боится стать свидетелем, — с горечью заметил Стародуб.

Беглецы спустились в кювет и решили идти по нему, пока будет возможно. И вдруг на железной дороге оба сразу увидели девушку в белом платье. В первое мгновение они даже растерялись: она появилась неожиданно, словно парус, выскочивший на волну. Красивая, стройная, лицо бело-розовое, длинная, толстая, до пояса коса черная.

— Ребятки, ребятки, мне вас жаль! — заговорила незнакомка певуче. — Вас все равно поймают.

— Нет, девушка, теперь не поймают! — горячо возразил Джума. — Только вы нас не выдавайте!

— Что вы! Что вы! — как от пощечины, отшатнулась девушка. — Я полька, но училась и работаю с русскими девчатами.

— Скажите, пожалуйста, а немцев на той стороне дороги нету? — спросил Стародуб.

— Их везде полно. Но я выведу вас за поселок, — сказала она, собираясь спуститься в кювет.

— Нет, нет! — возразил Стародуб. — Если уж хотите нам помочь, то идите по насыпи — с нее далеко видно — и предупреждайте об опасности.

Девушка не спеша, словно прогуливаясь, пошла по шпалам. Она даже запела какую-то беззаботную польскую песенку. А беглецы ускорили шаг.

Раненая нога Стародуба, натруженная за долгую дорогу, одеревянела, распухла и почти не сгибалась. Но он, собирая все силы, старался как можно меньше опираться на плечо Сарбаева, чтобы не утомить его. Джума это чувствовал и, наоборот, подставлял свое плечо, как костыль, на который можно опираться твердо и не жалеючи.

Вдруг Джума настороженно прислушался и спросил девушку, кто это играет, что за музыка такая слышна, не похожая на русскую.

— Не бойтесь, то не немцы! — И девушка пренебрежительно махнула рукой в сторону, откуда доносились развеселые всплески баяна. — То наши соседи свадьбу справляют.

— Свадьбу? — Стародуб даже остановился. — В такое время свадьбу? Да кто ж они такие, черт подери?

— До войны были как свои люди. А когда пришли швабы, — девушка сокрушенно развела руками, — наши соседи сразу разбогатели. Промтоварный магазин себе забрали. С их дочкой я вместе училась. А теперь на «день добрый» не отвечает.

— Да-а... — только и сказал Стародуб.

Молча миновали несколько домов, подступивших к кювету. За ними стальной путь отворачивал от поселка. Впереди, на пригорке, показался березняк, за который быстро опускалось солнце. Лесок небольшой, а солнце огромное, раскаленное докрасна. Было страшно, что оно сожжет этот лесок в одно мгновение и беглецам негде будет укрыться.

Вдруг девушка спустилась с насыпи и, краснея, словно в чем-то провинилась, отдала младшему кусок черного хлеба, случайно оказавшийся в кармане платья.

— У меня больше ничего нету. Подождите, я сбегаю домой, принесу еды.

— Милая девушка, спасибо тебе! — дрогнувшим голосом сказал Стародуб. — Возвращайся домой, чтобы тебя не заподозрили.

Но та, казалось, ничего не слышала. Она с состраданием смотрела на то, как голодный человек делил сухую корочку. Он усердно старался разломить ее точно пополам. Половинки, однако, получились неравными. Большую он отдал товарищу, а меньшую тут же бросил в рот и, кажется не жуя, проглотил. Потом нагнулся, поднял одному ему видимую крошку и тоже отправил в рот.

Глядя на это, девушка заговорила сквозь слезы:

— Я принесу! Принесу хлеба! Так нельзя! Вы умрете от голода! Ждите в лесочке! — И пустилась в обратный путь по кювету, то одной, то другой рукой смахивая слезы.

— Девушка, стой! — строгим голосом остановил ее Стародуб. — Мы верим тебе. И рады были бы твоей помощи. Но тебя могут выследить. Пропадешь из-за нас. Иди, иди, милая! Мы и так тебя не забудем никогда.

Девушка молча, неохотно поднялась на насыпь. Долго смотрела вслед уходящим. Губы ее шевелились, но было неясно, просто шептала она что-то доброе, напут-

ственное или молилась, несмотря на то что училась в советской школе.

Кто знает? А только ее добротой остались живы те двое поздним августовским вечером тысяча девятьсот сорок первого года.

II

Джума сидел посреди клуни, возле вороха свеженамолоченной пшеницы, и жадно ел еще теплое, пахнущее прелью тока крупное зерно.

«Хорошо бы сейчас пожарить пшенички»,— подумал он и, как наяву, увидел черный казан посреди юрты, в котором деревянной поварешкой мать помешивает потрескивающую, уже подрумянившуюся в масле и такую ароматную пшеницу.

Тощий, тонконогий хозяин, опершись на черенок цепа, пристально смотрел на пришельца и выспрашивал, как за душу тянул: кто он, откуда и почему такой голодный?

Гость отвечал коротко и односложно. Он мучительно думал, что ему делать. Идти на другой, более зажиточный хутор? Что выпросишь у этого ходячего скелета? Он сам еле на ногах держится. Невероятно, как это он столько зерна намолотил! Уж такой сухой, такой тонконогий! Да и домишко у него на честном слове держится, вот-вот опрокинется в болото под тяжестью огромного аистиного гнезда. Клуня, в которой молотил, наверное, не только его отец, но и прадед, светилась как решето. Одет он в рваную холщевую рубашку и такие же штаны, скорее похожие на кальсоны. На снопе пшеницы лежит его пиджачишко — заплата на заплате. Такой нищеты Джума и не видывал.

Неохотно отвечая на вопросы дотошного хозяина, Джума посматривал в открытые ворота — не появится ли кто посторонний.

Из ольшаника за домом показалась корова, вторая, третья. И целое стадо вошло во двор. Джума насчитал двадцать шесть коров и восемь подтелков. Их пригнал мальчишка лет двенадцати.

— А что, деревня рядом? — тревожно спросил Джума у костлявого хозяина.

— Три километра, — ответил тот.

— Это оттуда стадо, из села?

— Отчего же? — сдвинув плечи, удивленно переспросил хуторянин. — То мои коровы. Колхоз же тот распался, как только новая власть пришла, а скот поделили. А мне, как пострадавшему от большевиков, досталось на пару хвостов больше.

Джума перестал жевать, пристально посмотрел на хозяина. «Значит, он не от голодухи тощий, а просто таким клячим уродился? Но почему же он пострадал от большевиков?»

Хозяин, словно перехватив эти мысли Джумы, тихо, но злобно, сквозь стиснутые зубы сказал:

— Кулачили меня ваши, — при этом он так люто посмотрел на командирскую форму Сарбаева, что в клуне, казалось, сразу стало холодно и неуютно. Закурив, не предлагая гостю, хозяин хрипло откашлялся и продолжал: — С панами я как-то умел ладить. Первейшим господарем в округе считался. Сам ясновельможный пан по праздникам в гости зазывал. А в тридцать девятом, когда пришли Советы, меня сразу в кулаки замуровали. Дом пятистенный под больницу взяли, трактор — в колхоз. Два года вот тут жил по-волчьи... Ну да я за свое добро еще поквитаюсь... — Он грозился, казалось, самому Джуме, представителю «обидчиков».

В клуню вбежал мальчишка. Шустрый, остроглазый, но полный, румяный, прямая противоположность квелому отцу. На плече его висел кнут, конец которого длинной серой змеей волочился по земле.

Джума засмотрелся на мальчугана, напомнившего ему собственное детство. Вот так же босиком, с кнутом через плечо он пас вместе с отцом колхозное стадо. Но однажды налетели бандиты, сыновья бывшего владыки тех степей, и прямо в юрте сожгли всю семью активиста Сарбая. Джума остался жив только потому, что в это время купался в озере и успел спрятаться в камышах. Забрали его потом в детский дом, да так он больше и не держал в руках кнут.

Загнав коров, мальчишка, щелкая кнутом, вернулся к отцу и попросил цеп: хотелось помолотить.

— Я тут без тебя обойдусь, — хмуро сказал хозяин сыну. — Ты лучше позови Грысюка, он обещал помочь.

Мальчуган подозрительно зыркнул на гостя и убежал.

Сарбаев не заметил, как во время разговора хозяин повел бровью в сторону гостя и как сын воспринял этот

знак. Не придал значения Джума и тому, что в щели клуни мелькнул белый конь, которого он по дороге на хутор видел на лужайке. Теперь этот конь ушел в лесок. Сам он ушел или кто-то его увел, Джума не заметил. До села далеко. Хозяин одним цепом его не одолеет...

Узнав, с кем имеет дело, Сарбаев решил попросить еды и уходить, а если не даст добром, то и потребовать — не пропадать же командиру от голода.

Хозяин словно понял перемену в настроении гостя. Он присел у ворот на снопах и, окликнув хозяйку, приказал наварить картошки для прохожего.

Джума облегченно вздохнул и стал беседовать охотней.

— Молотить не умеешь? — спросил хуторянин.

— Таким допотопным способом не приходилось. У нас в Казахстане комбайны, как корабли по морю ходят. Степь у нас ровная, без конца и края, — есть где разгуляться...

— Мы работали допотопным способом, да хлеб ели... А Советы пришли — все под метлу: и допотопный способ, и хлебушек, и нас самих! — хмуро промолвил хозяин.

Джума слушал его с нараставшим возмущением.

Вдруг за клуней раздался какой-то подозрительный шорох. Джума насторожился. Глянул в одну, в другую щель клуни: к воротам с двух сторон приближались четыре велосипедиста. Все в черном, с винтовками через плечо.

— Полицаи! — Джума бросился к цепу, единственному имеющемуся здесь оружию.

Но в это время хозяин вынул из своего латаного-перелатаного пиджачка пистолет и махнул им: мол, садись и жди своего.

Джума готов был плюнуть в глаза предателю, но взял себя в руки и устало сказал:

— Голодного человека испугался, хозяин, за полицией послал. А с оружием-то и сам ведь мог со мною справиться. Поставил к стенке — и конец. — С этими словами он сел прямо на ворох пшеницы и снова отправил в рот горсть зерна.

В клуню вошел молодой, но очень хмурый, с огромными черными усами полицай.

— Боже помогай вам, дядько Тодор! — вместо приветствия сказал он и пожал руку хозяину, который успел

уже спрятать свой пистолет.— Хлопец у вас башковитый. Прискакал на коне, руку до картуза, как солдат, и доложил: «Там у нас в клуне комиссар!»

— Он у меня понятливый, — гордо ответил хозяин. — Только глазом поведу, сразу догадается, что к чему.

— Ну так вот, доложил он по всей форме, — продолжал полицай. — А пан комендант спрашивает: «А что он делает, тот комиссар?» — «Пшеницу ест. На ворохе сидит и за обе щеки уплетает». Ну, мы и поспешили к тебе. Думаем, коли никого и не поймаем, то по чарке первача у Тодора наверняка найдем.

Хозяин поскреб в затылке и кивнул на непрошеного гостя, все еще сидевшего на ворохе: мол, дальше сами им занимайтесь.

Когда все вышли из клуни, хозяин запер ее на огромный ржавый замок и повел гостей к дому.

Возле поваленного на землю суковатого дуба полицаи составили свои велосипеды один к другому, а сами расселись на сучьях и, поставив перед собой задержанного, начали допрос.

— Комиссар? — спросил усатый, видно старший среди полицейских.

— Да что вы! — криво ухмыльнувшись, возразил Джума.

— Мы не дураки! — уже злился полицай. — Вон ведь следы шпал на петлицах, значит, батальонный комиссар.

— Это, брат, шишка! — крутнул головой другой полицай.

Джума забыл, что он в чужой форме, и теперь понял, как нелегко ему будет выкручиваться.

— До батальонного комиссара, наверно, десять лет пришлось бы дослуживаться! — ответил он, будто бы сожалея о том, что не дослужился. — А только я вовсе не военный. Да вы и сами видите, что форма на мне, как на корове седло. Выменял на тюремное рванье. Комиссару оно в самый раз пробираться к своим под видом выпущенного из тюрьмы, а мне рванина надоела.

— Ну так все же, кто ты такой? — спросил усач.

— Да как вам сказать... — Запрокинув голову, словно силился что-то вспомнить, не спеша заговорил Джума. — У вас тут, пожалуй, и профессии такой нету.

— Все у нас есть! Еще больше, чем у вас! Ближе к делу! — нетерпеливо оборвал его полицай.

— Видите ли, я конокрад.
— Что-о?
— Конокрад. Я ж не зря говорю, что такой специальности у вас нет. Это чисто степная профессия. Только у нас, в Казахстане, да разве еще в Монголии сохранилась со времен Чингисхана. Очень это древняя профессия, можно сказать, отмирающая, вроде зубра.
— Да ты, вижу, грамотный. И про зубров знаешь, и про Чингисхана.
— Не так грамотный, как бывалый. Прошел восемь тюрем. А каждая тюрьма — это, знаете, целый университет.
— И что ж, в каждом таком университете обучают конокрадов? — уже с улыбкой спросил усатый.
Сарбаеву только и нужно было добиться перелома в настроении своего врага. Он охотно начал рассказывать об особенностях каждой тюрьмы, в которых он якобы побывал.
Хозяин принес самогону, огурцов и хлеба. Усатый налил всем по стакану. Потом пристально посмотрел на задержанного и отдал ему бутылку, в которой на дне осталось немного мутноватой жижицы.
— Выпей, лучше брехать будешь.
— Если б кумыс, я б выпил. А больше ничего спиртного не употребляю, — отказался Джума и, не в силах удержаться, отломил огромную краюху хлеба.
Хозяин протянул руку, хотел отнять хлеб, но усатый отстранил его.
— Теперь мы сами тут управимся, дядько Тодор. Вы занимайтесь хозяйством.
Тодор косо посмотрел на полицая, словно обещал припомнить ему эти пренебрежительные слова, и неохотно ушел в дом.
— Ну, а какой же ты народности? — спросил старший полицай задержанного, который нарочито по-простецки, жадно уплетал хлеб с огурцом. — Из цыган, что ли? Вишь какой черномазый! Цыгане все конокрады.
— Казах.
— Донской казак? — недоверчиво скосился усатый.
— Не казак, а казах.
— Не слыхал о таких.
— Это за Уралом.
— А как же очутился здесь? Документы есть?

— Какие там документы! Перед самым началом войны нас из акмолинской тюрьмы везли куда-то сюда, то ли в барановичскую, то ли в гродненскую. Тут польские паны много тюрем добротных понастроили, а теперь они пустовали, вот нас и переселяли на вольные хлеба.

— Здорово! — воскликнул маленький белесый полицай, все время слушавший с открытым ртом и отвислой губой. — Так и тебя, значит, Гитлер ослобонил?

— Нет, с Гитлером пока что видеться не пришлось, — совершенно серьезно продолжал Сарбаев. — Я сам бежал во время бомбежки эшелона. Немецкие летчики, видно, не знали, что идет не воинский эшелон, а наш, воровской, ну и дали! Голову поезда начисто отрезали и хвост разметали. А наш вагон был в середине. Мы разнесли решетку и — кто куда!

— Ну ладно, конокрад! — усатый хлопнул себя ладонью по колену. — Брешешь ты складно. А как же тебя зовут?

— Сергей.

— Какой же, к черту, Сергей, если ты не русский.

— Я вырос в детском доме, среди русских ребят. Вы же слышите, что говорю по-русски чисто. Вот там меня и окрестили Сергеем.

— А фамилия? Только не воровская, а настоящая.

— Кто ее знает? Вырос я без отца, без матери.

— Но как-то я должен тебя записать, — вынув из кармана блокнот и карандаш, настаивал полицейский.

— Пишите «Сергей Джума».

Полицай написал имя, потом, помусолив карандаш, добавил: «Зима» — и пояснил:

— Пусть уж все будет по-русски: Сергей Зима.

— Можно и так, — безразлично кивнул казах.

Полицаи так внимательно слушали, что Джума обрадовался: как легко вошел он в роль конокрада и завсегдатая тюрем. Видно, пригодилось увлечение художественной самодеятельностью в школе, да и в военном училище.

— Ну, ладно, господин Зима. Что еще умеешь делать, кроме воровства лошадей?

Сарбаев похолодел, когда его назвали господином. Слово это было ему не менее чуждым, чем «жандарм» или «фашист».

Неужели хотят вербовать в полицию?

Джума, видимо, слишком долго не отвечал на заданный ему вопрос, поэтому усатый сам сделал вывод:

— Да чему ты мог научиться по тюрьмам, кроме воровства!

На это Джума возразил, сказав, что он еще и охотник.

— Ха! На кого ж ты охотился там, в голой стени?

— Казахстан — это не только степь. Там есть и леса, и озера, и горы.

— И метко стреляешь?

— Куропатке в глаз.

— И вон в ту бочку попадешь? — насмешливо спросил старший.

Все загоготали, потому что пузатая черная бочка, стоявшая возле колодца, была высотой в человеческий рост.

Когда смех утих, казах предложил:

— А вы положите свой мундштучок на ту бочку.

— Ну и что? — вытаращил глаза полицай.

— Дайте на минутку вашу винтовку и посмотрите, что будет, — невозмутимо ответил Джума. — Да вы не бойтесь, я на вас ее не поверну.

— Еще не хватало мне тебя бояться! — с гонором ответил полицай и подал мундштук белобрысому, чтоб отнес на бочку. Сняв винтовку с плеча, он поставил ее перед Сарбаевым, а сам на всякий случай встал за его спиной.

— Да-а... Из таких стрелять мне еще не приходилось, — сокрушенно вздохнул Джума, рассматривая старенькую винтовку. Попробовал целиться и присвистнул. — Не пристреляна. Видно, никто еще не пробовал от вас убегать...

— Но-но! От меня не убежишь, даже когда я без оружия.

— Да я-то что, мне бежать незачем, раз накормили. Я теперь готов жить, как старый конь: где клок сена, там и дом.

Сказав это, Джума вскинул винтовку, словно увидел летящую дичь, и выстрелил. Там, где лежал мундштучок старшего полицая, взметнулся дымок: казалось, мундштучок взорвался и развеялся в прах.

Полицаи онемели.

— Но ведь не целился! — изумленно воскликнул белобрысый.

Джума молчал, хитро прищурив левый глаз и одним зубом закусив краешек нижней губы. Этот зуб у него был

ровный, снежно-белый, и казалось, он сам по себе лукаво улыбался.

Пользуясь минутным замешательством, Джума забрал с бревна последний кусок хлеба и отправил его за пазуху на случай, если ничего больше не удастся достать для командира.

Полицейские сорвались с места и побежали к бочке, чтобы удостовериться в происшедшем.

Старший остался на месте и тут же забрал свою винтовку. Теперь он боялся черномазого стрелка.

Когда с одобрительным галдежом полицаи вернулись от бочки, старший сказал:

— Человек этот опасный. Отведем его к коменданту, пусть разбирается, что за птица.

Комендант районной полиции Шилевич имел строгое указание: всех бродяг задерживать и немедленно передавать оккупационным властям. Шилевич по своей натуре служака исполнительный, к тому же он был благодарен гитлеровской армии за освобождение его из тюрьмы, где ему пришлось бы сидеть долгие годы за грабеж. Увидев приведенного полицаями подозрительного бродягу, он приказал связать его и отвезти в немецкую комендатуру, которая была в большом селе, километрах в пяти от Брод.

Джума старался запомнить путь, по которому его везут. С хутора дядьки Тодора его везли прямо на север. А теперь дорога идет на юго-восток. Значит, он едет мимо того леса, в котором оставил раненого Стародуба. Что произошло за это время с полковником? Не попался ли он на глаза такому же Тодору?

Вспомнил о тощем хуторянине, и лютая ненависть к предателю захлестнула все прежние мысли. Ох как бы он отомстил этому гаду, если бы вырвался на свободу!.. Но вырваться было невозможно. Полицаи привезли его к дому на краю села, где было полно немцев.

Немец, принявший пленного, не стал его даже допрашивать, жестом приказал дежурному солдату увести.

Солдат привел Джуму в сарай на отшибе села, охранявшийся автоматчиком, беспечно наигрывавшим на губной гармошке. Неподалеку, на пригорке, были разбиты палатки, возле которых загорали раздетые немцы.

В сарае оказалось шесть красноармейцев, видно побывавших в тяжелых боях. Окровавленные бинты и кровоподтеки на заросших лицах, грязная, на многих рваная

форменная одежда говорили о том, что попали они сюда не по доброй воле.

Джума в сравнении с ними был чистым и подтянутым. Вчера он побрил своей безопаской Стародуба, а потом соскоблил и свою месячную щетину. Но он не догадался, что именно это различие во внешности и послужило причиной того, что пленные встретили его молча и отчужденно.

Джума сел на кучу сена рядом с чернобородым бойцом, державшим левую руку на повязке, обмотанной вокруг шеи. Немного освоившись, Джума спросил, что с ними намерены делать.

— Гитлеровскими леденцами угостят — и крышка! — проговорил тяжелым низким басом самый рослый боец, голова которого была в бинтах, как в чалме.

— Ефим прав, наберут ровно десять и — в «могилевскую губернию»! — окающим вологодским говорком пояснил длиннолицый и худой красноармеец, у которого из разорванной гимнастерки виднелось перебинтованное плечо.

— Да тебе это не страшно! — с презрением кивнув Джуме, пробасил Ефим, поправляя окровавленную «чалму». — Такие и у фашистов не плохо устраиваются.

— Сибиряк! Не знаешь человека, а оскорбляешь, — нахмурив глянцевито-черные брови, сказал чернобородый сосед Джумы.

— Видно птицу по перу! — огрызнулся Ефим.

— Не понимаю тебя! — сердито ответил чернобородый.

— А ты покумекай, — загадочно ответил Ефим и отвернулся.

Джуме было обидно слышать такое о себе. Но в то же время он радовался, что этот красноармеец сохранил свое достоинство и с презрением относится к тем, кто может переметнуться на службу врагу.

Вдруг Ефим встал, огромный, внушительный, и подошел к новичку так, словно собирался раздавить его, как червя.

— Сколько тебе лет? — бесцеремонно спросил он.

— А что? — вскинул глаза Джума.

— Да то, что сопляк ты еще для звания батальонного комиссара! — все повышая голос, гремел Ефим. — Я сразу понял, что гимнастерка на тебе с чужого плеча. Нарядили

тебя гитлеровцы и подослали: мол, комиссару мы сразу доверимся... А только не на таковских напал.

Джума с доброй улыбкой слушал Ефима, а затем протянул ему руку:

— Понимаю тебя, Ефим, и недоверие твое одобряю! Форма на мне действительно чужая, а сам я всего лишь лейтенант!

Ефим не пожал руки Джумы и недоуменно спросил:

— А для чего же вырядился?

— Чтобы спасти из лагеря военнопленных хозяина этой гимнастерки!

Все находившиеся в сарае красноармейцы с любопытством окружили новичка, и он рассказал историю своего переодевания.

Случилось это через неделю после того, как они со Стародубом попали в лагерь военнопленных. Немцы вдруг затеяли вербовку среднего комсостава в батальон особого назначения. Говорили, что этот батальон будет служить на железной дороге.

И вот тогда к Стародубу и Сарбаеву, которые сохранили знаки воинского различия, подошел коренастый человек со следами шпал на изорванной, без единой пуговицы гимнастерке. На бледной щеке его, от глаза до самого подбородка, краснел большой рубец — след совсем еще свежей раны. Глядя в глаза полковника Стародуба, этот человек спросил вполголоса:

— Не узнаете, Павел Прокофьевич?

Рубец его при этом вздулся, стал свекольным и пульсировал. Видно было, что человек сильно волновался.

Стародуб присмотрелся.

— Прохоров? Захар Филиппыч? — и убито развел руками. — Да что ж они с тобой сделали!

— Избили, выволокли из госпиталя за ноги и вместе с другими политработниками повели на расстрел. Бежал ценой вот этой царапины. — Прохоров небрежно кивнул пальцем на рубец, от напряжения готовый брызнуть кровью. — А на второй день попался, выдал кулацкий сынок, уже присосавшийся к новой власти.

Стародуб познакомил Сарбаева с Прохоровым, бывшим комиссаром соседнего полка. Стародуб знал его еще по академии.

Прохоров заговорил о вербовке, затеянной немцами. Он предложил Стародубу свою помощь, а Сарбаеву сове-

товал завербоваться, чтобы потом бежать. Лейтенант наотрез отказался оставлять полковника и предложил Прохорову самому воспользоваться этой возможностью.

— Комиссаров не берут, — ответил тот.

— Неужели много нашлось таких добровольцев? — с тревогой спросил Стародуб.

— Записались все, кто хочет вырваться на свободу, чтобы снова бить этих гадов. — И тише, но с гордостью добавил: — Это была моя самая успешная операция во всей комиссарской деятельности!

— Понятно, — Стародуб сердечно пожал руку человека, который и в лагере сумел выполнить свой долг политработника Красной Армии.

— Товарищ батальонный комиссар, вам надо довести дело до конца,— вдруг взволнованно заговорил Сарбаев.— Мало сагитировать людей, нужно их вывести на свободу и там ими руководить.— И, не дав комиссару возразить, предложил обменяться формой.

Прохоров не сразу на это согласился. Стародуб, окончательно убедившись, что Сарбаев не оставит его, уговорил комиссара переодеться.

— Группа пленных вместе с Прохоровым выбралась из лагеря, но, где она сейчас и что делает, я не знаю, — закончил Сарбаев.

Сухощавый, с впалыми бледными щеками, интеллигентного вида человек в форме рядового бойца спросил его:

— Значит, полковник Стародуб остался в лагере?

Джума удивленно посмотрел на бойца:

— Вы его знаете?

— Да, я служил в его полку.

— Мы с полковником бежали, но он ранен и не может передвигаться... Я оставил его в лесу, пошел за продуктами... и вот... попался... Не могу простить себе этого...

Ефим строго спросил бойца:

— Скажи, учитель, выходит, этот лейтенант правду говорит?

— Думаю, что правду, Сибиряк, — задумчиво ответил учитель. — Стародуб прекрасный человек. Надо вырваться отсюда и спасти его...

— Ну ладно, лейтенант, давай знакомиться, — протянул Сарбаеву руку Ефим. — Зовут меня тут Сибиряком. Фамилии в этой ожидалке ни к чему.

— Лейтенант Джума Сарбаев, — радостно пожал руку Сибиряка Джума.

— Ты не обижайся на меня, — продолжал Ефим.

— Что ты, на твоем месте я так же поступил бы, — ответил Джума.

Чернобородый сосед Джумы назвался Игорем Синьковым и спросил, что слышно на воле о положении на фронте.

Джума ответил, что он больше месяца назад попал в плен и ничего не знает.

— Жаль, — сокрушенно вздохнул Синьков. — Мы третий день сидим здесь и не знаем, где сейчас фронт...

— Вас в бою взяли?

— Да нет, мы окруженцы, пробирались к своим, да в лесной сторожке уснули, и часовой наш, видно, задремал... Поплатился за это жизнью, бедняга... Его сменщик, Вологодец,— кивнул он на длиннолицего,— тоже проспал. Вот нас живьем и взяли. Да еще кто взял! — И Синьков зло сплюнул.— Охотники! Немцы выбрались на охоту в русский лес и вот вместо диких кабанов нас прихватили. Срам! В бою не попались, а тут...

— Ну так вас тогда не расстреляют, — успокаивающе сказал Джума. — Нет на то причины.

— Причина у них есть, — тяжело вздохнул Синьков.— Утром кто-то хлопнул мотоциклиста за селом. А у них закон, установленный Гитлером: за одного, даже самого паршивого немца — десять наших. А чем брать из села, они лучше нас прикончат.

В сарае наступило молчание. Оно было долгим, томительным, как переход по безлюдной пустыне. Каждый думал о своем, и в то же время все об одном: как спастись? Броситься на автоматчика? Его, конечно, можно связать или удушить. Но от сарая далеко не уйдешь. Кругом гитлеровцы: там комендатура, там дом полон солдат, а там палатки белеют под дубом.

Дождаться бы вечера. В темноте убегать легче. Но станут ли держать до вечера?

В полдень пришла смена караула. Оставляя нового часового у сарая, разводящий посмотрел на часы и ободряюще сказал ему что-то такое, отчего учитель рывком привстал и, побледнев, тут же вяло опустился на пол.

Все повернулись к нему в безмолвном ожидании.

— Учитель знает немецкий, — шепнул Синьков Сарбаеву.

— Разводящий... успокоил... нового часового... — с расстановкой заговорил учитель. — Недолго ему дежурить. Ровно в семь нас расстреляют.

— Ровно в семь? — басом повторил Ефим и поднялся. Солдатская форма плотно облегала его крупное тело. — Немцы народ точный. Значит, жить нам осталось меньше пяти часов. А родная Сибирь далеко, очень далеко... — С этими словами он достал из кармана гимнастерки три кусочка сахару. — Больше мое энзе не пригодится. Подсластим остатки нашей жизни. — И разделил сахар всем поровну.

Примеру Сибиряка последовали и другие. Кто выложил на общий стол корочку хлеба, кто — заскорузлый сухарик. А Джума вынул из-за пазухи краюху, припрятанную для Стародуба.

Молча, не спеша, медленно разжевывая и смакуя, съели все эти припасы. Потом начали собирать табак. Выворачивали карманы и высыпали махорку на обрывок газеты.

И только Джума не лез в свои карманы: в них никогда не водилось курева.

Он смотрел в щель возле двери сарая, мимо часового, на высокий пирамидальный тополь, зеленевший на фоне чистого синего неба. И этот тополь казался ему похожим на тот, который рос перед зданием детского дома в Акмолинске, где прошло его детство. Шумной толпой провожали его одноклассники в военное училище. Играл школьный оркестр, пели песни, танцевали... А когда Джума вернулся к своим однокашникам уже в форме младшего лейтенанта, его весело встретили все возле того же тополя.

Да. Тополь точно такой же, но время другое. И место не то...

На какое-то мгновение он снова увидел немца, автомат. И опять, как кинолента, замелькали в голове воспоминания.

...Вот он — Робинзон. После седьмого класса на паруснике тайно уплыли три закадычных друга вниз по Ишиму. Вернулись домой только к началу учебного года и поклялись больше никогда такого не делать, потому что своим побегом уложили воспитательницу в больницу.

Вертлявый, непоседа, выдумщик и вдруг — лучший

стрелок военного училища, а потом и полка. Ни одного промаха на стрельбах, хотя в детстве он оружия и в руках не держал. Значит, природный дар — меткий глаз, крепкая воля и хладнокровие при кипучей натуре...

— Товарищ! Чего не закуриваешь? — Это обращаются к нему, к Сарбаеву.

— А? Что? — Джума только теперь заметил, что все его друзья дымят козьими ножками.

— Закуривай, — пододвигая кусочек газеты с махоркой, перемешанной с хлебными крошками и всякой трухой, высыпанной из карманов, сказал Сибиряк.

— Да я, знаете, никогда не курил, — с виноватой улыбкой ответил Джума.

— Все равно помирать с курящими придется, так что бери, приобщайся! — пробасил Сибиряк.

Джума взял газетку и неловко начал крутить козью ножку. Крутил он долго, да так и не сумел. Учитель сделал ему цигарку, сам прикурил и подал.

— Оно, конечно, не педагогично, — заметил он с улыбкой. — Не обучал курению при жизни. Но мы уже почти что в мире потустороннем, где все наоборот...

— До смерти еще далеко, — строго возразил Сарбаев. — Почти триста минут, а если перевести в секунды — целая вечность... За это время всякое может случиться. Только не вешать носа!

— Да мне, например, собственная смерть не страшна, — сказал с тяжелым вздохом сидевший поодаль, на голой земле, кудрявый русый боец с забинтованной до самого локтя левой рукой.

— А чья же тебе страшна, Солодов? — спросил его длиннолицый Вологодец.

— Своих девчонок жаль оставлять сиротами, ведь они у меня совсем еще маленькие...

— Да-а, Толя... — горестно вздохнул Синьков. — Матери с троими будет нелегко.

— Такой молодой, и уже трое детей? — удивился Джума.

— Да мы с Зорей сразу после десятилетки поженились... — качнул головой Солодов, словно винил себя за это. — Кто ж знал, что будет такое? Как третья вышла из пеленок, мы с Зорей в институт поступили на вечерний. Я езжу на занятия, а ей потом конспекты перечитываю. Через три года были бы агрономами...

2 Заказ 2413

Он умолк, и все молчали, переживая его горе, как свое.

Докурив козью ножку, Сибиряк начал бриться. Светло-русая щетина на его лице была всклоченной и в некоторых местах казалась опаленной.

— Ефим, никак, на свидание к милашке собирается, — подкольнул его Вологодец.

Синьков посмотрел на Сибиряка недоуменно, а учитель, как показалось Джуме, уважительно и даже восхищенно. И только самый молодой боец, сухощавый тонкошеий блондин Саша Зуев, казалось, завидовал. У самого Саши еще нечего было брить. Над его верхней губой желтел реденький пушок, а на подбородке и того не было.

— Побреешься, может, немцы и примут тебя за своего, — продолжал зубоскалить Вологодец, — скажут, случайно один ариец затесался в стадо славянских дикарей.

Бритва у Ефима была старая, сточенная до половины лезвия, но, видимо, очень острая, и действовал он ею быстро, решительно, словно картошку чистил. Сбрив правую щеку, на которой открылась добродушнейшая ямочка, он стал вытирать лезвие и, не глядя на злословившего Вологодца, сказал:

— Мой дед сказывал, Василий, что в смертный бой русские всегда хаживали чисто вымытыми, в белой сорочке.

— Ха! — Василий поморщился и даже отвернулся с досады. — То в бой. А тут погонят тебя, как скотину на бойню...

Ефим добрился. Умылся из фляги, висевшей у него на широком ремне, и не спеша проговорил:

— До армии учился я на инженера-строителя, в Новосибирске. Жить привелось у тетки, недалеко от мясокомбината. Так я почитай год толком не спал. Дни и ночи гнали на бойню скот. Чуют буренушки свою погибель, мычат, ревут — душу тебе разрывают, самому реветь хочется. Ты вот, поди, и не видел, как плачут коровы? А я насмотрелся. И в общежитие убежал от тетки, чтобы коровьих слез не видеть.

— Так ты все же надеешься смыться? — продолжал свое Василий.

— На побег надежды мало. Однако мычать по-коровьи перед фашистами не собираюсь. Не этому меня дед мой учил.

Джума спросил, почему Ефим все говорит о деде, а не об отце.

— Отца не помню, погиб в схватке с кулаками, а дед мой был партизанским вожаком на Алтае, крепкий старик и сейчас.

— А Ефим прав, товарищи, — вынимая из противогазной сумки свои бритвенные принадлежности, сказал учитель, — умирать надо тоже человеком — достойно.

Его примеру последовали и другие. Только Вологодец упрямился, подтрунивал то над одним, то над другим. А когда увидел, что даже Саша Зуев соскреб свой пушок и сразу стал похож на пятнадцатилетнего, снисходительно ухмыльнулся и потянулся к своей котомке.

— Что я, рыжий, что ли?!

Все невольно засмеялись, глядя на него: он был действительно рыжим.

— Вот тут ты не ошибся, Василь, в самую точку попал! — чуть нахмурив лохматые белесые брови и улыбаясь одними ямками полных смуглых щек, сказал Ефим. — Ты не просто рыжий, а красный. Особенно борода.

Увидев заржавевшую, выщербленную в двух местах бритву Василия, Ефим сочувственно заметил:

— Я понял, почему ты не любишь бриться. Выбрось свой серп, не срамись, — и подал свою сверкающую тонкой сталью бритву.

Ефим как-то неожиданно посуровел, насупился и тихо, сквозь зубы, начал насвистывать мотив «Варяга». Потом умолк, долго о чем-то думал и вдруг заговорил, обращаясь к учителю, заговорил так, словно продолжал прерванную раньше беседу:

— Знаешь, Андрей Макарыч, больше всего в этой песне нравятся мне первые ее слова. Ежели бы кто-то сейчас скомандовал, как в той песне: «Наверх вы, товарищи, все по местам», может, что-то еще и сумели бы сделать.

— Скомандовать не главное, — качнул головой Сарбаев. — Нужен момент подходящий.

— Синьков из учебной роты, на политрука учился. Ну, а ты, если правда, был уже командиром, — не глядя на Сарбаева, но явно миролюбиво заговорил Ефим. — Вот вам двоим и карты в руки. Мозгуйте, что можно сделать в нашем положении.

Остальные красноармейцы поддержали Ефима.

Сарбаев, измочаливший свою цигарку, наконец прикурил, неумело затянулся и закашлялся так, что на глазах выступили слезы.

— Нет уж, братцы. — Откашлявшись, он решительно отдал козью ножку Синькову и твердо сказал: — Жил — не курил и умру — не буду. Но только насчет смерти это я так, для красного словца. За жизнь будем драться зубами! Раз товарищи нам доверяют, давай, друг Синьков, покумекаем, как нам всем вырваться на свободу...

III

С немецкой педантичностью, без пяти семь из комендатуры вышли пеший разводящий и два автоматчика с велосипедами и направились к сараю. Увидев их, пленные молча встали. Лица бледные, суровые. Губы пересохли. Кулаки сжаты.

— Ребята, не падай духом, — послышался тихий голос Джумы. — Отсюда они нас уведут, раз взяли велосипеды. А за селом в затылок убивать, как телят, не дадимся. Сибиряк прав. Я иду первым.

— На расстрел поведешь нас? — зло проговорил Вологодец.

— В бой, а не на расстрел! — отрезал Джума.

Разводящий был уже рядом. Велосипедисты притормаживали свои машины.

— Крикну — сразу врассыпную, — сказал, словно подал команду, Сарбаев. — На милость фашистов не надейтесь.

— Знаем! — ответил Сибиряк. — Эти не помилуют.

Остальные согласно кивнули.

Разводящий подошел к воротам. Велосипедисты спешились и, держа одной рукой велосипед, а другую положив на автомат, висящий на груди, остановились в нескольких метрах от ворот.

— Русски зольдат! Строй по один! — зычно скомандовал немец. — Герр комендант вас помиловать и приказаль отводить в концентрациён лагерь. Вас сопровождайт зольдатен. Их командо слюшайся. Иначе расстрель. Один будет бежаль — все расстрель. Вперьед, маршь!

— Похоже на провокацию! — сказал Сарбаеву учитель так тихо, что слышали только свои.

— Ясно! — согласился Джума. — Заговаривают зубы, чтобы не разбежались.

Пленные вышли из сарая в затылок по одному. Разводящий приказал:

— Идти бистро, руки назат, молчать!

Велосипедисты, посмотрев на часы, отстегнули свои фляги, выпили по нескольку глотков.

— Ром. Для храбрости, — шепнул Василий.

Джума нарочито строго прикрикнул:

— Молчать в строю! Не слышал приказа? Мы не хотим из-за недисциплинированности одного терять свои головы!

Разводящий одобрительно кивнул и сказал:

— Ви будет командир колонны, тогда все будет орднунг!

Пленные одобрительно посмотрели на Сарбаева: командовать умеет, значит, действительно командир.

Один из велосипедистов, самодовольный, краснолицый толстяк, сел на свою сверкающую никелем машину и поехал. Другой, высокий и тощий, перемахнув через раму длинную тонкую ногу, ждал, пока колонна пленных пройдет вперед.

Первый повернул влево, на тропинку, которая вела от села. Разводящий приказал следовать за первым велосипедистом, не отставая более чем на три метра. А так как велосипедист медленно ехать не мог, то пленным пришлось идти очень быстро.

На повороте Джума заметил, что и разводящий, и охранявший их автоматчик спокойно, как люди, исполнившие свой долг, направились к комендатуре.

«Неужели нас поведут только двое? — мелькнуло сомнение. — Тогда, конечно, не на расстрел! Семерых вдвоем далеко не уведешь. Но и в лагерь мы не пойдем! Нам бы только лесочек или хотя бы кустарник на пути...»

Тропинка огибала сарай, стоявший в отдалении от села. Джума решил, что в этот сарай их и ведут. И там расстреляют.

Ноги стали тяжелыми, словно на сапоги вдруг налипло по пуду грязи. Язык пересох. Только глаза смотрели остро, сверлили затылок ведущего велосипедиста. Теперь угадать бы намерение немцев!

Нарушая самим же отданный приказ, Джума оглянулся. Задний немец не заметил этого. Он что-то насвистывал

и смотрел в сторону чуть синевшего на пригорке лесочка. Зато пленные жадно впились глазами в лицо своего командира.

— Спокойно! — прошептал он и, приложив палец к губам, отвернулся.

Передний немец тоже засвистел, никакого внимания не обращая на сарай, которого так боялись пленные.

«Усыпляют бдительность или на самом деле не к сараю ведут?» — подумал Джума, чувствуя, что нервы напряглись до предела.

Скрипнули ворота сарая.

Дрогнул шедший за командиром Вологодец и даже сделал шаг в сторону. Джума прикрикнул на него и тут же увидел в дверях сарая мужика с граблями. Нет, не в сарай их ведут... Да и тропинка здесь явно сворачивала в обход сарая, шла навстречу идущему к закату солнцу.

Немец, ехавший сзади, перестал насвистывать. Видно, его насторожило поведение Василия. Шорох колес велосипеда и потрескивание спиц теперь стали слышнее.

Сарай миновали, и Джума вздохнул облегченно. Мало-помалу успокоился и немец. Он приотстал и опять стал насвистывать.

Впереди, километрах в двух, Джума увидел все больше выступающий из-за пригорка лесочек, и, пользуясь моментами, когда ведущий автоматчик громко насвистывал, он по одному слову передал команду:

— В лесочке... слушай... мою команду.

Опять шли молча, сосредоточенно. Сарбаев не видел, что делается сзади, но чувствовал, что все смотрят ему в затылок. Ждут поворота его головы. Ждут его команды. И он еще внимательнее смотрел на переднего автоматчика.

Солнце, большое и красное, висело почти над самым лесом, но все еще сильно слепило глаза. Смотреть было больно.

Но вот взгляд его как-то непроизвольно переместился чуть вправо.

«Не может быть! Неужели все-таки расстреляют?» Джума еще раз посмотрел на опушку быстро приближавшегося леса.

«Наша могила!» — понял он, увидев возле кустарника свежую горку земли и яму.

Возле самой тропинки, которая на лесной опушке бле-

стела, залитая солнцем, словно яичным желтком, стояли два мужика с лопатами. Между ними возвышалась куча свежей глины. Опершись на свои лопаты, мужики печально смотрели на приближающихся. Один из них отошел от ямы и остановился, приняв ту же позу, словно хотел этим сказать: «Путь к могиле свободен». А второй, воткнув лопату в кучу глины, ушел в лес — не хотел видеть того, что здесь произойдет.

За спиной Сарбаев услышал движение, тревожное перешептывание. Он поспешил остановить преждевременный порыв товарищей тихой командой:

— Спокойно. По моей команде — пятеро на заднего. Один за мной. Спокойно! Мы будем жить!

«Мы будем жить!» Эта фраза вдохнула и силу, и уверенность, и терпение.

«Мы будем жить!» — мысленно повторяли пленные.

Передний велосипедист все еще насвистывал и будто бы даже вел мимо ямы. Но Джума острым глазом снайпера видел, чувствовал, что это только маневр. Немец хочет подвести пленных поближе к яме, а потом внезапно обернется и прошьет их очередью автомата. Не переставая насвистывать, он уже притормаживал велосипед. Вот миновал и яму, и мужика, опирающегося на старый, до черноты отполированный руками черенок лопаты.

Вдруг правая нога в капустнозеленых галифе мгновенно оторвалась от педали с явным намерением подняться и перемахнуть через раму велосипеда.

Но еще быстрее был рывок Сарбаева. Молниеносно выхватив лопату из рук мужика, так что тот от неожиданности упал на тропинку под ноги Василию, Сарбаев ударил фашиста по голове, одновременно крикнув:

— Бей! Бей!

Сзади раздалась автоматная очередь.

Сарбаев сорвал с упавшего немца автомат и повернулся, чтобы помочь товарищам. Но те уже навалились на второго автоматчика. Видно, стрелял он, слезая с велосипеда, поэтому ни в кого и не попал.

— Автомат — учителю! — крикнул Сарбаев, когда с фашистами было покончено. — Бегом! За мной!

В лес вбежали шальной, запыхавшейся толпой. Высокий Вологодец убежал далеко вперед. Но тут раздалась команда Сарбаева:

— Отделение, стой!

Все остановились в растерянности. А длинноногого Вологодца эта команда словно подхлестнула, он еще сильней припустился по лесу, который здесь уже заметно редел.

Сарбаев вскинул автомат и, крикнув: «Стой!», выстрелил, целясь над головой беглеца. Тот в недоумении остановился.

— Чуть не убил! — заорал он. — Ты что, сволота, хочешь меня к фашистам завернуть?

— В строй! — клацнув автоматом, ожесточенно скомандовал Джума. — Раз выбрали меня командиром — подчиняйтесь!

Василий боязливо вернулся и встал в строй.

— Отделение! Слушай мою команду! — громко, так, что эхо пошло по лесу, выкрикнул Сарбаев.

В наступившей на мгновение тишине все услышали протяжный вой сирены и гул мотора автомашины в селе.

— Чего дурака валяешь, командир? — заговорил и Сибиряк. — Слышишь? Фашисты подняли тревогу. Надо скорее в глубь леса.

— А где она, глубь?! — негромко, но так строго спросил Джума, что все примолкли. — Лес видели? Пятьсот метров в длину, двести в ширину. Сейчас его окружат. Выловят нас, как цыплят, или подожгут лес, зажарят живьем. — И опять резко скомандовал: — Разговоры прекратить! Слушай мою команду! Учитель — замыкающим! Отделение, за мной бегом, марш!

Выбежали из лесу в противоположную от села сторону, навстречу солнцу, опускавшемуся за бесконечное поле нерезрелой, осыпающейся ржи.

— Отделение, стой! — в двух шагах от желтого океана ржи скомандовал Сарбаев.

Теперь бойцы послушно остановились.

А гул мотора, вой сирены, начавшаяся на опушке леса стрельба скребли за душу, гнали вперед.

— Командир! Не тяни! Спасай, раз взялся! — взмолился Василий.

— Тише, товарищи! — ответил Сарбаев. — У нас один путь: в рожь.

— Что ты! С ума сошел! — опять не выдержал Вологодец.

— Ползком! — перебивая его, продолжал Сарбаев. — По-змеиному.

— По следу сразу увидят, куда мы ушли.

Но теперь уже учитель перебил Вологодца:

— Молчи и слушай командира!

— Никакого следа во ржи не оставлять! — все так же терпеливо продолжал командир. — Я войду в рожь, а вы ступайте за мной точно след в след. Не примять ни одного стебелька. Так пройдем метров пять — десять, потом я лягу и поползу змейкой, постепенно отдаляясь от леса, ползите только за мной. Немцы сейчас окружат лес. Начнут стрелять. Но мы должны спокойно ползти. Кто смалодушничает — поднимется или поползет не по следу, — тот предаст и себя и всех. Вперед! Еще раз, братцы, прошу вас... — Голос командира дрогнул. — Только спокойно. Так в камыши уходили от врагов и отец мой, и дед, и прадед.

С этими словами Джума подошел ко ржи, раздвинул руками первые стебли и, ступив левой ногой, добродушно кивнул Вологодцу:

— Сумеешь вот так за мной?

— Сумею, — прошептал тот и, следя за командиром, виновато добавил: — Прости, пожалуйста...

Лес, к которому приближался рокот машин и стрекот мотоциклов, казалось, весь подрагивал. А группа бойцов, чувствуя холод за спиной, медленно и мягко, по-кошачьи входила в рожь.

Уже стала слышна визгливая немецкая брань. Но беглецы, не оглядываясь, продолжали свой путь во ржи. Все видели, что их командир идет, не отрывая взгляда от леса, и, теперь уже полностью доверившись ему, старались только не оставить следа, не примять стебелька, не обломить колоска. Скоро Джума остановился:

— А теперь — ползком!

Он лег и быстро пополз. Следом полз Сипьков, потом Вологодец, за ними остальные.

Сипькову показалось, что они нисколько не удаляются от леса, а ползут вдоль него, и он сказал об этом командиру.

Джума коротко ответил, что сейчас повернут и станут понемногу отдаляться. Лейтенант развернулся и пополз не в глубь ржи, а параллельно первой тропке. Он увидел все свое отделение и, подбадривающе кивнув, пояснил, что вот так, змейкой, плавно извивающейся тропинкой, только и можно уйти от леса, не оставляя прямого следа.

— Что это?! — вдруг вскрикнул Вологодец.

Джума оглянулся. Позади них, над лесом, высоко в небо взметнулось бешеное пламя и завертелось в клубах рыжевато-сизого дыма.

— Лес бензином облили, сволочи! — догадался Сарбаев. — Значит, следа нашего не заметили. — И он хитро улыбнулся Вологодцу, прищурив левый глаз и открыв свой снежно-белый зуб.

— Да, побежали бы по лесу, было бы нам теперь жарковато, — печально покачав головой, сказал Солодов, который следовал за Вологодцем. — Простите, товарищ командир! Я, признаться, тоже в душе материл вас, когда услышал команду «Стой»!

Стрельба прекратилась. Все громче раздавался треск горящих деревьев. Пожар бушевал с ураганной силой. Дым все ниже опускался над рожью, и, когда он покрыл все поле от леса до беглецов, Джума встал, жестом приказав отделению лежать, и хитро прищурил глаза на красноармейцев:

— Ну что ж, можно и плечи расправить. Вставайте и шпарьте, кто куда хочет.

— Как это, кто куда хочет? — вспылил первым подпявшийся Синьков. — Ты командир, ты и веди нас.

— Да, товарищ лейтенант, нам теперь уж лучше не разлучаться, — поддержал Синькова Ефим. — Без тебя мы пропали бы...

— Спасибо, товарищи, — ответил Сарбаев. — Но кое-кому не нравились мои приказы...

Вологодец понял его намек и клятвенно воскликнул:

— Такое, как в лесу, не повторится! Будем верить каждому твоему слову!

— Значит, желающих уходить по одному нет? — спросил Сарбаев и, услышав в ответ: «Нет! Один пропадешь! Вместе будем!» — заключил: — Договорились: будем действовать заодно, как боевое подразделение, что бы с нами ни случилось!

— Да чего тут говорить, командир, — серьезно пробасил Ефим. — Коли из смертной беды вывел нас — веди и дальше.

Видимо, не очень-то умел высказывать свои чувства Сибиряк, но в этих словах было все: и признание своей вины, и благодарность, и преданность. Услышать такое от этого бойца Джуме было особенно дорого.

— Ну, тогда вперед. Поскорее надо выбраться изо ржи, а то вдруг и она загорится от леса.

. Бойцы тесной группой тронулись за своим командиром. Ночь быстро шла им навстречу. Темная, спасительная белорусская ночь.

IV

Свобода, свобода!

Она кружила головы радостью, как хмельное вино, наполняла бойцов силой, уверенностью.

Они шагали смело, широко. Под их ногами сухо шуршала уже осыпающаяся рожь. Ночь была безлунной, и звезды на черном августовском небе горели ярче обычного. Да и все в эту ночь казалось необычным, полным жизни и счастья.

Джума радовался больше всего тому, что сможет вернуться к Стародубу. Надо только раздобыть еды и лекарств.

А может, ему ни то, ни другое уже не нужно? Ведь уже сутки полковник в лесу один, беспомощный и безоружный... Всякое могло с ним случиться... При этой мысли Джума вспомнил виновника всех его злоключений хуторянина Тодора и крепко, до боли в пальцах сжал висевший на груди немецкий автомат: он, не задумываясь, выпустит очередь в стеклянные, полные звериной ненависти глаза предателя!

Рожь кончилась, и бойцы остановились на опушке долгожданного спасительного леса.

Джума сказал, что первым делом он должен разыскать командира полка.

— Твой долг — наш долг, — за всех ответил Ефим.

— Такого человека бросить нельзя, — поддержал его учитель.

— Вот только как найти его, — задумчиво проговорил Джума. Он рассказал, где оставил Стародуба, как ходил на хутор Тодора и как тот выдал его полицаям. — Вот если бы найти ручей, по которому я шел...

Учитель сказал, что в этой местности все ручьи текут на юго-восток. Чтобы встретить тот ручей, надо идти на запад.

Джума отыскал на небе Большую Медведицу и, определив направление, повел отряд по густому болотистому лесу.

Часа через два быстрой ходьбы услышали заливистый крик петуха. Остановились в растерянности. Неужели они кружили по лесу и вернулись в село, откуда бежали? Но петуху другой не откликнулся, и бойцы поняли, что это хутор.

Решили послать разведку. Вызвались Игорь Синьков и учитель, Андрей Макарович, у которого была короткая украинская фамилия — Гак. Ефим по поводу этой фамилии добродушно пошутил: «Не надо посылать Андрея. С ним втрое дольше идти. Километр пути да гак — два километра! Знаем, что такое украинский гак».

Сарбаев отдал Синькову свой автомат, на что Василий Вологодец недовольно заворчал: мол, двоим все отдали, а сами остались безоружными.

Вернулись разведчики неожиданно быстро. Оба несли по большой торбе.

— Хуторянин хуторянину рознь, — сказал Синьков, опуская свою ношу на траву. — Мы попали к бедняку, который получил от Советской власти землю. Он рад был отдать нам все, что имеет.

— Хозяйка даже одеяло хотела всунуть в мешок, — поддержал товарища Гак. — Входим, а она вся в мыльной пене. Две девчурки помогают ей стирать, несмотря на то что уже полночь. Оказывается, они ночами стирают белье, в которое переодевают наших бойцов, пробирающихся к фронту. Каждый день у них бывают такие, как мы.

Синьков сообщил, что хуторянин рассказал, как пройти к ручью, на котором стоит хата дядьки Тодора.

На рассвете бойцы нашли и тот ручей, и поляну с одинокой березой без вершины.

Оставив отряд на опушке, Джума в нетерпении побежал к березе.

— Если нужна будет помощь, я свистну.

В лесу было тихо: ни птичьего щебета, ни шелеста листвы. Звезды потускнели. Синее безоблачное небо уже начало с востока наливаться холодноватой стеклянной зеленью. На знакомой полянке было светлей, чем в лесу, и Джума издали увидел мертвое пепелище, где разводил костер.

«Погас костер, или командир боялся его поддерживать, или не мог от бессилия?» — лихорадочно гадал он, подбегая к пепелищу, словно там были ответы на все его вопросы. Еще с большей поспешностью, чем в первый

раз, Джума хлопал руками по безнадежно остывшему пеплу. На этот раз — никаких признаков тепла!

Подбежал к березе и тихо окликнул:

— Павел Прокофьевич!

В ответ ни звука, ни шороха. Даже легкие, всегда трепещущие листья березы висели молча, уныло, словно и они прислушивались, ждали ответа.

Позвал еще и еще. Потом напролом побежал по кустарнику, яростно раздвигая ветки ольхи.

— Павел Прокофьевич! Это я, Джума Сарбаев!

Обежал второй круг, понемногу удаляясь от березы.

— Павел Про... — Он вдруг осекся, наскочив на примятую под ольхой траву.

Здесь лежал полковник, здесь. Но где же он теперь?

Джума оглушительно свистнул. Пусть приходят все. Надо искать. Ведь не мог человек пропасть бесследно.

Когда подошли товарищи, стало рассветать. Роса покрывала траву сизоватой пеленой. Под ольхой, где оставался раненый, Джума нашел кожуру печеной картошки и след большого ботинка.

— Здесь были посторонние! — сказал Джума окружившим его товарищам. — У полковника поношенные хромовые сапоги, а это след новых солдатских ботинок, видите, подметка с шипами.

— Может, наши, окруженцы? — сказал Синьков.

— Теперь и полицаи ходят в нашей обуви, — возразил Джума.

— Выход один — искать по следу, — предложил Андрей Гак. — Надо хорошенько запомнить след этого ботинка.

— Тут сыро, вот и остался след. А на сухой траве его не будет, — возразил ему Джума, но идти согласился: это было единственное, что они могли предпринять. — Но сначала надо поесть.

Быстро развели на прежнем месте костер, вскипятили воды в котелке, который раздобыли ночью на хуторе вместе с ржаной буханкой. Съели по куску хлеба. Запили кипятком, заваренным сухой ромашкой, собранной на полянке.

Поиски полковника ни к чему не привели: как и предполагал Сарбаев, след отпечатался только на влажной почве, а больше нигде не попадался.

После бесплодных блужданий по лесу собрались у той

же березы. Долго, как на поминках, молчали. Первым заговорил Ефим. Глядя на его богатырское сложение и осанку удальца, Джума подумал, что не зря прозвали его Сибиряком.

— Ежели полковник попал к фашистам, все одно узнаем. Человек — не иголка. Уж мы за него отплатим проклятым во сто крат!

— Только бы оружие добыть, — кивнул Синьков.

— Будет оружие! Сегодня же! — порывисто встал Джума. — У того хуторянина Тодора, о котором я говорил, по-моему, есть кое-что и кроме пистолета. Такой горлохват не прозевает! Кто со мною? — все еще не привыкнув к роли командира этих людей, спросил Джума.— Может, без боя не обойдется. Надо рассчитаться с ним.

— Все пойдем, — с готовностью сказал учитель.

— За оружием хоть к черту в зубы, — в тон учителю пробасил Сибиряк.

— А добудем оружие, тогда что? — спросил Саша Зуев. — Сразу пойдем к линии фронта?

— Признаться, ребята, я и сам еще не решил, — смущенно ответил Джума. — Пока шел с полковником, во всем полагался на него. Он участник гражданской войны, в таких делах разбирается. А теперь не знаю. Будем думать вместе.

— Я попал к немцам с листовкой в кармане, — медленно заговорил учитель. — Жаль, что ее отобрали. К окруженцам обращается Верховное Командование Красной Армии с призывом повсюду создавать партизанские отряды. Громить врага в его тылу. Разрушать коммуникации, не допускать увоза в Германию советских людей. Прочитал я эту листовку и понял, что нам, окруженцам, если не пробьемся к своим, надо воевать здесь, в тылу врага, партизанить, как в гражданскую войну.

— Согласен, — ответил Джума, втайне надеясь все же найти Стародуба. — Я остаюсь, пока не найду командира полка. А кто хочет пробираться к фронту, пожалуйста! Поможем запастись продуктами, оружием. Думайте, решайте, товарищи.

— А чего думать? Надо попробовать, — прогудел Сибиряк. — Если дело у нас получится, останемся партизанами. А нет, всегда можно уйти к фронту.

— Потом и фронта не догонишь, — почесал в затылке Василий.

— Ты что ж, думаешь, наши там строевым отступают за Урал? — по-медвежьи покосился на него Ефим.

Василий виновато смолк.

— Я понимаю Василия, — примирительно заговорил учитель. — Он в первый час войны был контужен и в боях не участвовал, так что не знает, каков он, немец, когда не на плацу. Не надо быть большим стратегом, чтобы понять, что раз блицкриг фашистам не удался, то скоро им придется туго. А что делать, решай сам.

— Да я что, я как все, — сдался Василий.

— Ну, тогда за мной! — Сарбаев забросил автомат за плечо.

Молча, без отдыха шли часа два. Наконец в густом смешанном лесу Сарбаев остановился и сказал, что здесь отдохнут, а стемнеет, пойдут на хутор.

Он сел на поваленной ветром березе, в стороне от друзей. Хотелось побыть одному, подумать. Никак не мог примириться с мыслью, что полковник погиб вот так — ни за что ни про что. Но подумать в одиночестве ему не дал учитель. Он тихо и как-то робко подошел. Сел рядом.

— Ты все думаешь о командире? — заговорил он глухо. — Я тоже думаю о нем. Прекрасный человек!

Сарбаев встряхнулся и как-то по-новому посмотрел на этого худого неказистого бойца с печальным лицом и внимательными глазами.

— Расскажи, кем ты у него служил.

Двумя пальцами учитель поправил прядь русых волос, в которых Джума только сейчас заметил густую седину.

— В армии я, как и на гражданке, по сути, оставался художником...

И Гак начал рассказывать о Стародубе. Из его слов стало понятно, что парень этот знает Павла Прокофьевича намного лучше, чем Сарбаев.

Андрей Макарович Гак работал учителем рисования в сельской школе на берегу Иртыша. В свободное время ходил на этюды в Курчумские горы. Из-за нехватки в сельской местности учителей в армию Андрея Макаровича не брали, все оставляли в запасе второй категории. А в 1941 году, в начале мая, он вместе с другими запасниками был отправлен в Белоруссию и попал в полк Стародуба. В первую же неделю получил задание по

своей специальности — стал оформлять боевой листок. Потом комбат капитан Строгов дал ему поручение — нарисовать для ленинской комнаты портрет бойца, геройски погибшего на посту и оставшегося навечно в списке личного состава батальона. А там и совсем закрепили художника за клубом. Никакой солдатской службы он не знал еще. Его не успели даже научить отдавать честь и ходить в строю. Часть готовилась к своему юбилею. Помещения ремонтировались, украшались. Начальнику клуба пришла мысль приобрести картину на тему армейской жизни. И он послал за нею художника в ближайший город. Подходящей картины тот не нашел, но зато вернулся с набором красок и кистей: он решил нарисовать картину сам и показал фотографию из газеты, на которой был изображен один из советских маршалов на маневрах. Маршал стоял на возвышении и наблюдал за разгоравшимся танковым боем. Начальнику клуба и комбату Строгову идея создания такой картины так понравилась, что скупой на обещания и похвалы комбат сказал:

— Сделаешь хорошо, родителям литер вышлем, вызовем в гости.

Это значило, что родители солдата приедут в полк и несколько дней будут почетными гостями. Им отводится отдельная комната, и живут они на полном обеспечении. Ну, конечно, кто не позавидует такому бойцу!

У Гака отца не было. Он вырос у деда с бабкой. И представлял, как будут счастливы старики, если их провезут через всю страну в гости к внуку, который так отличился... Художник и так был увлечен своим делом со всей страстью, а тут стал в клубе и дневать и ночевать. Ему позволено было даже на обед не приходить. Еду по приказу комбата приносил сам повар, надеявшийся, что художник выкроит время и намалюет его хоть карандашом, чтобы он мог послать свой портрет любимой девушке. Одним словом, художник забыл, что он в армии, — рисовал дни и ночи.

Однажды пришел посмотреть на его работу сам командир полка Стародуб. Тогда и состоялось их первое знакомство. Он сразу узнал на еще только начатой картине маршала и спросил, не сумеет ли художник нарисовать портрет Ленина для его кабинета и сколько дней нужно для этого.

— Сухой кистью? — спросил художник.

Полковник откровенно признался, что не понимает, что это значит. Художник объяснил и, получив согласие на «сухую кисть», сказал, что через два дня сделает.

— Вот и хорошо! — кивнул Стародуб. — Как раз вовремя — послезавтра ко мне приедет начальство.

Командир ушел, а художник задумался. Нарисовать небольшой портрет сухой кистью для него дело нескольких часов. Еще будучи студентом, он прирабатывал на этом к стипендии. Но ведь это не обычный портрет, а портрет Ленина, вождя революции! Он решил не откладывать эту работу. Отложишь, а вдруг сразу не получится, и некогда будет переделывать.

По натуре художник был человеком увлекающимся. Не обратив никакого внимания на обед, принесенный поваром, он выпроводил его из клуба одним только словом: «Некогда!» Схватил со стены картину в хорошей раме, выдрал старую, пожелтевшую бумагу, натянул на подрамник кусок полотна, купленный в городе. А на закате солнца он уже нес командиру части вставленный в добротную раму, завернутый в бумагу портрет Ленина.

Впервые в жизни Андрей Гак переступал порог командира воинской части. И несмотря на то что на полотне художник смело обращался с великими людьми, в жизни же перед дверью командира полка оробел. Ему казалось, что сегодня он должен выдержать самый строгий экзамен.

Дежурный офицер удивленно выслушал нескладный доклад неуклюже одетого в красноармейскую форму худощавого юноши. Почему-то с сомнением качнул головой, но пообещал доложить и скрылся за массивной дверью.

Не успел художник осмотреться, как дверь широко распахнулась и дежурный весело, совсем не так, как встретил, сказал:

— Пройдите!

Полковник Стародуб сидел за большим письменным столом, покрытым красным сукном. Гак сразу же заметил совсем маленькие и какие-то неудачные бумажные портреты, на одной стене Ленина, а на другой — Сталина.

Дрожащими от волнения руками художник снял бумагу, в которую была завернута его работа. Это была копия с известного портрета Ленина в полупрофиль.

— Так это что, было у вас раньше сделано? — выходя из-за стола и беря в руки портрет, спросил Стародуб.

— Нет, сейчас нарисовал, товарищ командир. Осторожно, запачкаетесь, еще не просохло, — предупредил художник.

Стародуб не обратил внимания на то, что солдат назвал его не по уставу — командиром, а не по званию. Он знал, что этот юноша еще не успел стать солдатом: в армии на него сразу же навалились его прежние, гражданские дела. Стародуба удивляло другое. Он глянул на часы и подумал: неужели этот портрет сделан за три с половиной часа? И, строго нахмурившись, словно его обманывали, полковник громко спросил:

— Сколько времени вы над ним работали?

Густо покраснев, художник ответил:

— Два часа.

Полковник, не выпуская из рук портрета, быстро подошел к двери, толкнув ногой, открыл ее и позвал дежурного. Тот влетел и вытянулся у порога.

— Ты посмотри, какой у нас художник появился! — в восторге, громко говорил Стародуб. — Вот это дело! За два часа! Как ваше имя-отчество?

Художник удивился этому вопросу, но назвался.

— Как по-вашему, Андрей Макарович, где его лучше прикрепить? — спросил Стародуб, высоко поднимая портрет.

— Только не там, почти под потолком, где эти.

Дежурный офицер принес молоток и гвозди.

Когда портрет прикрепили, Стародуб приказал принести «чаю с чем-нибудь» и сел с художником возле окна, залитого ярким пламенем заходящего солнца. Их разделял маленький резной столик. Командир части уселся за этот столик так, будто дома встретился со старым другом. Пили чай с печеньем, говорили об искусстве...

Уходя поздно вечером, художник пообещал на следующий день принести и портрет Сталина.

Так свое обещание выполнил, сделал и второй портрет и начал усиленно работать над картиной, стараясь закончить ее к приезду высокого начальства. Спал он в эти ночи по два-три часа тут же, на диване. В нарушение всех правил ему было разрешено не приходить в казарму.

Работа над картиной подходила к концу. День был солнечный. В хорошо освещенной комнате видны были самые мелкие детали на огромном, во всю стену, полотне. Увлеченный своим делом, художник не заметил, что за

спиной у него шепчутся люди. Мало ли их тут приходит! Начальник клуба не разрешал никому входить в комнату, где работал художник, даже на двери повесил специальную надпись, но любопытство влекло многих. Гак уже не обращал внимания на зевак. И сейчас оглянулся только тогда, когда кто-то, видно очень высокий, заслонил ему солнце.

Обернулся и обомлел. Оказывается, за спиной у него шептались сам командир части и еще один, с широкими лампасами и такими знаками отличия, что Андрей, сугубо невоенный человек, и не знал, кто он такой по званию. Это он — высокий, осанистый, прямой — заслонял свет.

Художник растерялся, забыл, что он без головного убора, и, приложив к виску правую руку, из которой так и не выпустил кисти, громко начал рапортовать:

— Товарищ командир полка, рядовой Гак находится при исполнении...

Стародуб усмехнулся и махнул рукой: отставить. И, виновато глядя на своего начальника, сказал:

— Товарищ командарм, этот боец — майского набора. Не успели обучить и сразу мобилизовали на подготовку клуба к юбилею... — и безобидно пояснил художнику, что обращаться положено к тому, кто выше по званию. К тому же он без головного убора...

Но тут его самого перебил командарм. Очень приятным и совсем не начальственным голосом он заметил:

— Солдатом его сделать не трудно...

Он подошел к картине и сказал, что так как он хорошо знает маршала в лицо, то может высказать несколько замечаний, если художник позволит.

Так и сказал: «если позволит». И тут же оправдался, что виноват в этих неточностях не художник, а фотография, вернее, ретушер-подхалим.

Гак внимательно выслушал замечания и, сделав несколько мазков, нарисовал родинку на лице маршала.

— Ну, не ожидал! — воскликнул словно бы недовольный командарм. — Можно подумать, что вы его лучше знаете, чем я. — С этими словами он тепло и благодарно посмотрел на командира полка и тихо сказал: — Закончит — откомандируете ко мне.

Художник удивился, как изменился в лице его начальник, хотя тут же Стародуб козырнул:

— Слушаюсь, товарищ командарм! — И добавил с огорчением: — Хотя и жалко.

— Я тебя понимаю, — улыбнулся командарм. — Ладно уж, верну через два месяца.

Стародуб недоверчиво посмотрел на командарма. И тот виновато произнес:

— Хочешь сказать, умыкну, как того футболиста? Нет, верну. Честно.

Это было в субботу. А в воскресенье утром, когда художник стоял у своей картины и кое-где подправлял кистью, забыв, что завтрак, принесенный поваром, давно остыл, в комнату с тяжелым топотом влетел запыхавшийся старшина роты, в которой числился Андрей Гак.

— Боевая тревога! — заорал он так, будто бы в преисподнюю провалилась земля и все, что на ней.

Не выпуская кисти из руки и не оборачиваясь, художник небрежно ответил:

— Я же освобожден от всяких занятий.

— Освобожден? От войны тоже? — И старшина сгромоздил такую многоэтажную и замысловатую фразу, что художник невольно сник, покорился, еще не понимая, что же все-таки произошло.

Старшина был в ремнях, с противогазом, с наганом на боку и автоматом через плечо. На поясе висели гранаты. Кроме того, в руках он держал автомат Гака. Старшина сунул в руки автомат все еще ничего не понимающему художнику и уже тише сказал:

— Вся часть ушла в лес. Про тебя забыли. Комбат стружку с меня снял. Хватай только то, что тебе очень дорого — фото или документы, — и бежим.

Повесив на плечо автомат, сунув кисть за обмотку, художник прихватил мольберт с красками и поспешил за старшиной, который сбегал по лестнице, гулко топая.

Лишь выбежав из клуба, художник обратил внимание на сплошной гул и грохот в небе.

Там, в клубе, он слышал временами то взрыв, то грохот, то рев самолетов, но считал это обычной учебой, маневрами, о проведении которых давно поговаривали. А здесь, под открытым небом, сразу понял, что военная учеба кончилась, начались суровые экзамены...

Андрей Гак замолчал.

Джума посмотрел на него с нетерпением.

— Ну а дальше?

— А там, сам знаешь, пошло такое, что и черт не вспомнит всего. Да и Стародуба я, как начался бой, видел только один раз.

— Расскажи, расскажи. Я ведь пришел в ваш полк, когда гитлеровцы уже прорвали его оборону...

Гак посмотрел на разметавшихся на траве друзей и с доброй улыбкой сказал:

— Хоть картину с них пиши — «Русские богатыри на привале»...

Медленно и тревожно угасал первый день войны. Небо, которое с рассвета было наполнено гулом самолетов, умолкло. Но на земле не прекращались ни пулеметные очереди, ни артиллерийская канонада, ни грохот разрывов снарядов. Земля стонала, тяжело ухала и сотрясалась. Однако все эти громы и грохоты заглушили возникшие на Брест-Литовском шоссе лязг и скрежет огромного скопления военной техники. Казалось, что вся озверевшая гитлеровская армия села на танки, тягачи, автомобили, тракторы и еще черт знает на что грохочущее, скрежещущее и взвизгивающее железом и двинулась сюда, на этот маленький косогор, где во ржи окопался полк — крохотная горстка людей, слабая и незначительная в сравнении с тем огромным, что огнедышащей тучей надвигалось с запада на восток. Через полчаса ни пулеметных всплесков, ни артиллерийской пальбы, ни даже крика соседа по окопу не стало слышно — воздухом завладел этот всесотрясающий лязг и скрежет, стальной скрип и дьявольское железное повизгивание.

— Танки фашистов! — пронеслось по окопам.

Андрей Гак сидел в своем окопе, съежившись и затаив дыхание, и под ложечкой сосало, как от сильного голода. Наконец он не выдержал, выглянул из окопа — хотелось узнать, как другие относятся к тому, что на них надвигается. Но он никого не увидел, — наверное, бойцы, как и он, попрятались в своих окопах. Андрею стало страшно. Показалось, что он один остался на этом поле, в своем беззащитном окопчике, один на целом свете!

В этот момент он вспомнил свою картину: на обширном поле с перелеском были и траншеи пехотинцев, и замаскированные батареи орудий, и целые колонны танков.

Значит, все это есть где-то, есть! Да, вот ведь обед,

«наркомовский паек», приносили днем от соседей, танкистов! Тут рядом, в лесу, стоят они, наши танкисты. Значит, и они слышат скрежет, который катится с запада на восток? Но тут опять настроение упало: а что они могут? Сколько там их?

Эти печальные размышления Андрея прервал окрик подбежавшего к окопу старшины:

— Гак, получай!

Следом за старшиной, низко согнувшись от тяжести, прибежали два бойца с ящиком и тяжело опустили его у самого окопа.

— Ты ведь даже гранаты не умеешь бросать! — сказал старшина, передавая Андрею четыре тяжелые противотанковые гранаты. — Ну, командир отделения покажет, а беда научит...

Старшина и его помощники перебежали к следующему окопу. А к художнику подошел командир отделения Ахмет Сатыпалиев.

— Художник, противотанковый граната сапсем пе знаешь? Так? — сказал Ахмет и сел на землю, свесив ноги в окопчик. — Кроме кисточка да краска, ничего не знаешь? Смотри, быстро смотри, сразу учись. — И он показал, как обращаться с противотанковой гранатой.

Нехитрому делу обращения с гранатой Андрей обучился тут же, повторяя движения за командиром. Его смущало другое — он в жизни не бросал гранаты и даже в городки не играл.

— В бабки играл? — спросил заинтересованно Ахмет.

— Нет.

— А-ах! Цы-цы-цы! — Ахмет по киргизской привычке сокрушенно зацокал языком. — Не очень беда! Вместе будем работать. Ты считать, я гранаты бросать!

— Танки считать? — удивился Андрей такому плану сотрудничества.

— Зачем танки?! — воскликнул Ахмет.— Расстояние, ты очень хорошо считал расстояние.

Андрей понял, о чем говорит командир. Днем, после того как окопались, стали учиться определять расстояние до какого-нибудь предмета на открытой местности. Отстававший в сборке оружия, в меткой стрельбе да и вообще во всей боевой подготовке, Андрей вдруг отличился. Ему помогал навык художника. По листочку бумаги в клетку из блокнота Андрей нанес на черенке неразлучной кисти

деления на сантиметры и миллиметры. Держа кисть на вытянутой руке, он безошибочно определял расстояние до цели, даже движущейся.

Вот этим его умением и решил теперь воспользоваться Ахмет в случае танковой атаки. Собрав свое отделение возле окопа художника, командир объяснил, что самое важное в бою с танками — это вовремя бросить гранату, бросить ее именно под гусеницу.

Слушали его молча и тревожно. Все смотрели туда, откуда громыхало и душераздирающе скрежетало.

Ахмет объяснил, что не все то, что сейчас движется по дороге, хлынет на их окопы. В атаку могут пойти несколько танков. А на его отделение в крайнем случае достанется один бронированный фашист.

— Ну, это ты брось, — скептически процедил кто-то в темноте. — Вон их сколько! Германия — страна машинизированная. Чего им не пустить сколько надо, чтобы от нас не оставить и мокрого места.

— Прекратить паникерство! — строго оборвал его командир.

Он приказал бросать гранаты только по его команде. А художника попросил — не приказал, а именно попросил — в случае атаки заняться определением расстояния до движущегося танка.

— Начинай с двести метров. Потом сто пятьдесят. Сто. А дальше каждые десять метров считай и говори громко. Если будет сильный грохот, совсем на весь голос кричи.

Вдруг он привстал и громко скомандовал:

— По окопам! — и сам спрыгнул в свой окопчик справа от Андрея Гака.

Из-за пригорка показалась колонна фашистских танков.

Конечно же спокойным не был и Ахмет, закаленный в боях на Халхин-Голе командир. Но он уже знал, как поджечь и как подорвать танк.

Андрей похолодел, когда увидел, что сверкающая сталью, грохочущая механизированная колонна миновала тот лесок, где притаилась и не подавала признаков жизни наша танковая часть. Вот уже скатились с пригорка последние танки, за которыми следовали мотоциклисты, а наши ни звука! Еще несколько минут — и вражеские танки начнут утюжить окопы. Андрей неотрывно смотрел на приближающиеся смертоносные машины, впервые в жиз-

ни ощущая свою полную беспомощность и безвыходность положения.

Вдруг среди вражеской колонны ударил в небо огромный черный смерч. Земля дрогнула, гневно громыхнула, словно, набравшись сил, решила одним толчком стряхнуть с себя наползавшую нечисть. Головной танк вспыхнул красно-синим огнем, густо окутался клубящимся дымом, развернулся, так что ствол его пушки нацелился на запад, и мотор заглох.

— Один есть! — воскликнул Ахмет, указывая на этот танк. — Скоро все пойдут к чертов шайтан!

И, как бы в подтверждение его слов, на шоссе один за другим загорелись еще три танка, подбитые нашей артиллерией.

Немецкие танки стали расползаться с пристрелянной дороги. Те, что скатились влево, перестроились и двинулись в долину по направлению к окопам.

Андрей с недоумением посмотрел на лесок за казармами, где еще днем стояли танкисты, так охотно делившиеся своим пайком.

И только он подумал о танкистах, как из лесу, словно на разведку, вышел наш легкий танк. Немцы его еще не видели за косогором, а танк, немного постояв, словно выбирая путь, двинулся вдоль опушки. Из леса на больших скоростях к нему один за другим стали выходить наши танки. Андрей догадался, что они заходят немцам в тыл.

На какое-то время советские танки скрылись за кустарником. Потом показались со стороны шоссе и открыли огонь. Немцы стали разворачиваться и вступать в бой.

— Будет совсем жаркий дуэль! — заметил Ахмет, обращаясь к Андрею.

И он оказался прав. В течение часа советские танки, которых было вдвое меньше фашистских, сражались в открытом бою, уничтожая врага и погибая сами. Видно было, что наши танкисты вышли на поле боя, не помышляя об отступлении. Даже подбитые или горящие краснозвездные танки продолжали стрелять по врагу.

Лишь в сумерках на поле, освещенном дымными кострами догорающих танков, утихли стрельба и гусеничный визг. А земля и небо горели черными кровавыми пожарами.

От окопа к окопу шел комбат капитан Строгов. Остановившись возле окопа Андрея Гака, он спросил:

— Ну как, художник, есть что нарисовать?

— Было бы время, — ответил Андрей, чувствуя, что, несмотря на суровость всегда строгого и официального капитана, сейчас можно ответить просто, не по уставу.

— Наших наполовину меньше вышло в бой, а фашистов вон сколько осталось на поле! — сказал комбат. — Вот вам первый урок...

— Ничего, вперед они еще немного продвинутся, а назад не вернутся! — уверенно заявил из окопа сосед Андрея слева.

— Не такой шайтан страшный, как его намалевает наш художник! — поддержал его Ахмет.

Но тут разговор затих — на шоссе снова показались немецкие танки. Один за другим спускались они в долину, к линии обороны батальона.

— Не дают им покоя наши окопы! — заметил капитан и быстро пошел в сторону командного пункта.

Как и в первую атаку, Андрей смотрел на приближающиеся танки фашистов и холодел от ужаса, не в силах даже определять расстояние, которое быстро сокращалось.

— Гранаты к бою! — вывел его из оцепенения высокий звенящий голос командира отделения. — Слушай мою команду!

Уверенность командира взбодрила Андрея, и он стал громко отсчитывать расстояние от окопов до фашистских танков.

— Шестьсот метров!

— Врешь, шестьдесят! — возразил сосед слева.

— Разговорчики! — гневно выкрикнул Сатыпалиев, добавив что-то по-киргизски, видно, не очень ласковое.

Ругался он всегда на своем языке, чтоб и душу отвести и никого не обидеть.

— Четыреста, — уже напряженнее отсчитывал Андрей.

— Каждый спокойно проверь свой гранат! — приказал Ахмет. — Гранаты должны лежать возле левой рука.

По окопам словно град ударили пули — это заработали танковые пулеметы. Немцы нащупали окопы во ржи.

— Пятьдесят! — до предела повысил голос Андрей.

— Гранаты! — зло крикнул Ахмет и, не дожидаясь, когда Андрей скажет «двадцать», размахнулся и бросил свою гранату под левую гусеницу, казалось, на бешеной скорости мчавшегося танка. Ахмет дальше всех в отделении метал гранаты, поэтому и бросил первым. Это послу-

жило сигналом к бою всему отделению. Танк, шедший на Сатыналиева, закружился на месте. Одновременно с двух сторон на башню полетели бутылки с горючей смесью, и танк вспыхнул, распространяя маслянистый удушливый смрад.

— Хорошо пахнет, цволочь! — воскликнул Ахмет.

— Что, гад! Не нравится?! — послышался голос бойца, который вечером так боялся танкового нашествия и говорил: «Германия — страна машинизированная».

Однако под прикрытием черного дыма горящего танка, обходя его с двух сторон, к окопам прорвались сразу два.

— Тридцать! Двадцать метров! — крикнул Андрей изо всех сил. В отчаянной злобе он схватил гранату и, высунувшись из окопа, швырнул ее под гусеницу, казалось, уже нависшего над окопом скрежещущего и плюющего пулеметным огнем стального страшилища. Тугим едким смрадом ударило в рот, в нос, сдавило и оглушило Андрея. Очнулся от грохота и грома, разразившихся прямо над головой.

— Андрючка, ложись! — услышал он голос командира, впервые назвавшего его так ласково. — Горит твой фашист! Молодец, Андрючка! Сиди низко, пока взрыв кончится.

Андрей присел на дно окопа, торжествуя свою первую и такую неожиданную победу над врагом. Но как было усидеть! Он высунулся из окопа. Танки наступали теперь на правом фланге.

— Товарищ командир, танки справа! Бежим на помощь!

Но Ахмет не разделил этого энтузиазма, сказал, что там есть свои гранатометчики и артиллеристы. И в этот момент, действительно, перед ближним танком стали рваться гранаты...

«Танки фашистов!» — вспомнил Андрей прокатившуюся вечером весть, в то время навеявшую смертельный ужас, и обратился к Ахмету:

— Товарищ командир, значит, наши гранаты сильнее, чем танки фашистов?

— Нет! — отрезал тот усталым голосом. — Наши бойцы лучше! Наш народ совсем лучше!

Андрей опустился на ступеньку окопа и обессиленно привалился к земляной стенке. Как хотелось вытянуться и уснуть!.. Поднял его шелест ржи. Гак увидел идущих

к окопам командира полка Стародуба и командира роты, высокого сухопарого лейтенанта.

Андрей испугался за них — почему не пригибаются? Но, глянув на поле, все понял — в долине дымились догоравшие танки. На шоссе — никакого движения.

— Чья это тут у тебя работа? — кивнул полковник на горящий танк близ окопа и протянул руку командиру отделения.

— Первый подбил Андрючка Гак, — с готовностью ответил выскочивший из окопа Ахмет. — Другой он тоже помогал. Он правильно расстояние говорил. Так? Боец правильно граната бросал.

Командир роты изумленно хмыкнул и качнул головой: мол, вон оно что.

— Ну-у, художник! Поздравляю! — Комполка спрыгнул в окоп Андрея, крепко пожал ему руку:

— Ты ведь совсем еще не солдат. Боялся я за тебя, необученного. А ты... сразу стал истребителем немецких танков. Ну! — Дружески кивнув, полковник хотел уже было вылезть из окопа, как вдруг спросил: — Осталось три гранаты? А всего у тебя сколько было?

— Четыре! — робко ответил Андрей.

— Четыре?! — недоверчиво переспросил командир. — На эту фашистскую чертовщину ты истратил только одну гранату?! — Он покачал головой и совсем уж по-свойски пошутил: — Ну и скряга же ты!

Комполка выскочил из окопа и, тряхнув кулаком, — мол, так и держись, — пошел дальше.

— Скряга! — с удовлетворением повторил про себя Андрей.

— Больше я командира полка не видел, — грустно закончил свой рассказ Андрей Гак. — Утром на нас снова пошли гитлеровцы. Меня контузило и засыпало разрывом немецкого снаряда... А когда я очухался и вылез из окопа, своих я не нашел. Несколько суток бродил по лесу как чумовой. Потом встретил Ефима и других...

— Что было с полковником дальше, пожалуй, лучше других знаю я, — задумчиво проговорил Джума, глядя на догорающий костер, вокруг которого крепко спали самые дорогие ему теперь люди. Он подложил в огонь несколько веток и встал. — Давай поднимать наших чудо-богатырей и — на хутор!

V

Темной ночью отряд Сарбаева пришел на хутор дядьки Тодора. В хатенке чуть заметно светилось занавешенное окошко. Сарбаев направился было к двери, оставив товарищей за углом, но его опередил Сибиряк.

— Товарищ командир, разреши, я пойду первым. Тебя он знает, еще застрелит.

— Ты прав, Ефим. Вот тебе автомат, иди.

Дверь оказалась закрытой изнутри. На стук Ефима ответил слабый женский голос:

— Кто там?

— Открой, хозяйка.

— Полиция не дозволяет никого в ночи пускать до хаты.

— Нам нужен дядько Тодор.

— Э-э, вспомнил дядьку Тодора. Той дядько теперь повернулся в свои хоромы, — уже открывая дверь, ответила пожилая женщина. — Аткуля ж ты такой племяшка, что и не знаешь, как высоко взлетел твой дядько? Тю, ты не один?

— Нас двое, — ответил за Ефима и вышел к свету Джума.

— Красноармейцы? О боже ж мой! Так заходите ж, заходите, хлопцы. Как раз бульба сварилась, — приглашала женщина. — Правда, за это теперь расстреливают. Ну, да все одно те супостаты за что-нибудь расстреляют... Вас только двое, а то полицай приезжал на ровере * и грозил, коб не пускала в хату никого: семеро наших хлопцев убежали с-под расстрелу.

— Мамаша, нам некогда. Если можно, так бульбу вы нам с собой дайте, — сказал Сарбаев. — И нам хорошо, и вам безопасно.

— Я зараз, мои милые! — Женщина метнулась в комнату, оставив дверь открытой.

Комната была тускло освещена догорающей лучиной. Хозяйка подбросила в печурку смолистых щепок. Огонек вспыхнул ярче, затрещал, он так и манил в уют и тепло. Но Джума и Ефим не вошли, чтоб не навлекать беды на гостеприимную женщину. Она вывалила бульбу в чистую тряпицу и подала Ефиму.

* Ровер — велосипед *(белор.)*.

— Так возьмите ж и кисляка. Зараз я перелью в старое горщатко.

— Спасибо вам за вашу доброту, — сказал Сарбаев. — Как вас зовут?

— Евдоха.

— А по отчеству?

— И что вы, по отчеству! — Женщина смущенно закрыла сухие морщинистые губы кончиком платка. — По отчеству меня никто не прозывает. Вот только когда лежал в больнице один инженер из Москвы, тот, что болото собирался осушить, да поранил ногу, так он только по отчеству и звал. Евдокия Назаровна, скажет, бывало, вы моя вторая мамочка. Приятный такой человек был. Слава богу, за неделю до войны в Москву увезли, не попался тем супостатам.

— Спасибо вам еще раз, Евдокия Назаровна. Где же теперь искать дядьку Тодора?

— Так вот и говорю вам, дядько Тодор вернулся в свой дом в Бродах, где больница была. Все больничное выкинул. Простыльни, наволочки да всякое добро прибрал к рукам. А так все вышвырнул. Я работала ночной няней, так меня переселил сюда, сторожить хутор. Я ж недаром говорю вам, теперь тот клячий Тодор высоко взлетел!

Сарбаеву очень понравилось слово «клячий», которое и ему пришло в голову, когда был у хуторянина.

— Он теперь у нас за самого главного на целый район. — И Евдокия Назаровна с трудом выговорила название высокой должности Тодора: — Браго-мастер!

— Как-как? — переспросил Джума, за время пребывания в лагере и в полиции кое-что узнавший о чинах, насаждаемых немцами на оккупированной территории. — Может, бургомистр?

— Лихоманка его беса зна! Слово такое — скулы сводит! А теперь все понимают так: раз браго-мастер, значит, брагу чи там самогон будет гнать сколько ему захочется. Нам же не дозволяется, а ему — гони хоть день и ночь. На то он и главный!

— Замечательная рекомендация! — заметил Ефим.

— Сегодня справляет новоселье. Там такое творится!.. Всю полицию угощает...

Джума, немного подумав, сказал:

— Вы, Евдокия Назаровна, до утра из дому не выходите. Так надо.

— Бронь боже! Куда я на ночь глядя! — отмахнулась старуха. — Как только солнце сядет, боюсь я на этом гнилом куте и за порог выткнуться. Тут же по дороге в село еще старое кладбище...

Забрав картошку, завернутую в тряпицу, и горщатко — низенький пузатый кувшинчик с простоквашей,— Джума и Ефим вышли к товарищам. Картошку тут же поделили и съели. Запили кисляком и, повесив тряпицу и горщатко на колышек под окном, ушли.

Небо сплошь затянуло тучами. Было темно, тропинку приходилось угадывать только ногами. Сарбаев шел первым. Он умел ходить на ощупь, как старый, опытный конь.

— Мой должник стал бургомистром в Бродах, — на ходу рассказывал Джума.

— Броды — это город? — с тревогой спросил Гак.

— Да нет, районное село, — ответил Джума.

— Так в селах старосты. А бургомистры в городах.

— Это он, видимо, сам себя так возвеличивает, — решил Джума.

— Ну, тогда это действительно шкура, коли в большое начальство у фашистов лезет! — сделал вывод Андрей Макарович.

— Если правда, что вся полиция района сейчас у него, то этим надо воспользоваться, — решительно заявил Джума. — А как — вот давайте по дороге и обсудим.

— Да как? Войдем в дом и полоснем из автомата... — предложил Вологодец. — Жаль, гранаты нету.

— Полоснуть мы теперь можем, да и гранатой бы неплохо, — согласился Джума. — Но видишь, Вася, «лесок маленький» — бежать некуда.

Василий понял намек и только виновато потер шею.

— Мы ведь только начинаем. А всякое дело начинается с малого, — поддержал Джуму Андрей Гак. — Пока что нам лучше действовать без стрельбы. Ночь темная, поможет...

— Оно, конечно, лучше без шуму и гаму, — согласился и Ефим.

Тьма ночи сгустилась до непроницаемой черноты. В селе было тихо, даже собаки не лаяли. И тем явствен-

нее врывались в тишину шум и галдеж, когда кто-нибудь выходил из дома новоиспеченного старосты.

Отряд Сарбаева стоял среди кустов сирени возле здания больницы, перешедшего теперь в распоряжение «законного хозяина». По селу вместо уничтоженного партизанами полицейского патруля уже ходили Вологодец и Солодов. Осталось снять часового, что стоит на крыльце у входа в дом, где вольготно разгорается веселье. Часовой, видимо, сам боится пули из леса: прячется в закуток, где он с трех сторон защищен от всяких неожиданностей.

Джума уже решил, как поступить с этим часовым. Но медлил потому, что хотелось не только снять с поста часового, а одновременно захватить и кого-нибудь, кто выйдет из дома, чтобы узнать, какая там обстановка.

Наконец дверь широко распахнулась и, пьяно пошатываясь, вышел рослый пожилой мужик. Как только он завернул за угол дома, притаившийся там Ефим Сибиряк заткнул ему тряпкой рот и передал двум бойцам, чтобы отвели в сарай, стоявший неподалеку.

Ефима, появившегося из-за угла дома, часовой принял за возвращающегося мужика и хрипло заговорил:

— Ягор, там попроси коменданта, чтоб дозволил зайти на минутку, чарку пропустить для сугреву.

Ефим набросил ему на голову пиджак, снятый с мужика, а Синьков и Гак быстро связали. Ефим и Сарбаев повели полицая в сарай, у дверей остались двое.

У пьяного от испуга хмель сразу прошел, и он довольно вразумительно объяснил обстановку в доме.

Полицаев там семеро. Их винтовки стоят в козлах за голландкой. Пистолет есть только у коменданта полиции, который сидит справа от старосты, под образами.

— Староста такой сухой, как старая жердь...

— Знаем... — оборвал его Джума.

Оставив Сашу Зуева стеречь дверь сарая, Сарбаев тихо свистнул, подзывая Солодова и Вологодца, подошедших к калитке.

— К окнам! — скомандовал Сарбаев.

Каждый подошел к своему, заранее намеченному окну. Изнутри окна были плотно занавешены и не пропускали света.

Сарбаев и Синьков вошли в дом.

Большая свежевыбеленная комната была ярко освещена двумя керосиновыми лампами, висевшими над составленными в ряд столами.

— Панове! — высоко подняв рюмку, торжественно говорил новоиспеченный староста, еще не заметивший стоявших у порога партизан. Он сидел в «святом углу», от скамьи до потолка увешанном иконами. — Панове! Я пью за победу новой власти во всей России. За победу ерманской армии Адольфа-фюрера!

Все, почему-то озираясь, приглушенно прокричали: «За победу!» — и начали пить.

А от порога громко и смешливо пророкотали два мужских голоса:

— Пей до дна! Пей до дна!

Комендант полиции Шилевич, небольшой коренастый мужик лет тридцати, первым обратил внимание на эти голоса. Присмотревшись к вооруженным автоматами Джуме и Синькову, он побледнел и выронил рюмку. Рюмка со звоном разбилась.

— К счастью! — живо подхватила краснощекая толстая хозяйка и наигранно захохотала.

— К счастью! — повторил за нею Тодор и, заметив, как побледнел комендант, участливо приблизился к нему: — Вам худо, пан комендант?

— Поднимите руки, пан староста, а то и вам будет худо! — ответил комендант и кивком указал на вошедших.

— А-а! Часовой! Патруль! — лихорадочно доставая из кармана пистолет, заорал Тодор.

Комендант ударил его по руке. На стол грохнулся черный пистолет, тот самый ТТ, который Джума видел в клуне.

— Дурак! Не знаешь, как метко стреляет наш гость? Это ж сам Сергей Зима. — И громче, заискивающе комендант добавил, обращаясь к неожиданным гостям: — Мы хотели на работу вас пристроить, да помешал дурацкий приказ...

— Что, староста, думал, пристрелишь двух коммунистов — так фашисты сразу повысят и на самом деле станешь бургомистром?! — с насмешкой сказал Сарбаев, подходя к столу с автоматом в руках. — А я, видишь, не один вернулся, нас теперь много...

Синьков забрал стоявшие в козлах винтовки и понес их раздавать товарищам. А вместо него вошел Ефим. Он

молча обыскал мужчин. Пистолеты оказались только у старосты и коменданта.

— Комендант и староста, останьтесь на местах. Остальные — на кухню! — приказал Сарбаев.

Поспешно, в полном безмолвии полицейские и женщины вышли, только жена старосты ухватилась за сгорбившегося, ставшего жалким и маленьким мужа и завопила на весь дом:

— Убивайте обоих! Убивайте вместе!

— Замолчите! Никто вас не убивает! — прикрикнул на нее Сарбаев. — Из-за тебя, Тодор Жила, потерял я своего командира. Из-за тебя побывал под расстрелом. Убить бы тебя, как собаку! Но это мы успеем сделать. Пока что поживи таким вот горбатеньким и дрожащим, как сейчас. А если так же подло предашь еще кого-нибудь из советских людей, тогда пеняй на себя!

— Я н-не... Я не-не... — только и смог выговорить, клацая зубами, Тодор Жила.

— Я вам христом-богом клянусь, он никого больше не выдаст! — упав на колени, опять завопила хозяйка.

— Это касается и тебя, — кивнул Сарбаев коменданту. — Война только начинается, и вы рано стали выпивать за победу наших врагов. Очень рано.

— Да я не знаю, чего он так расстарался, — развел руками Шилевич. И на большом мясистом лице его изобразилась рабская покорность. — Нас ведь просто мобилизовали. Кому-то ж надо вести порядок.

— Вот и мы за порядок! — подхватил Сарбаев. — За наш порядок, без издевательства над советскими людьми. Будем следить за каждым вашим шагом. Если что... Пощады не ждите!

— Так, товарищ, как вас, не знаю, величать... — засуетился комендант.

— Как записали тогда, так и называйте! — обернулся Джума.

— Ах да, Сергей Зима! Прошу, товарищ Зима, угоститься с нами, и товарищей ваших зовите.

— Слишком большой дом нужен, чтобы вместить моих товарищей! — возразил Сарбаев. — Дайте хлеба, сала, крупы. А для лечебных целей литр первача. Десять минут вам на это! — обратился он к хозяйке.

— Да боже ж мой! Я сейчас! — И толстая, неуклюжая с виду хозяйка проворно метнулась на кухню.

3 Заказ 2413

Вскоре с кухни женщины вынесли несколько узлов с продуктами. Возвратившийся Синьков и Ефим унесли все это из дома.

Староста вороватo зыркнул на дверь, за которой скрылись партизаны, оставив своего командира одного.

Сарбаев заметил это и, положив руку на автомат, висевший на груди, сказал:

— Нам нужен радиоприемник и запас батарей. Вы, кажется, отбирали у населения?

— Да вон, возьмите. — И староста с готовностью потянулся в «святой угол», где под образами стоял прикрытый вышитой салфеткой радиоприемник. — Больничный остался. Сейчас попробуем.

— Некогда пробовать! — оборвал Сарбаев.

— Утром он играл, — угодливо пояснял староста. — Может, принести запасные батарейки? Они в спальне...

— Иди, да не вздумай убегать в окно — партизаны застрелят! — предупредил Сарбаев.

Но тот лишь рукой махнул, мол, куда тут бежать, и засеменил к двери, которая вела в спальню.

Сарбаев кивнул вернувшемуся в этот момент Ефиму, чтобы тот следовал за хозяином.

С трофейным пистолетом в руке Ефим направился к двери, за которой только что скрылся Тодор.

Дверь спальни внезапно распахнулась, и Ефим увидел в руке старосты немецкую гранату. Видно, Тодор впервые поднял эту штуку. Ему нужно было просто вышвырнуть гранату за дверь, а он замахнулся ею, как делают, когда бросают на дальнее расстояние. Поэтому он потерял какие-то критические секунды. Выстрелом из пистолета Ефим остановил занесенную руку. Граната взорвалась над головой хозяина.

— Ефим! — метнулся к другу Сарбаев, когда вслед за взрывом, сотрясшим весь дом, из спальни повалил дым.

— Ничего, только царапнуло, — зажимая окровавленный локоть, успокаивал Ефим. — Сам-то я за стенку успел стать, а руку...

Открылась дверь на кухню, откуда донеслись вопли родственников старосты.

— Закройте дверь! — зло бросил Сарбаев коменданту. — Да не вздумайте повторить «подвиг» этого негодяя.

— Я в герои не лезу, — ответил комендант, закрыв

дверь на замок. — Это он все хотел отомстить, прославиться.

Схватив с косяка полотенце, Сарбаев разорвал его вдоль. Одну половину смочил в самогоне и протер рану, а другой перевязал руку Ефима.

Вбежали встревоженные Гак и Синьков. Но Сарбаев кивнул им, мол, все в порядке, и спросил коменданта, есть ли у него арестованные.

— Ни души, — стоя навытяжку возле стола, ответил комендант, побледневший и дрожавший.

— А в соседнюю комендатуру на днях не приводили пожилого военного с больной ногой?

— Нет, такого не было ни в Рожнице, ни в Дубче. Там все больше на евреев охотятся — у них золото. А у военного что возьмешь?

— Ну что ж, не забывай наш уговор, Шилевич, — сказал Сарбаев и вышел.

Далеко за селом, когда на восходе солнца отряд остановился отдохнуть, Сарбаев, виновато глядя на бледного от потери крови Ефима, сказал:

— Это мне хорошая наука. Только не тебя, а меня надо было продырявить за доверчивость и мягкотелость.

— Да все мы еще одинаково доверчивы, — оправдывал его Ефим. — Ведь думалось, что хоть и староста, но все же не фашист, поймет, куда сунул свою дурную голову, одумается.

— Он хуже фашиста — он предатель своего народа! — с негодованием возразил Гак. — Не понимаю, как ты мог, Джума, простить его? Сам говорил, будто еще на хуторе понял, что это классовый враг.

— Тогда зря и коменданта оставили? — теперь уже сам раскаивался Джума.

— Да нет, этот, судя по всему, хитрей. Он побоится усердствовать.

— Его убей, пришлют другого, непуганого, — заметил Ефим.

— И то верно, — согласился Джума, но в душе он остался недоволен своею мягкотелостью. «К таким, как Тодор, надо быть беспощадными!» — решил он.

VI

Первый успех окрылил друзей Сарбаева. Вооружившись, они почувствовали себя сильными, уверенными.

3*

Однако решили все-таки подальше уйти от этого места. Выбравшись из села, направились на восток по болотистому редколесью. Шли быстро, наперебой рассказывая подробности удачной операции. Шутили. Смеялись.

На рассвете наткнулись на речку, с обеих сторон поросшую лозняком.

— Готовый чай! — зачерпнув пригоршней воды, сказал Джума. — Вскипяти и пей.

— А я тут и не видел светлых речек, — заметил Ефим. — По болоту бегут, торф размывают, вот и рыжеют. Не то что у нас в Оби, водица — слеза к слезе!

— Светлей уральских рек нету, — прищурив полные тоски глаза, тихо проговорил Анатолий Солодов.

Речка уходила в синевший на горизонте лес.

— Вот туда мы и пойдем, — кивнул в сторону леса Джума. — Отдохнем несколько дней, приведем себя в человеческий вид, а потом решим, что делать.

На пути попалось село, расположенное вдоль берега реки. Село было небольшое, стояло в такой глуши, что немцы здесь, наверное, и не появлялись. Партизаны сели в первую попавшуюся лодку и, отталкиваясь найденными на берегу шестами, поплыли вниз по течению, на всякий случай придерживаясь противоположного от села берега. Видел их старик, который вел на водопой коня, но ничего не сказал. Заметила молодуха, полоскавшая белье. Но тоже промолчала.

— Наверное, в селе все-таки есть какой-нибудь фашистский прихвостень, раз люди делают вид, что не заметили нас, — сказал Гак, когда миновали село.

Речка вдруг круто повернула, и сразу обступили ее густолистые ольхи, березы. Кое-где начали попадаться елки.

— Товарищ командир, можно? — Ефим многозначительно кивнул на радиоприемник, который всю дорогу нес в мешке и не доверял никому.

— Включай, вижу, всем не терпится...— ответил Сарбаев. — Лови Москву.

В этот момент Москва передавала песни советских композиторов. Но уже одно то, что это был голос Родины, которая живет и здравствует, раз поет свои песни, что Москва стоит, как и стояла, — одно это прибавило оторванным от Родины красноармейцам силы и веры не меньше, чем добытое в эту ночь оружие.

— Ну, братцы, раз Москва поет, то и мы скулить не станем! — бодро кивнул Андрей. — Ефим, ты пока что приглуши, а через несколько минут включишь, может, последние известия поймаешь.

— Да, батареи надо экономить, — поддержал учителя Сарбаев.— Я только теперь оценил это достижение человечества.

Но Ефим уже поймал волну, на которой передавался обзор последнего номера «Правды». Спачала сообщали о боях на фронте, который отсюда был так далеко, что все уныло примолкли. Затем диктор стал читать информацию о партизанах, действующих в районе Орши.

— Вот что мы должны делать! — загремел Ефим. — Я считаю, что нам надо воевать здесь. Первую операцию провели неплохо. Добыли оружие, продовольствие.

— Да, товарищи, Ефим прав! — сказал Синьков. — К своим нам не пробиться.

— Партизанской войной тоже можно творить большие дела, — вступил в разговор Андрей Гак. — Вспомните, как громили Наполеона партизаны в двенадцатом году!

— А в гражданскую... — поддержал его Солодов, обычно молчавший и заговаривавший, лишь когда что-то его особенно задевало.

Сарбаев молча радовался, сбылась его надежда: товарищи сами пришли к тому, к чему склонял он их сразу же, как выбрались на свободу.

— Прячь свою бандуру, — кивнул он Ефиму. — И плывем дальше, товарищи партизаны.

К полудню заплыли в густой смешанный лес. По старице, заросшей ряской, подогнали лодку к сухому высокому берегу, на котором гордо, словно хозяева всей округи, стояли огромные черноствольные березы. Выгрузились и начали устраиваться на отдых.

Пока плыли, Ефим сплел из лозы вершу и теперь сразу же забросил ее в старицу. Верша получилась неуклюжей, и над ним посмеивались: мол, решил напугать рыбу, выгнать на берег. Сибиряк терпеливо отмалчивался. А перед вечером принес полное ведро рыбы — крупных золотистых карасей, огромную щуку и даже линя.

— Читал я книгу «В краю непуганых птиц», — заговорил довольный своим уловом Ефим. — А тут, вижу, край непуганой рыбы. О такой рыбалке и не слыхивал. Глянешь в воду, а сомище таращит на тебя глаза и не пони-

мает, что может с ним сотворить эдакое двуногое чудовище.

За ночь в вершу набилось столько окуней, что теперь о еде можно было не беспокоиться. Всем поскорей хотелось начать боевые действия, смелые партизанские дела, о которых были еще очень смутные представления.

— Была бы взрывчатка, пошли бы на железную дорогу, мост ухнули бы или поезд пустили под откос! — уже на второй день заговорил Ефим, бывший сапер.

— А если разобрать путь? — осторожно спросил Вологодец, боясь, что его план покажется смешным.

— Для этого нужно больше людей, опять же инструмент, какого в деревне не достанешь, — спокойно отвечал сапер.

— Значит, надо идти на запад, где были бои, там можно еще кое-что найти, — убежденно заявил Гак.

— Проберемся к железной дороге, понаблюдаем за движением поездов, может, что и прояснится, — сказал Сарбаев.

Вдруг раздался троекратный стук дятла. Потом еще и еще. Это условный сигнал дозорного, устроившегося на высотке среди молодых берез.

— В ружье! — тихо скомандовал Джума и приказал залечь.

Все расположились в круговой обороне. И только Вологодец отполз под куст ольхи, где была неглубокая ложбинка.

Сарбаев покосился на него. Не нравилось ему, что этот молодой здоровый парень все время старается лучше всех спрятаться, не высовываться и вообще держаться в безопасности. Сарбаев ничего не сказал. Зато Ефим не выдержал, кивнул на Вологодца, который, словно крот, руками разгребал дерн под ольхой.

— Эй, чего ты там в сторонке копошишься? Хуторок строишь?

— Правда что хуторок! — одобрительно подхватил меткое словцо Синьков. — Давай ближе к коммуне.

«Хуторок!» — мысленно повторил Джума и понял, что парень пропал: так это прозвище и прилипнет к нему.

Новый стук дятла прервал его мысли. Теперь он повторился четыре раза подряд. Это был сигнал подойти к дозорному.

Сарбаев приказал товарищам лежать, а сам кустар-

ником пошел к часовому. Позади он услышал насмешливый голос Ефима:

— Ты, Хуторок, тово, придвигайся к компании. В случае чего, огонь будет погуще.

Сарбаев подумал: «Заедят теперь парня прозвищем. А что делать? Сам виноват!»

Дозорным был самый молодой в отряде красноармеец, только весной призванный в армию Саша Зуев.

Подошедшему командиру Саша ничего не сказал, а указал глазами туда, куда смотрел сам. Вдобавок он показал на уши, мол, прислушайтесь.

По сосновому редколесью, которое подходило к речке, не спеша брела женщина с лукошком. Видно было, что она собирала грибы. Но одежда ее сразу же насторожила Сарбаева. Она была в сапогах, в юбке цвета хаки, в гимнастерке. А на подстриженной русой голове — пилотка набекрень.

— На пилотке звездочка! — многозначительно заметил Саша.

— Отбилась от наших. Пошлем к ней для знакомства учителя. А ты не спускай с нее глаз. Если надо, иди следом по кустарнику, — сказав это, Джума вернулся в отряд и выслал на разведку Андрея Гака.

Через несколько минут мирной беседы, которую партизаны только видели, но не слышали, учитель вернулся к своим, а женщина в военной форме уселась на пеньке, явно намереваясь ждать возвращения «парламентера».

Оказалось, это военврач. Отстала от своей части с санитарной повозкой, на которой везла тяжелораненых. Раненых она выходила на хуторе в Беловежской пуще, и вот теперь они пробираются к линии фронта. Их пятеро с нею. У них ручной пулемет, автоматы и немало гранат. Позавчера они встретили в лесу пастухов и узнали о каком-то «очень большом» партизанском отряде Сергея Зимы, которого боится вся окрестная полиция. Мальчишки рассказали, что, после того как отряд Зимы обезоружил полицию в соседнем районе, немцы выдали каждой комендатуре по пулемету.

Услышав об этом отряде, военврач и ее товарищи решили не тратить сил на переход через линию фронта, до которой теперь далеко, а присоединиться к партизанам. И вот они разбрелись по лесу в поисках Сергея Зимы.

Выслушав сообщение учителя, Джума обратился к товарищам, спрашивая их мнение.

— По-моему, самого командира «очень большого отряда», — подчеркивая последние слова, заговорил учитель, — пока что разоблачать не стоит. Назовемся разведкой отряда. Познакомимся, а там видно будет.

— Правильно! — одобрительно кивнул Джума. — А как остальные считают?

— А чего ж? Все верно, — ответил Ефим.

— У нее там что, автомат за плечами? — спросил Джума.

— ППШ, — уточнил учитель, — и две лимонки, бережет для себя, чтоб не сдаваться живьем в случае чего.

— Вон она какая! А ты как с нею договорился?

— Да вот махну рукой, и придет, — ответил Гак.

— Подбросьте дров в костер! Чай остыл, подогрейте. По нашему степному обычаю, гостя надо сперва накормить, чаем напоить, — доставая из мешка остатки еды, говорил Джума, — спросить, как он шел, сильно ли устал, не натер ли ноги. А уж потом о деле говорить.

На взмах руки женщина быстро направилась к задымившему костру. И по мере ее приближения партизаны один за другим вставали, подтягивали ремни, прихорашивались.

— Что это мы, как перед командиром дивизии? — иронически заметил Вологодец.

— Идет женщина! К тому же врач! — ответил Андрей Гак, оправляя свою гимнастерку.

Женщина подошла усталой походкой истощенного человека. На вид ей было лет тридцать. Лицо бледное от волнения и, вероятно, от голода. Остановившись и четко приставив ногу, она отдала честь и отрекомендовалась:

— Военврач Русакова.

— Джума Сарбаев, — совсем не по-военному представился командир отряда. — А как ваше имя-отчество, товарищ Русакова?

— Мария Степановна.

— Пожалуйста, Мария Степановна, выпейте нашего чайку, поешьте, а уж потом будем беседовать. Ведь вы утомились.

Грустными голубыми глазами гостья доверчиво и благодарно посмотрела на одного, другого, третьего и, как-то виновато улыбнувшись, сказала:

— По-моему, я попала к своим, так что кормите.— Сняв с плеча автомат, положила его на траву и устало села к костру, подогнув под себя ноги, как обычно садятся женщины, одетые в узкую юбку. И, уже сидя, сняла свой ремень, на котором висели лимонки, и небольшую сумку с медикаментами.

— Плечо нарезало, — словно извиняясь, сказала она и взяла из рук Ефима берестяную кружку с чаем, пахнущим ромашкой.

— Ребята, разойдитесь по лесу, понаблюдайте,— сказал Джума. — А вы, Андрей Макарович, останьтесь, побеседуем с Марией Степановной. Ефим, смени Сашу, пусть тоже чайку попьет. — И, обратившись к гостье, Джума спросил, почему она пошла искать партизан в полном боевом обмундировании, ведь в гражданском было бы безопаснее бродить по лесу.

— Думаете, я надеялась найти партизан? — грея руки об кружку, отвечала Мария Степановна. — Я рассчитывала только на их бдительность. Сами увидят и остановят, коли забреду в их зону. А женщину в гражданском пропустят, если и заметят из лагеря, — пусть идет своей дорогой.

— Расчет верный, — одобрил Сарбаев.

— На меня товарищи мои надеются больше, чем на самих себя. Я у них и разведчик и начпрод.

— Да вы берите сало, — потчевал Джума. — В лесу ночевали?

— Ночью я все время шла, надеясь набрести на партизанский костер. Но только в одном месте увидела зеленоватый огонек. Да и то это был не костер, а волк.

— Испугались?

— Я теперь боюсь только людей. — И, улыбнувшись, так что на бледных щеках появились добродушные ямочки, добавила: — Даже мышей перестала бояться.

— Ну, а как же волк?

— Видно, догадался, что я вооружена, ушел. У волка тоже натура фашиста, он храбрится там, где чувствует слабинку. Молодец против овец. Ну, спасибо, товарищи, за угощение...

— Что вы, Мария Степановна! Вы почти ничего не съели! — возразил Джума.

— Ну, тогда уж я вам откровенно признаюсь: я два дня голодаю, поэтому нельзя сразу много. Есть хочу

страшно. Однако воздержусь. Потом. Вы мне разрешите переобуться?

— Мария Степановна, давайте уж по-свойски, мы ведь солдаты, бывали в походах. Оставайтесь у костра, переобуйтесь, помойте ноги теплой водой. А мы пока погуляем, — сказал Сарбаев и ушел посоветоваться с товарищами.

Он считал, что одному из них надо пойти на встречу с товарищами Марии Степановны, а оставшимся на всякий случай переселиться в другое место, о котором посланец заранее будет знать. Решили послать Синькова.

Когда партизаны вернулись к костру, повеселевшая Мария Степановна выкладывала из сумки на траву свои медицинские принадлежности.

— Бинтов мало, — горестно вздохнула она. — В благодарность за угощение, как всякий доктор, хочу сделать вам больно. — И обратилась к Ефиму: — Покажите-ка, что там у вас под «чалмой»!

— Доктор, она уже приросла к голове, — придерживая до черноты замусоленную повязку, беспечно ответил Сибиряк. — Вот локоть посмотрите, там что-то подергивает.

Мария Степановна все-таки сняла с головы сибирского богатыря «чалму», вынудив его при этом поморщиться от боли. Обработала рану на затылке и даже сбрила вокруг нее волосы.

— Посидите так часок на солнышке, пусть подсохнет. А потом наложу пластырь.

Обработав рану на локте, Мария Степановна взялась за Синькова. И часа за два все, кроме самого командира, побывали в ее добрых ласковых руках.

Когда она закончила перевязку раненых, Сарбаев притворно вздохнул и сказал:

— Жаль, что у меня нет никакой царапины.

— Типун тебе на язык! — так же шуткой ответила Мария Степановна и тут же забинтовала ему кончик мизинца. — Иди, хвастайся.

И вдруг, погрустнев, рассказала про своего сынишку: бывало, забинтуешь ему царапинку, сразу бежит на улицу хвастаться раной, да еще преувеличит ее серьезность.

— Сколько ему лет? С кем же он сейчас? — спросил Джума участливо.

— Во второй класс пошел, если благополучно довезли до места. Я его отправила с эвакуировавшимся детским домом.

— Как же вы могли расстаться в такое время?

— Сам послал меня на фронт: мама, отомсти фашистам за папу. — Мария Степановна от волнения говорила уже совсем тихо. — Наш папа погиб в первый день войны. Он был начальником медсанбата.

— Мы вас будем беречь, Мария Степановна, для сына, — сказал Сарбаев, чувствуя, что проникся к этой женщине добрым чувством, словно к родной.

Утром Игорь Синьков ушел с Марией Степановной за ее товарищами.

Надеялись справиться за день. Но вернулись только на вторые сутки, когда Сарбаев начал уже беспокоиться об их судьбе.

Партизаны сидели возле огромного шалаша, сооруженного с расчетом на пополнение, когда на большой поляне появились Игорь с Марией Степановной, а за ними четверо незнакомых.

Джума и Андрей еще издали увидели, что пополнение состоит из людей пожилых.

— Да, я перед ними буду мальчишкой, — смущенно сказал Джума.

— Щорс был самым молодым в своем полку, — ответил учитель.— Бородой скрывал свою молодость.

— Андрей Макарович, а как я им представлюсь? — спросил Джума. — Военврачу сказали, что мы только разведка отряда. А как дальше врать?

— Отрекомендуйся командиром партизанского отряда. Ведь они не знают, что нас только семеро.

Видно было, что люди, шедшие с Синьковым, очень устали. Однако, приближаясь к лагерю, понемногу подтянулись, на ходу построились по два. Первыми теперь были военврач и сильно хромавший, совершенно седой, грузный человек.

Предварительно условились, что встанет и представится только Сарбаев, а остальные будут сидеть и на всякий случай держать оружие в боевой готовности. Кто знает, что это за люди? Но, увидев убеленного сединой комиссара, Ефим поднялся.

— Перед седым человеком я всегда шапку снимал, а тут еще и такое высокое звание.

За ним встали остальные и за спиной командира построились.

Первым представился партизанам батальонный комиссар Евгений Тихонович Чугуев.

— Орлов, — четко козырнул высокий сухой капитан интендантской службы, вооруженный немецким автоматом. — Не пугайтесь! — кивнул он на левую руку в гипсе. — Долго обузой не буду. Врач обещает завтра снять гипс.

— Не спешите, — успокоил его Сарбаев. — А без дела у нас не заскучаете. Будете слушать приемник и пересказывать сводку.

— У вас радио?

— Что на фронте?

— Как Москва? — посыпались вопросы.

— Смоленск взяли, а дальше машина Гитлера забуксовала. Блицкриг провалился. Немцы остановлены под Москвой. Так что Москва стояла и будет стоять! — ответил Сарбаев, взглядом обращаясь к следующему новоприбывшему.

— Боцман Валерий Долотов. Из Минской речной флотилии, — лишь на мгновение бросив руку к бескозырке, представился коренастый, широченный в плечах парень в простом сером костюме из грубого домотканого полотна, под которым виднелась тельняшка. Лицо у него было широкое, русское, конопатое. На плече он держал немецкий ручной пулемет.

— А, братишка! — добро улыбаясь, сказал Джума. — Остались у меня дружки в Волжской флотилии. До войны там служил.

— Ну-у, Волга не Припять! — кивнул боцман. — Волгу так просто перешагнуть фрицам не удастся.— Хлопнув по стволу своего пулемета, он спросил: — Патронов у вас к этой ненашенской штуке нету?

— Немножко найдется, но будет столько, сколько надо: позаимствуем у немцев.— Сарбаев весело подмигнул.— Собираемся установить с ними теснейший контакт на всех дорогах — и на железных, и на шоссе.

— Понятно! — так же оживленно кивнул Долотов.

Четвертый ждал, пока кончится разговор этих двух,

видно понравившихся друг другу, хотя совсем разных парней. Наконец Сарбаев козырнул и ему.

— Запорожец Игнатий Тихонович! — отрекомендовался полноватый солдат, усатый, с огромными черными бровями, но с совершенно седой угластой головой. Он был в полной форме, со старенькой винтовкой за плечами и пятью гранатами на поясе. — Був ездовым на санитарной повозке. Кони мои пропалы. Повозку покынув.

— Ничего, папаша, была б голова, а кони будут, — успокоил его Сарбаев.

— Ты, сынку, в каком году народился? — спросил седой боец.

Тот ответил.

— Ну то я на пять годков только и старше тебя, так що в отцы не гожусь.

— Простите, Игнатий Тихонович! — недоуменно глядя на седую голову красноармейца, извинился Сарбаев.

— То меня фашисты перекрасили. Жинка с дочкой как раз гостевали у меня в части. Я ж сверхсрочник. Так на другой день войны их прямо в вокзале накрыла бомба. Пока откопал, пока поховал, то и выцвел.

Что можно было сказать в утешение этому человеку?..

Сарбаев увидел, что люди свои и что бояться их нечего. Он вопросительно посмотрел на Синькова и понял, что и у него нет сомнений.

Батальонный комиссар попросил представить его самому командиру отряда, Сергею Зиме.

Остальные новички настороженно прислушивались к этому разговору.

— Да, хорошо бы сразу поговорить с самим! — поддержал его капитан.

Джума прищурил глаз, словно целился, и спросил вкрадчиво:

— А вы думаете, что Сергей Зима должен быть каким-то особенным?

Чугуев, пожав плечами, улыбнулся.

— Наш командир! — представил Сарбаева Андрей Гак. — Полиция прозвала его Сергеем Зимой.

— Вот как! — воскликнул батальонный комиссар. — А где же весь отряд? Говорят, что у вас целая сотня бойцов.

Бойцы отряда Сарбаева с достоинством заулыбались.

— А с вами сразу станет двести! — ответил Сарбаев. — Особенно если крепко тряхнем фашистов.

— Да, но как же тогда понять, что в одну и ту же ночь отряд Сергея Зимы подорвал мост в двадцати километрах от деревни, где была гранатами разгромлена комендатура, а совсем в другой стороне остановил немецкий обоз? Это мог сделать только большой отряд, который разделился на время вылазки.

— Вы точно знаете, что в одну и ту же ночь были проведены эти три операции? — спросил Гак.

— Несколько человек из разных сел говорили одно и то же!

— Товарищ командир, это же очень хорошо, что появились люди, которые тоже борются, — глянув на Сарбаева, сказал Гак.

— Да, это, видно, местные группы, — согласился Джума. — Комсомольцы, коммунисты, ушедшие в подполье. Я согласен быть козлом отпущения, пусть валят все на меня, только бы сами не попадались врагу.

— Хорошо бы установить с ними связь, — заметил Чугуев. — Может, это какие-нибудь подростки, неопытные юнцы, им нужна крепкая рука...

— Окрепнем и познакомимся, — ответил Сарбаев.

— Ну, хотя вас и не сто, все же мы просим принять нас в свой отряд, — посмотрев на своих спутников, сказал батальонный комиссар. — Все коммунисты.

— Вот это хорошо! — обрадовался Гак. — А то у нас только двое: командир и Синьков. Правда, остальные тоже не беспартийные, комсомольцы.

— Я еще нет, — поправил его Вологодец.

— Ну, один отставший. Это ничего, — вступился Сарбаев, вовремя остановив Ефима, который уже открыл рот, чтоб съязвить что-то в адрес Хуторка.

— Что ж, если считаете, что и такой малой силой можно воевать, оставайтесь, — сказал Сарбаев. — Отдыхайте дня два-три. А там решим, как быть дальше. Вон забирайтесь в шалаш и спите. Доктору мы соорудим отдельный шалаш. Ну, а теперь вам пора пообедать. Присаживайтесь. — Джума кивнул Ефиму: — Давай, что там у тебя приготовлено!

— Спасибо! — поблагодарил Чугуев. — И поесть, и отдохнуть нам действительно надо.

Когда все расселись на траве около костра, над которым висело ведро с чаем, батальонный комиссар попросил Сарбаева угостить их сначала радиопередачей из Москвы.

Ефим принес из шалаша свой мешок, достал приемник и поставил перед капитаном. Как стрелок к пулемету во время горячего боя, прильнул капитан Орлов к радиоприемнику. Включил и тут же поймал Москву.

В последних известиях самым важным для партизан было то, что в тылу гитлеровской армии разгорается партизанская борьба, что с каждым днем растет число отрядов народных мстителей. Немцы вынуждены отрывать от фронта большие силы для охраны железных дорог.

Это сообщение взволновало всех, и усталые люди забыли, что собирались отдыхать несколько дней. Началось горячее обсуждение первой совместной партизанской вылазки.

У батальонного комиссара были две тяжелые, незажившие раны, но он скрывал это, скрывал даже от доктора и, преодолевая страшную боль, огромным усилием воли заставлял себя терпеть и идти, чтобы не отстать от товарищей.

Только теперь, когда он был уверен, что не останется один, Чугуев позволил себе отдохнуть.

Открыв его кровоточащие раны, Мария Степановна ужаснулась:

— Что же вы молчали, Евгений Тихонович? Ведь вам должно быть очень больно!

Комиссар натянуто усмехнулся:

— Кому сейчас не больно?.. Всем больно!.. А воевать-то надо... Надо, дорогая Мария Степановна!

Утром объединенный отряд двинулся в сторону ближайшего районного центра, где был, по сведениям новичков, пока еще только небольшой полицейский участок.

VII

Пробираясь вдоль речки по густому лесу, отряд набрел на непроходимый бурелом. По берегу обойти лесные завалы было невозможно — там болото. Отправив двоих разведчиков вперед, отряд расположился на обед.

Сарбаев тяжело опустился на пень и задумался. Ему не давала покоя мысль о Стародубе. Перед уходом из

района, где началась его партизанская жизнь, хотелось пройти по окрестным деревням, расспросить о раненом командире. Но сделать этого он пока не мог...

«Через некоторое время я сюда наведаюсь! Не может человек исчезнуть бесследно...»

Из разведки вернулся запыхавшийся Запорожец.

— Товарищ командир, там большой шалаш. Люди живут! — доложил он.

— Что за люди? — стряхнул свои думы Сарбаев. — Сколько их? С оружием?

— Да какое там оружие! Ребятишки! Вот такусенькие. — Запорожец показал рукой себе до пояса. — Убежали от немцев. Нас увидели, испугались и, как одичавшие котята, бросились в кусты. А когда мы заговорили с ними, из шалаша вышла красивая девушка. Они ухватились за нее и смотрят испуганно. Глазищи у всех большие, голодные. Лица синие от худобы. Ефим, кажется, заплакал. Остался там, выворачивает свои карманы, крошки вытряхивает.

— Сколько же их, детей? — удивился Сарбаев.

— Восемнадцать человек, всем лет по десять — из второго класса они!

— Гак, бери буханку хлеба, весь сахар и — к детям! — распорядился Сарбаев.

— Я пересмотрю свои запасы — может, найдутся какие-нибудь витамины. Детям наверняка нужна и медицинская помощь, — сказала Мария Степановна.

Две огромные черные березы были когда-то повалены буйным вихрем. Падая вершина к вершине, они ободрали не одну ель и осину. И получилось огромное нагромождение из ветвей и сучьев. Под этим-то завалом и приютилась девушка с ребятишками. Они соорудили довольно вместительный шалаш. Покрыли его осокой, которую, видимо, голыми руками рвали у реки: никаких инструментов здесь не было видно. Вверху, перед входом в шалаш, висели связки грибов и вяленой рыбы. А внизу, на кучке сухой травы, сидели они, хозяева этого обиталища, словно наседку цыплята, окружившие очень красивую девушку.

При виде вооруженных людей, одетых в красноармейскую форму, ребятишки доверчиво повернули головы на тонких, как у голодающих утят, синих шейках. А девушка встала и молча, испуганно кивнула. Видимо, еще не

знала, как себя вести при этих невесть откуда нагрянувших военных.

В глаза Сарбаеву бросился резкий контраст между чернотой косы девушки и снежной белизной ее лица. Иссиня-черные волосы были зачесаны на прямой пробор и заплетены в толстую длинную косу. На белых щеках — ни признака румянца, под большими и печальными темно-синими глазами — голубые обводы, то ли следы истощения, то ли тени от огромных ресниц. Слегка розовыми были только губы — маленькие, выпуклые, сложенные так, словно она как раз в этот момент произносила звук «о». Чем-то волнующим повеяло от этой казавшейся неправдоподобно красивой лесной феи. Командир поднял руку, почему-то намереваясь представиться по-военному. Но рука его застыла на полпути, он вдруг радостно улыбнулся.

— Девушка в белом! — воскликнул Сарбаев, хотя девушка была в темно-синем платье с черным воротничком. — Простите, мы с товарищем называли вас так, потому что не знали имени.

Хозяйка шалаша смущенно смотрела на военного и, ничего не понимая, еще сильней прижимала к себе детей, словно они были ее единственной защитой.

— Забыли? В Волковске вы нас вывели за город, когда мы вырвались из лагеря военнопленных, — напомнил Джума. — Мой товарищ еще возмутился, что кто-то веселился, а вы сказали — это свадьба у вашей одноклассницы. Помните?

— А-а! — Губы девушки дрогнули, приоткрыв мелкие ровные зубы. Улыбка получилась робкая, но искренняя. — Вспомнила, вспомнила! Тетя меня отругала, почему не прибежала за хлебом. Я тогда еще не знала, чего стоит хлеб...

— Нет, вы правильно поступили. Главным для нас тогда было подальше уйти.

— Как хорошо, что вы убежали! — все больше осваиваясь, говорила девушка. — В лагере потом началась эпидемия, голод. — И она вздрогнула, как от озноба. — Страшно! — Она вдруг посмотрела на него откровенно, изучающе. — Вы тогда были, наверное, не такой, а то бы я узнала вас.

— Да, оттуда мы вышли немножко другими! — улыбнулся Джума, в душе довольный тем, что за последние дни привел себя в порядок, как и положено командиру

Красной Армии. Его видавшая виды гимнастерка была аккуратно заштопана и выстирана, только на сапогах засохла болотная сизая грязь.

— А я думала, вы уже давно добрались до фронта...

Сарбаев заметил в глазах девушки настороженность и поспешил объяснить, что он делает в тылу врага и почему не пробирается к фронту.

Узнав, что перед нею командир партизанского отряда, девушка радостно вспыхнула и, протянув руку, отрекомендовалась:

— Эля. Эльжбета Яновна Войтовская, воспитательница детдома. А теперь... — Она показала на ребятишек, которые, прижимаясь к ней, глазами пожирали партизана, да не столько его самого, сколько автомат и лимонки, висевшие на ремне.

Сарбаев не пожал, а по казахскому обычаю заключил в обе ладони протянутую ему голубовато-белую руку с длинными тонкими пальцами. Эта рука показалась ему настолько хрупкой, что он побоялся здороваться по-русски.

И только теперь Джума спохватился, что он здесь не один, и подозвал товарищей. Партизаны окружили детей, ласкали их, глядя на них печальными глазами.

— У вас, наверное, трудно с продовольствием? — краснея от сознания того, что говорит слишком официально, спросил Сарбаев. — Разрешите передать вам кое-что из наших запасов.— Он взял из рук Андрея каравай и несмело протянул девушке, словно боялся, что она откажется.

Гак смотрел и не узнавал своего командира, не понимал, почему тот так робеет. Куда девались его уверенность и командирская твердость в голосе? Неужели перед красотой оробел?

— Ох, какой великий хлеб! — радостно воскликнула девушка.

— Это из той корочки вырос! — с улыбкой сказал Джума и, видя, что девушка опять его не понимает, объяснил: — Вы тогда нам с полковником дали корочку хлеба. Забыли? А мы ее запомнили на всю жизнь: это был наш первый хлеб на воле!

Но Элю удивило сейчас не это. Она как-то недоверчиво качнула головой и спросила:

— Так тот, что хромал и опирался на ваше плечо, был полковник? Настоящий советский полковник?

— Самый настоящий полковник Красной Армии, — печальным голосом подтвердил Сарбаев и, чтобы об этом больше не говорить, познакомил Элю со своими товарищами, а им рассказал, при каких обстоятельствах уже однажды встречался с девушкой.

— Ну, кормите детей, вон они как смотрят, — сказал Андрей девушке, уводя партизан, чтобы посоветоваться, что еще из продуктов можно дать детям.

Элю дети, видимо, слушались беспрекословно, потому что когда она кивнула им, они тут же сели в кружок возле большого закопченного ведра, до половины заполненного зеленоватой жижей. И только глазенки их неотрывно смотрели на хлеб да худые шейки подрагивали от нетерпения.

— Мы только что уху сварили. Но хлеба они не видят вторую неделю. Надо осторожно. — С этими словами Эля попыталась отломить кусок хлеба.

Сарбаев понял, что это ей не удастся, разломил каравай пополам и спросил, как дальше ломать.

— Одну часть еще пополам, — попросила Эля. — Все это отложим, а четвертинку мелко покрошим в уху.

Теперь дети лихорадочно горящими глазенками смотрели в ведро, куда падало хлебное крошево.

Бывшего воспитанника детдома Джуму Сарбаева удивило безмолвие, с каким эти дети ожидали обеда. Знать, настрадались и запуганы до немоты.

Подошла Мария Степановна и каждому ребенку дала по таблетке

— Это витамин.

Дети и ей повиновались молча, словно на самом деле были немыми.

Запорожец дал детям по кусочку сахару. В знак благодарности они только испуганно кивали головами. И тут санитар, перевезший на своей повозке сотни раненых и убитых, не выдержал, заплакал и, широко расставив руки, обнял их всех сразу.

— Та чого ж вы таки нэмовлятка? Ох, диточкы, за що ж вам така гирка доля?

Он размазал кулаком слезы по черным от загара, дубленым щекам и ушел.

Эля побледнела еще сильнее и сказала так, чтоб не слышал уходивший от них седой красноармеец:

— Ребятки, товарищ назвал вас нэмовлятками, будто

вы совсем еще не умеете говорить. Сегодня я вам разрешаю говорить вслух,— и, повернувшись к Сарбаеву, пояснила, что со времени бегства от полиции они говорили только шепотом и жестами, чтобы случайно проходившие по лесу не услышали их.

У этих ребят не было сейчас никаких детских желаний, кроме желания есть, и они не воспользовались разрешением своей воспитательницы говорить, а молча и жадно смотрели на раскисающие и опускающиеся на дно, словно куда-то исчезающие, хлебные крошки.

Наконец Эля сняла висевший на стропиле шалаша туесок, видимо ею самой сделанный из бересты, и подала одному из мальчиков.

— Авдейчик, ты будешь следить за порядком. Каждый раз взбалтывай. Набирай полную чашечку. Когда все по одной выпьют, дашь по второй.

— А вы? — встрепенулся Авдейчик, шустрый русый мальчонка. — Сначала вы съешьте.

— Я потом, ребятки. Вы мне оставите, — торопливо, видимо стесняясь, проговорила Эля.

Большими, не по летам грустными серыми глазами Авдейчик голодно посмотрел на первую порцию загустевшей еды и отдал ее мальчику справа. Потом он подал чашку второму. И так его очередь оказалась последней.

— Это пытка, а не кормежка! — нервно сказал Сарбаев. — Надо нам свои ложки отдать, чтобы ели все сразу.

— Ни в коем случае! — возразила Эля. — Они столько голодали! Нахватаются, как галчата, и заболеют!

— Вы молодец, Эля, — поддержала ее Мария Степановна. — Ведь совсем молодая. Вам и двадцати еще нету?

— Девятнадцать исполнилось в день, когда началась война. Будь он проклят, тот день! — ответила девушка. — Идемте вон туда, на пенек. Тут теперь будет полный порядок. Авдейчик у меня за помощника. — И когда отошли, добавила доверительно: — Боюсь одного: мне оставят не меньше половины ведра. Знали бы вы, что это за дети! Десятилетние старички, и только. Мудрые, рассудительные и бесконечно добрые.

Когда уселись на березе, Эля рассказала о себе и своих воспитанниках.

Детдом близ Волковска, где после окончания педучилища Эля работала воспитательницей, эвакуировать не успели. Детей пришлось раздать людям.

С началом войны белорусские крестьяне охотпо теснились, делились с беженцами и голодающими последним куском, поэтому сирот из детдома люди сами разобрали, как только узнали, что детям некуда деваться.

Новые деревянные здания школы и общежития детского дома, стоявшие на берегу лесного озера, немцы заняли под офицерский госпиталь. Эле, как и другим работникам детдома, предложили остаться при госпитале. Эля отказалась. Ее родители погибли во время бомбежки Бреста, и она люто возненавидела немцев. Как и все ее подруги, Эля пыталась уйти на фронт, бить фашистов. Но в Красную Армию ей попасть не удалось. А вскоре она узнала, что всех воспитанников детских домов немцы отправляют в Германию. Эля решила во что бы то ни стало не допустить увоза детей на чужбину.

«Мало того, что у них нет родителей, так фашисты хотят отнять у них и Родину. Не будет этого!» — сама себе поклялась воспитательница. За короткое время собрала всю свою группу, за исключением нескольких мальчишек, которых полицейские успели увести. И вот почти весь ее второй класс двинулся на восток, к линии фронта. Некоторые не вынесли тяжелой дороги, заболели. Эля устраивала их по селам.

Так добрались дети до железной дороги Пинск — Гомель. А тут зачастили дожди. Пришлось остановиться в пустовавшей лесной сторожке.

Эля обошла жителей соседнего села Сорокичи и по одному стала устраивать детей на временное жительство. Сердобольные крестьяне охотно брали сирот в свои семьи. Только боялись коменданта полиции Гарабца.

— Га-раб-ца? — удивленно переспросил Сарбаев.

— И вы его знаете? — спросила Эля.

— Кое-что слышал об этом предателе, — сквозь стиснутые зубы ответил Джума.

— Дознался как-то этот Гарабец о детях и всем, кто приютил сирот, приказал привести детей в комендатуру. Дети стали разбегаться. Тогда он устроил в лесу облаву с овчарками. Костю Минковского, самого старшего в группе, поймали и допрашивали у Гарабца. Но он вырвался, прибежал к сторожке и предупредил нас, что идет облава. Мы перебрались через речку и ушли от погони. А вокруг сторожки до самого вечера слышался собачий лай и стрельба.

Утром Костя умер. Гарабец прикладом отбил ему внутренности. Всю ночь плакал, бедный, жалел, что умирает, не повидав отца. Наконец-то нашелся его отец и уже выехал за ним, а тут началась война, и они так и не встретились.

— А что, он еще в мирное время потерял родителей? — спросил Сарбаев, ставший после услышанного мрачнее тучи.

— Нет, в тридцать девятом, когда Гитлер напал на Польшу, отцу Кости пришлось эвакуироваться в Румынию добро ясновельможного пана. Минковский был шофером. Увез пана и не вернулся. А мать у них еще за год до того умерла от чахотки. Мальчишка и попал в детский дом.

Ребята похоронили Костю и написали на могильном камне:

Костя Минковский.
12 лет.
Наш Данко.

— Про Данко я им рассказала уже после смерти Кости, — закончила Эля.

Партизаны долго молчали. Судьба детей заставила их задуматься о многом...

Сарбаев спросил, что же Эля собиралась делать в этой глуши.

Та ответила, что после облавы Гарабца у них было только одно стремление — к линии фронта. Но двое ребят заболели. Пришлось забиться в эту глушь, сделать шалаш и жить затаившись. Пока ждали выздоровления больных, все запасы съели. А самое страшное — не стало слышно фронта. Тогда Эля решила увести ребят из этого района, где хозяйничает Гарабец, и раздать их людям.

— Но им пока об этом говорить не надо, чтобы не расстраивать. Они до сих пор еще вскакивают по ночам, все им чудится собачий лай и стрельба.

Сарбаев теперь уже не мог сидеть. Крепко сжимая одной рукой винтовку, висевшую через плечо, он нервно ходил вперед и назад. А когда девушка умолкла, спросил, не бывала ли она сама в селе, где находится комендатура.

— Как же! Два раза ходила, когда еще ничего не знала про Гарабца.

— Значит, вы сможете рассказать, как расположено село.

— Я вам начерчу план, — с готовностью ответила Эля.

— Пожалуйста, главное, пометьте, где находится комендатура и дом самого Гарабца.

— Дома вы его не застанете! — отрицательно покачала головой девушка.— Я слышала, что, после того как в соседнем районе партизаны обезоружили полицию, эти герои только на часок забегают домой, а на ночь, как куры, собираются в кучку. Обгородили свою комендатуру колючей проволокой и при мне кирпичный забор начали строить.

— Здание комендатуры кирпичное? — уточнил Сарбаев.

— Нет, деревянное. Старинное, при ясновельможных там тоже комендатура была.

Сарбаев попросил Марию Степановну осмотреть детей, в первую очередь больных, а сам спросил у товарищей, что делать с детьми.

— Тут разных мнений быть не может, — за всех ответил Чугуев. — Детей надо сперва подкрепить, прежде чем разводить по селам. Утеплим жилье, сделаем запас продуктов.

— Мы обеспечим их за счет самого Гарабца, прежде чем его уничтожим! — решительно заявил Сарбаев. — Заберем в его доме все, что может пригодиться детям. Даже скот порежем. Мясо можно засолить. — Он замолчал, ожидая реакции товарищей.

— Правильно, — кивнул Чугуев.

— Но это первая часть операции. А вторая — отомстить полиции за детей. Надо уничтожить осиное гнездо Гарабца!

Без лишних слов партизаны начали готовиться к операции. Чистили и проверяли оружие, готовили боеприпасы, сушили одежду, вымокшую во время ходьбы по болоту. А матрос большим складным ножом что-то выстругивал из березового поленца.

К Сарбаеву подошла Эля с листком бумаги из школьной тетради. Джума пригласил ее сесть рядом на упавший ствол березы и стал изучать довольно толково вычерченный план села Сорокичи.

Девушка взволнованно рассматривала его лицо. В Волковске бежавшие из лагеря показались ей очень

старыми. А теперь возле нее сидел подтянутый боевой командир Красной Армии. В лице его было что-то вольное, смелое, степное.

Казах... Раньше Эля не видела казахов и представляла, что они такие же, как и монголы, узкоглазые, широкоскулые. Но на лице Сарбаева почти ничего не было от этих признаков. Темно-карие глаза его широко открыты. Иссиня-черные брови сурово нахмурены. Несколько выдаются скулы, но скорее за счет худобы, чем от природы. Лицо сухое и смуглое, прокаленное солнцем и обветренное еще, наверное, в детстве, среди ковыльных степей. Прямой заостренный нос с чуть заметной горбинкой вверху.

«Греческого в этом профиле больше, чем монгольского», — подумала Эля и вдруг застеснялась, захваченная врасплох: Сарбаев смотрел ей прямо в глаза и просил растолковать кое-что из начерченного. Они не заметили, как разговор их мало-помалу отклонился от начерченного на бумажке плана и перешел на воспоминания о такой далекой теперь довоенной жизни. Узнав, что командир воспитывался в детском доме, Эля с увлечением рассказала о своей работе с детьми. Потом они заговорили о самодеятельности, о театре. Оказалось, что оба страстно увлекались театром, музыкой. У них нашлись даже общие любимые произведения известных композиторов. Они с сожалением прервали разговор, когда Ефим позвал ужинать.

Во время ужина дети тесно облепили матроса. Он все еще продолжал что-то мастерить. Джума подошел к ним и увидел на пеньке сделанную Долотовым яхту под белыми парусами из березовой коры. Кораблик имел строгие изящные обводы, а паруса его были похожи на крылья чайки, и казалось, что стоит подуть ветру, как яхта сорвется и улетит в поднебесье.

— Дядя Валера, а почему вы назвали кораблик «Баргузин»? — спросил Авдейчик.

Нож в руках боцмана замер. Сощурив глаза, Валерий смотрел поверх голов ребятишек куда-то вдаль, словно видел там что-то, чего никто не мог видеть.

— Так, ребята, назывался наш боевой катер... Жестоко бились моряки с гитлеровцами, но все же пришлось Пинской флотилии уйти к Днепру... А четверо на «Баргузине» вернулись, чтобы мстить за погибших... Когда на

катере я остался один и меня тяжело ранило, я затопил «Баргузин», чтобы он не достался фашистам...

И после ужина дети не отходили от матроса, все расспрашивали его, пока отряд не стал выстраиваться на задание. В строю боцман улыбался и кивал ребятам, а уходя отсалютовал им по-пионерски.

С детьми оставались Чугуев и Мария Степановна. Им оставили оружие, боеприпасы, продукты.

— Береги детей, товарищ комиссар. Ты теперь вроде заведующего детдомом, — сказал Сарбаев.

— Не беспокойся. Буду защищать их, как родных.

— И раны свои лечи. Побольше лежи.

— Постараюсь,— усмехнулся батальонный комиссар.— Ну, ни пуха ни пера вам!

Отряд уже выстроился около шалаша, когда Эля подошла к Сарбаеву и, заметно волнуясь, тихо спросила:

— Товарищ командир, вы назвали только свою фамилию. Я хочу знать ваше имя.

— У меня трудное имя,— глядя в грустные, синие, как сливы, глаза девушки, улыбнулся лейтенант. — Полицаи даже не поняли его и записали: «Зима». А зовут меня Джума, Джумабай.

— Совсем не трудное имя: Джума, Джума... — Букву «у» Эля произносила мягко, как «ю», и она будто пропела: «Джюма, Джюма». Это получилось так мило и непосредственно, что голос девушки показался Джуме давно знакомым, близким и родным...

Сарбаев вел отряд па задание, и ему долго чудился певучий голос, произносивший его имя: «Джюма, Джюма».

VIII

Жена коменданта полиции проснулась от стука в дверь.

— Кто там? — удивленно спросила она. — Батя, вы что, двери в сенях не запирали?

— Что? А? — забегал спросонья ее свекор.

— Двери, спрашиваю, в сенях не запирали? — уже со страхом спросила невестка, прислушиваясь к повторившемуся стуку.

— Да как же! На все запоры!

— А что ж прямо в комнату кто-то стучится? Как же они в сени попали?

Дверь затрещала и подалась.

Чиркнув спичкой, невестка увидела в щели лом, которым была отворочена дверь. Женщина вскрикнула и убежала за перегородку.

— Кто тут? Кто? — строго закричал старик, снимая со стены винтовку. — Это дом самого коменданта полиции Гарабца!

— Знаем. Он-то нам и нужен! — резко оборвал его голос. — Открывай! Партизаны!

Раздался выстрел из винтовки. Невестка закричала:

— Батя, зачем стреляете! Я слыхала, они семьи полицаев не трогают!

— Меньше бы слушала! Это красная банда! — злобно ответил свекор и снова щелкнул затвором.

Но тут винтовку выбил из его рук подкравшийся в темноте Сибиряк.

— Хозяйка, лампу!

Женщина дрожащими руками зажгла керосиновую лампу, висевшую под потолком на середине огромной комнаты, две стены которой сплошь, от пола до потолка, были завешаны иконами. Хозяйка бросилась к окнам поправлять плотные бархатные портьеры, взятые в районном Доме культуры.

С закатом солнца окна дома наглухо закрывались снаружи толстыми надежными ставнями.

Подняв белые, нерабочие руки, хозяин, еще не старый, гладковыбритый мужчина с холеным лицом, залопотал в свое оправдание: стрелял он только для страховки, на случай, если это немцы устроили ему проверку, а потом обвинят в том, что он добровольно принимает в доме партизан.

— А если вы и правда партизаны, то садитесь, угостим чем бог послал.

— Вот мы и пришли за тем, что послал вам ваш щедрый бог! — оборвал его Сарбаев. — Сколько у вас бричек? — спросил он.

— Ч-четыре, — запнулся старик.

— А лошадей?

— Да теперь десяток.

— Ничего себе нахватали, сволочи! На сколько подвод можно погрузить все ваши продукты?

— Да на три, пожалуй, и уберется, — жалобно ответил хозяин.

— Это откуда у вас столько?

— С базы. Тут же склад остался открытым, как ушли Советы. Все брали, ну и мы...

— Все продукты немедленно погрузить на брички и запрячь лошадей. Во дворе не вздумайте кричать, звать на помощь.— И припугнул старика:— Полиция окружена.

Пока хозяин под конвоем выводил и запрягал лошадей, партизаны с помощью хозяйки выносили на повозки продукты и вещи. А Ефим, как самый хозяйственный, прихватил ящик с плотницкими инструментами.

Сарбаев вышел во двор, прошел за дом, где в палисаднике сидели два партизана, следившие за улицей. Командир убедился: с улицы не слышно и не видно, что делается во дворе коменданта.

Через час комендантша со свекром сидели связанные в пустой бричке далеко от села. А их награбленное добро поплыло в больших лодках вниз по реке: вода следов не оставляет.

— Вообще-то тебя надо было пристрелить, как собаку, раз ты стрелял в нас,— сказал на прощание Сарбаев отцу коменданта. — Оставляем тебя только для того, чтобы всем рассказал, за что наказан твой сын. За расправу над советскими людьми, за угон детей в Германию мы приговорили его к смертной казни.

Услышав это, жена коменданта, глотая слезы, запричитала, что это свекор, старый черт, послал сына в полицию. При поляках был управляющим у помещика, хотел и при немцах разбогатеть...

Отправив лодки с продовольствием в лагерь, Сарбаев с пятью партизанами стали от дома к дому пробираться к комендатуре.

В селе стояла глубокая полночная тишина. Ни говора людского, ни собачьего лая. И вдруг над головами партизан, в сарае, возле которого они стояли, звонко и заливисто закричал петух.

— Чтоб тебя разорвало! — прошептал Саша Зуев, стоявший рядом с командиром. — Напугал до смерти.

На другом конце села петуху тут же отозвался второй, более басистый. И пошла предутренняя перекличка...

— Это что ж, скоро утро, товарищ командир? — с тревогой прошептал Ефим. — Можем не успеть.

— Как раз время, когда особенно хочется спать, — ответил Сарбаев.

Ефим дернул Джуму за рукав, и они оба прижались к черной в ночной тьме стенке сарая. На середине дороги появились чьи-то силуэты. Медленно, с тихим говором по улице шли двое.

Партизаны поняли, что это патруль.

— Без шума снять патруль! — скомандовал Сарбаев Ефиму и Саше.

Через некоторое время стали слышны отдельные слова и тихие шаркающие шаги. Шаркал один, видно старый, усталый. Другой мерно, лениво постукивал коваными каблуками.

Говорили о большом урожае, не убранном вовремя, о своем, мужицком, далеком от войны. «Значит, не какие-то остервенелые полицаи-душегубы, а простые хлеборобы», — понял Ефим. Убивать их не за что. Однако у молодого, одетого в длинный зипун, за плечом винтовка, дулом вниз. Другой — тот, что шаркает, — без оружия. Видимо, они назначены старостой на ночь, в помощь полицейскому патрулю. Их дело выстрелить в небо, если что заметят, поднять тревогу. Партизаны уже знали, что такой порядок введен во всех районных центрах.

Вот патрульные поравнялись с домом, где их поджидали партизаны, и сели на скамейку под окном.

«Выскочить из-за угла и крикнуть «руки вверх!» — напугаешь людей. Заорут с перепугу, стрелять начнут, — думал Ефим. — Нет. Надо спокойно влиться в их беседу, чтоб не шарахнулись».

Первая фраза пришла сама, неожиданно. Потянув Сашу за рукав и взяв автомат наизготовку, так, чтоб его было хорошо видно со стороны, Ефим бесшумными шагами вышел из-за угла и не громко, но довольно внятно заговорил с патрулем:

— Мужики, не ругайте, что мы так рано вышли на улицу. Закурить у вас есть?

— Кто вы? — осекшимся голосом воскликнул молодой.

Ефим вскинул автомат: мол, сам видишь — и строго потребовал:

— Не шумите. Поговорить надо.

Видя, что перед ними два автоматчика, патрульные остались сидеть на скамейке.

— Мы слышали ваш разговор. Поняли, что вы не полицаи, а простые крестьяне. Поэтому не стали с вами делать того, что следовало бы сделать с настоящими хо-

луями фашистов, — мирно заговорил Ефим. — Так уж и вы молчите.

— Только вы, хлопцы, лучше повяжите нас. А то полицаи запорют, — буркнул парень.

— Это можно.

От старика Ефим узнал, что настоящий патруль — два полицая — тут недалеко, в доме за большой грушей, греются самогоном. Но скоро должны тоже выйти на улицу.

Связав мужиков и затащив их в сарай, разведчики пошли дальше. Еще издали услышали тихий говор выходящих из дома людей. Подойдя к калитке, над которой раскинула огромный шатер старая груша, партизаны застыли как часовые.

— Те бездельники теперь опять где-нибудь спят, — еле ворочая языком, заговорил один полицай, видимо, о связанных партизанами мужиках.

— Я йи-им пок-кажу спать! — погрозился другой, споткнувшись на ступеньке.

Распахнув калитку, он перекинул винтовку за плечо и обернулся к напарнику. Но тут же икнул и стал валиться на бок, нелепо обводя рукой вокруг. Второй рванулся было к нему. Но удар по голове свалил и его.

Пробиравшиеся вслед за разведчиками Сарбаев с остальными партизанами бросились к комендатуре.

Пулеметный огонь брызнул одновременно с громоподобным взрывом связки гранат, брошенной в окно Синьковым. Из одного окна полицаи стали бросать гранаты, из другого ударил тяжелый пулемет, затрещали винтовки. Стреляли вслепую, в сторону ворот, откуда ждали партизан, но те были уже во дворе и укрывались за кирпичными столбами ограды.

Метнув гранату в окно, где сразу же смолк пулемет, Валерий Долотов бросился было к дверям комендатуры, но Сарбаев схватил его за руку и вернул назад.

— Не подставляй голову пулям! Надо выкурить гадов из дома! — Он сунул боцману факел, облитый бензином, взятым у комендантши.

Долотов поджег факел и метнул его в чердачное окно. Но ветер отнес легкую палку в сторону, и она упала перед домом, освещая весь двор и ограду, за которой прятались партизаны.

— Помоги забраться! — крикнул боцман.

Джума подставил плечи, Долотов взобрался на кирпичный столб ограды и один за другим швырнул на крышу два пылающих факела. Первый попал в чердачное окно, а второй угодил в гнездо аиста на краю крыши, его сухой хворост сразу же вспыхнул. Но матрос этого уже не видел. Выстрелом из комендатуры он был убит и свалился на руки Сарбаеву.

— Валера, Валерка, что с тобой? Валерий! — тормошил его Джума, но матрос молчал.

«И зачем я послал его с факелом?!» — проклинал себя Джума. Передав матроса с рук на руки Запорожцу и Синькову, Сарбаев приказал вынести его за ограду, в безопасное место.

Здание комендатуры начало освещаться постепенно усиливающимся светом, словно накалялось изнутри. Из окон повалил дым. Потом над крышей взметнулся огромный столб пламени и весь дом запылал.

Дверь комендатуры распахнулась, с диким криком и стрельбой стали выбегать полицаи. Но автоматный огонь партизан косил их, и они падали у крыльца.

Из бокового окна вывалился человек и бросился к кустам сирени, но попал прямо в руки Ефима и Солодова.

К ним подбежал Сарбаев.

— Ты кто? Комендант? — схватил он полицая за ворот.

— Нет, я писарь... — пробормотал ошалевший полицай.

— А где комендант Гарабец?

— Он ранен, пополз туда, по забору, далеко еще не ушел...

Сарбаев послал Ефима и Солодова за комендантом и спросил писаря:

— Арестованные в здании есть?

— Есть... Двое...

— Где они?

— В подвале...

— Мигом в подвал, выведи их! Спасешь заключенных — получишь свободу!

Писарь бросился в горящий дом и через несколько минут вернулся с двумя молодыми парнями. Ребята были избиты до крови, одежда на них висела клочьями, они с трудом держались на ногах.

— Товарищи! — обратился к ним Сарбаев. — Этот, что вывел вас, — рядовой полицай или комендант?

— Писарь, — ответили бывшие заключенные.

— Как вас зовут, ребята?

— Меня Гаврила, — ответил парень постарше, с густой, темной, всклокоченной шевелюрой.

— А меня Федор, — назвался второй, с кровавым шрамом на щеке.

— За что же вас посадили?

— Нас взяли в кузне, мы автомат ремонтировали, который в лесу нашли, — сказал Гаврила.

— Хотели Гарабца убить, — добавил Федор.

— Отчего вы так злы на него?

— Он мою сестру сглумил, а потом в Германию угнал, — сказал Федор.

— А моего брата и отца живыми в землю закопал, — с трудом проговорил Гаврила. — Товарищ командир, возьмите нас в отряд... Мы хотим мстить фашистам.

— Вам надо поправиться сначала, — ответил Сарбаев.

— Мы быстро отойдем, дайте нам только оружие! — попросил Федор.

— Ладно, пойдете с нами, — согласился Сарбаев.

В этом момент Ефим и Солодов подвели черноволосого человека с перекошенным злобой лицом: правая бровь дико вздернута, из-под нее злобно смотрит налитый кровью глаз, левый хищно прищурен.

— А этого типа вы знаете? — спросил Сарбаев освобожденных.

— Как не знать: Гарабец, комендант!

— Он, гад! Это он нам кости ломал! — в один голос подтвердили те.

— Что же вы посоветуете сделать с ним? — спросил их Сарбаев.

— Расстрела такому извергу мало, — ответил Гаврюша.

— Пытать его надо, как он пытает наших людей! — замахнулся кулаком Федор.

— Нет, ребята, издеваться, как это делают фашисты, мы не будем. Мы народные мстители, а не мучители, — возразил Сарбаев.

Услышав эти слова, Гарабец оживился и льстиво поглядел на Сарбаева.

— Я могу быть вам полезным... Я много знаю. Если вы меня помилуете...

Сарбаев с презрением сощурил на него глаза, но подумал: «С поганой овцы хоть шерсти клок». И спросил:

— Раненного в ногу полковника твоя полиция задерживала?

— Нет, полковника не арестовывал, клянусь богом!

— Вообще-то он был в районе Шилевича...

— А, пана Шилевича! После нападения партизан Шилевич вообще никого не арестовывает. За это шеф и недоволен им. Приставил к нему для наблюдения агента гестапо Сидора Гарбуза... Трудная у нас служба, товарищ командир... Стараешься защитить советских, а тебе за это голову могут снести... В Дорогочине коменданта немцы повесили... А коменданту Степанского района шеф пистолетом голову проломил...

— По заслугам награждают своих холуев фашисты... Ну, а с тобой придется нам рассчитаться!

Сарбаев перебросился несколькими словами с окружившими его партизанами и объявил:

— Комендант сорокичской полиции Гарабец за преступления против советского народа приговорен к смертной казни через повешение!

Он повернулся к писарю комендатуры и приказал:

— Приговор в исполнение приведешь ты, господин писарь! На этом дубе!

Тот затрясся, заныл:

— Я не м-могу! Я не фа-фашист! Я только писарь!

— Это будет твоим искуплением вины перед народом! — повторил Сарбаев, после чего писарь, поняв безвыходность своего положения, согласился.

Сарбаев приказал написать углем на куске фанеры: «Так будет с каждым, кто издевается над советскими людьми». Фанеру прикрепили к груди повешенного.

В бумажнике коменданта оказались чистые бланки немецких справок-аусвайсов. Для партизан это было ценное приобретение: по этим справкам можно было пройти в любой населенный пункт.

Дети и оставшиеся в лагере партизаны издали заметили отряд, возвращавшийся по реке на четырех лодках, и высыпали на берег встречать его. С нетерпением ждали

приближения лодок, взволнованно пересчитывали сидевших в них людей.

Но все притихли, когда из-за прибрежных кустов ольхи показалась четвертая лодка, в которой на веслах сидел Ефим, а высоко на сене неподвижно лежал бывший боцман Валерий Долотов. Это было его последнее плавание...

Освещенный лучами заходящего солнца кораблик стоял на березовом пне, как свеча на высоком подсвечнике. Прижавшись друг к другу, словно в холодную дождливую погоду, дети со слезами на глазах смотрели на сказочную яхту — единственное, что осталось от человека, случайно промелькнувшего в их жизни. Легкая веселая яхта, казалось, хранила тепло его добрых, заботливых рук.

Чуть прищурившись, Авдейчик с тоской смотрел на яхту, и даже не на ее пылающие паруса, а на буквы, выведенные угольком на корме: «Баргузин», смотрел и тихо пересказывал то, что друзья его уже слышали от матроса, когда он мастерил кораблик. Слышали, но хотели слышать еще и еще, как героическую легенду о подвиге Валерия Долотова и его друзей, моряков Пинской флотилии.

К детям подошел Ефим и сказал, что пора ложиться спать. Говорил он тихо и ласково, и это никак не вязалось с его огромной фигурой и кажущейся грубой внешностью.

Вместо ответа Авдейчик спросил, есть ли дети у погибшего матроса.

— Этого я не знаю. Мы ничего не успели о нем узнать...

Авдейчик тяжело вздохнул:

— Знал бы адрес, после войны стал бы работать и помогать его детям или матери.

— Я тоже помогал бы, — поддержал Авдейчика его дружок, светловолосый, веснушчатый мальчонка Вася.

— И я... — протянула единственная в группе девочка, худенькая, с жиденькими русыми волосенками Люся.

«Дети, а рассуждают, как много повидавшие на своем веку взрослые», — горестно подумал Ефим и, повернувшись, ушел тяжело и грузно, словно взвалил на свои плечи всю огромную тяжесть детского горя...

«Откуда у этого увальня столько доброты и нежности?» — удивилась Эля, когда Ефим сказал ей, что хочет

соорудить детям землянку: для этого он и захватил у Гарабца пилу, топор, ящик гвоздей и даже оконную раму со стеклом.

— Но зимовать им в лесу нельзя, — мягко возразила Эля. — Как только они окрепнут, мы начнем устраивать их по селам.

— Так пусть хоть неделю-две поживут под теплой крышей, — настаивал Ефим.

— Ефим, сто́ит ли на неделю строить? — скептически пожал плечами Вологодец.

— А сами-то в холода где будем укрываться?

— Партизана, как зайца, каждый кустик ночевать пустит, — отшутился Василий.

— А я понял из рассказов моего деда, что партизаны никогда не были зайцами. Они хозяева на своей земле! — решительно отверг его легкомыслие Сибиряк.

Подошли Джума и Чугуев. Узнав, о чем идет спор, Чугуев поддержал Сибиряка:

— А ведь Ефим прав, товарищи! У нашего отряда должна быть постоянная база!

И партизаны начали строить землянку. Сруб из толстых сосновых бревен наполовину врыли в землю. А сверху замаскировали огромной сосной, подрубленной под корень и поваленной в нужную сторону. Единственное оконце этого жилища смотрело на солнечную сторону, в самую заваль бурелома, куда никто случайный не мог забрести. Дверь выходила к огромному корневищу рухнувшей в бурю березы. Посторонний человек даже с близкого расстояния не мог бы заметить входа в жилье.

— Главное теперь — не ходить по одному месту к речке, чтоб не протоптать тропы, — наставлял Сарбаев воспитательницу и ребятишек.

— А можно таежную тропку устроить, — заметил Ефим.

— Как это? — заинтересовался командир.

— По бревнам. Вот как мы свалили сосну, так повалить десяток деревьев до самой речки, а чтоб похоже было на бурелом, и дальше повалить то там, то тут. Бывают такие вихри, что целые гектары выкручивают, — пояснил Ефим. — А по дереву след не вытопчется.

— Здорово! — одобрил Сарбаев. — Главное, что тропа эта нам и зимой пригодится.

Все это слышал Чугуев, второй день лежавший с раз-

болевшейся ногой и не подозревавший, что именно ему и придется ходить по этой необычной тропе, да не день и не два. Он остался в лагере с женщинами и детьми, когда отряд ушел на новое задание. На рассвете партизаны погрузились на три лодки. Самую маленькую замаскировали в кустах на случай, если оставшимся здесь придется покидать землянку.

Сарбаев уходил последним. Он медленно шел по берегу, ему казалось, что он забыл сделать перед отъездом что-то самое важное. Когда его догнала Эля, он сразу понял, что его беспокоило, чего ему недоставало.

— Товарищ командир, вот Мария Степановна велела отдать вам.— Смущаясь под внимательными взглядами сидевших в лодках партизан, Эля подала Джуме небольшой сверток. — Может, кого ранит...

— Спасибо, — только и проговорил растерявшийся Сарбаев, хотя ему хотелось много сказать Эле на прощание. Хотелось пожать ее тонкие, нежные руки. Их взгляды встретились, и в глубине темных глаз девушки он увидел и волнение, и сожаление, и печаль. Боясь, что его слова и жесты выдадут товарищам его чувства к Эле, Джума нарочно громко и официально сказал:

— До свиданья, Эльжбета Яновна!

— До свиданья! Возвращайтесь поскорей! — крикнула Эля, когда Джума вошел в лодку, и, помахивая рукой, тихо, одними губами прошептала его имя...

IX

В глухом лесу партизаны высадились на берег, спрятали лодки в зарослях лозняка и пошли на север, к железной дороге.

Теперь с новичками Гаврюшей и Федором в отряде было двенадцать человек, и партизаны чувствовали в себе силы провести настоящую боевую операцию: хотелось пустить под откос вражеский эшелон.

По радио они узнали, что гитлеровцы похваляются до зимы взять Москву и перебрасывают на Восточный фронт крупные силы. Надо было хоть чем-то помочь тем, кто защищал столицу.

По пути к железной дороге партизаны завязывали знакомства с местными жителями, которые давали им

пристанище, рассказывали о расположении немецких гарнизонов, предупреждали о появлении полиции, а то и обращались с просьбами о помощи и защите от оккупантов. Население не покорилось гитлеровцам, не примирилось с неволей. Даже в глубоком тылу оккупантов окружал вездесущий и в то же время невидимый и неуловимый противник.

Однажды отряд догнал на взмыленном коне хуторянин, у которого партизаны ночевали, и сказал, что немцы гонят в Пинск собранный в округе скот.

— Лучше ж тех коров мы для вас будем держать в лесу! — сказал он.

Партизаны вместе с окрестными крестьянами перебили немецких фуражиров, а гуртоправам приказали раздать скот хозяевам.

В одном селе партизаны узнали, что в бывшем пионерском лагере на берегу лесного озера немцы устроили офицерский дом отдыха. Ночью партизаны перебили охрану, забросали помещение гранатами, подожгли несколько легковых автомашин и автобус. Выбегающих из домов полураздетых гитлеровцев встречали партизанские пули.

Были у отряда и стычки с полицаями. С одними расправлялись, других старались заставить работать на себя.

Но главного, о чем мечтали Сарбаев и его товарищи — взорвать немецкий эшелон, — сделать долго не удавалось: не было взрывчатки.

Капитан Орлов настойчивее всех рвался к железной дороге: там были большие бои и там скорее всего можно найти неразорвавшиеся снаряды или авиабомбы, из которых можно добыть взрывчатку для мин.

Однако, как это часто бывало в партизанском деле, взрывчатку нашли совсем не там, где ожидали.

В холодный ненастный вечер партизаны зашли в глухое затерявшееся среди болот и лесов село. Они уже знали, что немцы не стояли в таких отдаленных селениях, боялись партизан. Но разведку на всякий случай выслали.

На стене первого у входа в село пустого дома висел большой лист серой бумаги, на котором огромными черными буквами вверху было напечатано:

«За голову Сергея Зимы 10 000 марок!»

Это был приказ шефа окружной полиции. В нем Сергей Зима именовался бандитом, который якобы терроризи-

рует местное население, грабит и натравливает его на «освободителей».

— Вот в какую глушь дошла слава о нашем отряде! — с гордостью сказал Гак, читая приказ.

Из села разведчики вернулись вместе со старостой, крепко сложенным человеком с тяжелой, медлительной походкой. Седой, с резкими складками у рта, он производил впечатление человека крайне усталого, но делового, уравновешенного. Здороваясь с командиром отряда, он сурово и как-то недоверчиво посмотрел ему в глаза, назвался Демьяном Терентьевичем Бортником и попросил поговорить наедине.

— Старостой я только месяц. Меня, можно сказать, наши люди подсунули немцам, — начал Бортник. — Был у нас тут сподручный для новой власти человек, Фисун. Можно сказать, идейный враг большевиков. При ясновельможных он ходил в жандармах, да и немцам служить начал было на совесть. Вот таких же пустых домов у нас за две недели стало двенадцать. Кого постреляли по наговору Фисуна, кто в лес подался. А потом этот Фисун поехал по вызову шефа полиции, да так никуда и не доехал. Как есть пропал. Шеф, конечно, понимает, что Фисун не так просто куда-то запропастился. А только мужики у нас умеют молчать. Такое у нас общество. Но вы лучше не приходите в село, чтоб не было подозрения, а помогать мы вам будем.

Сарбаев спросил, почему старостой вместо Фисуна люди «подсунули» именно его, Бортника.

— Да я ж один на селе пролетарий, ковалем считался, хотя и за плугом ходил не меньше, чем другие. Старший сын где-то на Байкале служит. Значит, там, на советской стороне. Ну а мы с младшим тут вдвоем бедуем. Мать наша умерла. Кастусь мой целыми днями на рыбалке. В случае чего, убегать легче...

— Живете, значит, всегда в полной боевой готовности? — заметил командир, все так же пристально глядя на старосту.

— На бочке с порохом! — шершавой рукой погладив шею, тихо проговорил Бортник. — То вы все одно не стесняйтесь, своим помогать мы будем даже с петлей на шее. Что вам нужно сегодня?

Джума не ответил. Теперь он уже перестал быть таким доверчивым, каким был до встречи с Тодором, и пыт-

ливо посмотрел в темно-серые, глубоко запрятанные под полынными кустиками бровей, суровые, неулыбчивые глаза старосты. Он спросил, почему же немцы назначили старостой его, пролетария, а не из кулаков.

— Кроме Фисуна, богатых у нас и не было. Он один тут сидел, как чирей на шее. А меня, можно сказать, порекомендовал еще и батько.

— А кто он у вас? — насторожился Сарбаев.

— Да самого-то давно нет, а карточка его на стене висит. Батько мой был полным георгиевским кавалером. Много немцев в империалистическую порубал за царя и отечество. А теперь гитлеряки все, от чего пахнет царем, очень поддерживают. Им главное, чтоб не большевик. Вот и поверили.

Долго молчали. Сарбаев решил сделать вид, что верит старосте, и попросил его достать несколько буханок хлеба.

— И хлеба, и сала, и еще чего-нибудь найдем, — с готовностью пообещал староста и несмело спросил: — А мины вам нужны?

— Что за мины? — встрепенулся Сарбаев. — Откуда они у вас?

— Броневой катер в начале войны тут в речке затонул.

— Военный катер? — переспросил Джума, сразу вспомнив Валерия Долотова.

— Самый настоящий военный, — ответил Бортник. — А мой Кастусь здорово ныряет. Вот и достал с того катера мины, говорит, будто бы против танков они.

— Где они? Кто о них знает?

— Да кто ж? Никто, кроме самого Кастуся, не знает. А только я вам так скажу: очень он крепкий у меня карахтером... — Тут старик опять потер свою шею. — Он у нас последний в семье, немножко с перекалом получился...

Сарбаев нахмурился: мол, не понимаю, к чему это.

— Не отдаст он вам те мины, если не запишете в партизаны; да не куда-нибудь, а к самому Сергею Зиме. Я уже не поперечу. Все равно не удержишь. Да оно у вас и сохранней, чем с таким батьком...

— Но он же еще мал, — возразил Сарбаев. — Какой же вояка из пятнадцатилетнего!

— Да вы с ним ростом как раз одинаковые, товарищ

командир, — довольно ухмыльнулся отец. — Только он в плечах пошире, в материн род, крепкий растет.

— Ну, если вы не против, то я, что ж, с таким вооружением возьму, конечно.

— Так вы идите в лес. Вот по этой тропке. Мы придем к вам засветло. Ночью из села теперь не выходим. А может, у вас сомнение, то пошлите со мною кого, сами принесут еду и сына к вам приведут.

— Я вам верю, — ответил Сарбаев. — Приходите с сыном.

Когда Сарбаев с разведчиками вернулся в лес и рассказал товарищам о своей беседе со странным старостой-пролетарием, решили на всякий случай ждать не в лесу, а за речкой. Возле тропинки к лесу для встречи старосты оставили только дозор — Гаврюшу и Федора. Они здешние. В случае чего, прикинутся заблудившимися.

Староста не обманул. Перед закатом солнца он пришел с сыном, который на голову был выше его самого. Сын притащил два связанных между собою здоровенных мешка с продуктами. Мешки оказались такими тяжелыми, что их по одному партизаны с трудом унесли потом в лагерь.

— Да, сын у вас крепко скроен, — с удовлетворением заметил Сарбаев старосте.

— С трех лет начал физкультуру.

— С трех лет? — Сарбаев удивленно заглянул под полынные кустики бровей старосты.

— Вот же его любимая физкультура — цеп, — перехватив этот недоуменный взгляд, пояснил отец. — Вы, может, и не знаете, что такое цеп? У вас там комбайны да всякие другие молотилки, опять же электрика. А мы до тридцать девятого года сами себе мастерили комбайн из двух дубинок. Одна в сажень, другая покороче. С темна до темна, да так всю зиму, бывало, рэпаешь снопы жита. Так от же и говорю вам, еще трехлетком попал Кастусь на ток. Я ж целыми днями в кузне. А старший, Михась, — по хозяйству, матери помогает. Попросил Кастусь и себе цеп. Михась сделал ему цеп. С тех пор, как проснется, первое слово: «Молотить!» И сколько старший на току, столько и Кастусь. А стало ему за десять, так то уже молотарь был настоящий. Чуть свет, а в клуне ковался: токо-ток! токо-ток! Все завидовали моей молотарне. Только ж учитель подсказал, что у моих хлопцев не толь-

ко руки, а и головы не плохо работали бы, коб немного подучить. Бросил я надею на покупку земли, решил учить своих хлопцев. Хоть лопну, а грамоту какую-никакую для них добуду. Определил в школу. Старшему было поздновато — руки в работе уже так задубели, что и карандаш не держали. Кастусь вцепился в ученье, что клещ в кожушину. И спал с книжкой. Может, что и вышло бы, да вот же теперь какое ученье...

— А кем стал старший? — спросил Сарбаев.

— Он у меня рыболов. Весной, когда, бывало, хлеб кончался, только и жили его рыбой. Тут у нас издавна от голода вьюнами спасались. Бабы насушат вьюнов, натолкут, с отрубями перемешают, и хлеб получается. Синий, тяжелый, но какой-никакой, а хлеб... Ну так вот, как пришли Советы, мой Михась с женой и детьми сразу на Байкал подался, в рыбацкую артель.

— Почему именно на Байкал? — опять удивился Сарбаев еще одному неожиданному повороту в судьбе этой семьи.

— Михась еще ж при панах услыхал про то озеро, про какую-то рыбу, что нигде во всем свете больше не водится. Тут один из Картуз-Березовской тюрьмы бежал, так пока залечивал раны, жил в клуне и все песню нашептывал моим хлопцам про славное сибирское море да про священный Байкал. Он ушел, а то, что посеял, взошло. Сын с той песней тоже побывал в Картуз-Березе. И кто знает, чем кончилось бы, если б в тридцать девятом не пришли Советы.

— Уж за такую-то песню сажать! — качнул головой Сарбаев.

— Панская дефензива — все равно что теперь гестапо, за все сажала... — Старик умолк — как раз подошел Кастусь, передавший продукты партизанам.

Устало отирая рукавом разрумянившееся лицо и высокий, угластый, как у отца, лоб, паренек робко смотрел на командира партизан. Заходящее солнце светило ему прямо в глаза, но он не жмурился.

Сарбаев пытливо посмотрел в строгие и такие же цепкие, как у отца, но не серые, а темно-желудевые глаза и сказал:

— А я знал боцмана с затонувшего военного катера...

— С «Баргузина»? — так и встрепенулся Кастусь.— Где он? Можно с ним поговорить?

— Погиб за Родину, — печально ответил Джума. Он уже не сомневался в этом простодушном пареньке и спросил, как он узнал название катера.

— Видел, когда нырял. У меня есть противогаз с пятиметровым шлангом, я долго могу быть под водой.

— Ну что ж, Константин Демьяныч, очень рад, что ты решил поделиться с партизанами своей добычей.

— Не делиться! — возразил Кастусь. — Вместе громить фашистов.

— Значит, к партизанам хочешь прийти, как богатая невеста, с приданым?

— Но.

Джума уже знал, что в этих местах «но» означает «да». По душе ему был этот суровый, самостоятельный и, видать, думающий парень. Высокий, плечи с разворотом, осанка богатыря, уверенного в своей силе. На вид парню было лет двадцать. Но когда он услышал, что его принимают в отряд и несмело улыбнулся, на щеках появились совсем детские, наивные ямочки. Сначала прорезалось по одной большой впадинке по уголкам рта. Потом, когда улыбка охватила все лицо, над этими впадинами возникло еще по ямочке, которые преображали его, выдавали в нем жизнерадостного подростка. Казалось, ему нет еще и тех пятнадцати, о которых говорил отец.

— Одного не пойму, отчего ты так зол на немцев? — нарочито равнодушно заметил Сарбаев.

— Они ж фашисты! — бросил Кастусь с таким гневом, что эта фраза все объясняла.

Но отец, видно, считал, что этого мало, и, сокрушенно качнув головой, добавил:

— Тут тоже своя морская история. Кастусь хотел стать моряком, уже и ответ пришел...

— В Одесское мореходное училище поступал, — уточнил Кастусь.

— А тут эти пруссаки... растоптали все наши планы.

— Примем мы тебя в отряд, но что будет с отцом, если немцы дознаются, что сын старосты в партизанах? — задумался Сарбаев.

— Тут только один выход — Кастусю на люди не показываться, — ответил отец. — Ну, а в случае чего, я и сам подамся в лес.

— Так, может, сразу оба?.. — неуверенно сказал Сарбаев, чувствуя, что отец этого не хочет.

— А кто ж селян будет оборонять? Кто вас кормить будет? Не, я еще побуду на селе. Пока те супостаты мне верят, потерплю...

Кастусь сдержанно, с достоинством распрощался с отцом.

После заката солнца Кастусь, Запорожец и Ефим, который сразу почувствовал симпатию к юному богатырю, поплыли на лодке за минами.

Над рекой, с обеих сторон заросшей камышами и лозняком, стояла глубокая тишина. Долго был слышен скрип уключин, быстро удаляющийся плеск весел. Оставшиеся на берегу партизаны молчали, словно ожидали чего-то еще.

— Фашисты залили кровью, пеплом покрыли свой путь. Ушли дальше. Дранг нах остен! — заговорил Синьков, когда умолкли последние всплески весел. — А тут, под пеплом, под грудами развалин остались и мины, и пулеметы, и пушки. И самое главное, остались люди со сжатыми кулаками, люди, которые не могут не мстить.

— Да, таких, как этот Кастусь, в каждом селе не один и не два, — согласился Джума. — Собрать бы их всех в один кулак!

— Соберутся! — уверенно сказал Игорь. — Скоро у немцев земля будет гореть под ногами...

По лабиринту речушек и протоков партизаны лишь на рассвете добрались до острова, поросшего сосновым лесом, где был тайник Кастуся. Запорожец остался в лодке в дозоре, а Ефим с Кастусем поднялись на высокий песчаный берег. На вершине песчаного холма, на котором стояла огромная сосна, под одним из ее разветвленных корней и был склад мин Кастуся Бортника.

Разгребли шишки, которыми вокруг ствола была хорошо замаскирована земля, сняли верхний слой песка, и лопата наткнулась на деревянный ящик. Это был не просто ящик, а настоящий сруб из добротных сосновых бревен. Уже по одному тому, как этот сруб был проконопачен, Ефим увидел, что делал это настоящий мастер, и спросил, чья же это работа. Кастусь понял, что работу его одобряют, и сказал, что строил сруб, как корабль,— бревнышки подгонял так, чтобы вода «в трюм» не попадала. В срубе, когда сняли крышку, обитую жестью, действительно оказалось сухо, несмотря на то что за последний месяц немало прошло дождей. Здесь, как у хорошей хозяйки

в сундуке, все было уложено аккуратно. На одной стороне находились деревянные ящики с минами, а правую сторону занимал мотор для лодки. На густо смазанном автолом моторе стоял новый туес из бересты. Кастусь прежде всего достал этот туес и открыл так бережно, словно там была сверхчувствительная мина.

— Не отсырело? — сам себя спросил он, вынимая из туеса большую толстую книгу с белой яхтой на коленкоре цвета морской волны. — Здесь описаны все корабли, от самых древних до современных.

Книга была на английском языке.

— Ты знаешь английский? — спросил Ефим.

— Из-за нее начал изучать,— ответил Кастусь, любовно перелистывая книгу. — Да английский все равно надо знать кораблестроителю. Англия — родина морского флота.

— Так разве ты хочешь строить корабли, а не плавать? — удивился Ефим: ведь командиру и отец и сын говорили, что поступал в мореходное училище, а не в кораблестроительное.

— Петр первый был царем, а корабли учился строить как простой плотник, — отвечал Кастусь. — А Суворов сперва служил солдатом, хотя дворянин имел право сразу стать офицером.

— То совсем другое.

— Надо сперва поплавать. Самому узнать, чего там в море не хватает на кораблях, а уж потом учиться строить их.

— Э-э, да ты, я вижу, основательно готовился в кораблестроители, — одобрил Ефим. — Только это ж и ве́ка не хватит на учебу!

— Хватило бы, — горько вздохнул Кастусь. — А теперь вот, наверно, не хватит. Смотря на сколько затянется война. — Он положил книгу на место, поставил туесок на мотор и стал один за другим подавать Ефиму ящики с минами.

Но Ефим остановил его, сказав, что нужно взять на первый раз только несколько мин, а остальные пусть хранятся здесь. Лучшего склада сейчас не придумаешь. Все их таскать с собою партизаны не будут. А боеприпасы вообще надо хранить в разных местах.

Так здраво поразмыслив, увезли они всего лишь один ящик, в котором было шесть мин.

Знатоком мин и вообще подрывного дела был в отряде капитан Орлов. До войны он служил начальником боепитания полка и изучил основные виды мин. Он умел их даже разбирать. И когда Сарбаев спросил, нельзя ли приспособить к такой мине часовой механизм, капитан, не задумываясь, ответил, что можно, только нужны будильник и инструменты.

— Вот бы танк подорвать! — мечтательно сказал Кастусь.

— Где ты его возьмешь в этой глуши? — отмахнулся Вологодец. — Хотя бы автомашину.

— Больно жирно на простой автомобиль тратить противотанковую мину! — возразил расчетливый Ефим. — На железной дороге используем эту штуку!..

— Ты угадал, — подтвердил Джума.

— А как именно вы хотите использовать «адскую машину», товарищ командир? — вежливо спросил обычно сосредоточенно молчавший, словно чем-то недовольный, капитан Орлов.

Сарбаева всегда смущала слишком явная почтительность капитана в обращении к нему, ниже стоящему по званию и только волею случая ставшим командиром. Он рассказал капитану о своем замысле: пробраться на станцию и установить в вагон мину с часовым механизмом, чтобы взорвалась в пути.

— Да еще неплохо бы угодить в состав с боеприпасами! — сразу преобразился капитан, и в черных, всегда грустных глазах его сверкнул веселый злой огонек. — Землю раскололо бы!

Джума перехватил этот взгляд, и на душе отлегло, он понял причину недовольства капитана. До сих пор Сарбаев думал, что этот опытный, уже в возрасте человек болезненно переживает, что ему приходится подчиняться молодому лейтенанту. А оказалось, он недоволен только вынужденным бездельем, в то время когда кругом враги, которых нужно уничтожать.

Джума благодарно кивнул капитану и с задором спросил бойцов:

— Ну что, двинем на железную дорогу Белосток — Гомель?

— Давно ждали этой возможности! — сказал Синьков. — Сейчас это главная артерия немецкого фронта. День и ночь по этой магистрали везут на нашу Родину

разрушение и смерть. Но как ты проберешься на станцию?

Тут в разговор вступил Андрей Гак:

— Мы как-то встретили трех бойцов, которые, пока выздоравливал их раненый товарищ, целый месяц работали на станции Здолбунов «шабашниками». Потом они раздобыли продуктов и ушли на восток.

— Пробраться бы и нам на станцию под видом «шабашников»! — увлекся его мыслью Джума. — Выдадим себя за освобожденных немцами из барановичской тюрьмы. Там теперь лагерь для военнопленных. В нем я промучился больше месяца. Расскажу вам потом о ней на всякий случай. Если согласны, тогда надо остановиться в деревне, где нет полицаев, переодеться в какое-нибудь рванье, чтобы походить на вчерашних преступников.

— Надо раздобыть будильник и часовой инструмент, чтобы сделать мину с часовым механизмом, — добавил Орлов, потирая переносицу.

Эту привычку капитана потирать седловинку носа, где обычно сидят очки, партизаны заметили сразу, но не понимали, почему он так делает. Мария Степановна объяснила, что эта привычка связана с тяжелыми событиями в жизни капитана. В бою он потерял очки, а был очень близорук, не смог прицельно стрелять и поэтому попал в плен.

X

Трое рабочих в черном засаленном рванье сгружали с железнодорожной платформы дрова. Эти дрова для самого шефа полиции Вайса. Сухие, березовые.

Староста пристанционного поселка Стрельня получил приказ привезти из леса хороших дров для камина, специально сооруженного в доме, где поселился шеф железнодорожной полиции оберст Вайс. Старосте строго-настрого было приказано: «Только березовых. Господин шеф любит, чтобы по вечерам в камине весело горели березовые дрова. Именно березовые».

Староста не дурак, сам в лес не поехал «в лапы к партизанам». Он пошел на станцию, где постоянно околачивались «шабашники» — мужики, ищущие случайного заработка на погрузке или разгрузке. Нашел троих, на вид самых голодных и оборванных. Один черномазый, с бри-

той головой, синей, словно облитой черничным соком. Двое других тоже коротко стрижены. Сразу видно, что все из бывших советских заключенных. Но не все ли равно, кем они были раньше. Важно, что аусвайсы в порядке и запросили недорого — по четвертинке постного масла и горсточке соли.

Соль стала теперь на вес золота. Это особенно хорошо знали сами «шабашники». Сработали они неожиданно для подрядчика быстро и ловко. Договорились сделать все за два дня. А управились за один. Да и дрова какие! Звенят, словно хрусталь.

Видя, что дело идет хорошо, подрядчик отдал рабочим часть их заработка — масло. И ушел, пообещав соль принести утром, когда они перевезут дрова во двор шефа.

Наниматель ушел. А рабочие поднажали и за часок очистили платформу от дров. И как только спрыгнули на землю, к ним подбежал сцепщик Иван Сирота — небольшой, шустрый человек, согласившийся помочь «шабашникам», как он выражался, «шандарахнуть» немцев.

— Беда, ребята! Уходите! Прибывает эшелон эсэсовцев. На станции не должно быть ни души, кроме меня и дежурного.

— А как же наша платформа? — встревожился Синеголовый. — Сумеешь ты ее перегнать куда надо?

— Но ведь авиабомбы станут выгружать, только когда совсем стемнеет. Эсэсовцы к тому времени уедут.

— А вдруг не уедут?

— Все равно перегоню, если не к самому пакгаузу, то в тот тупик, где стоят еще не разгруженные вагоны с авиабомбами.

Целую неделю «шабашники» — Сибиряк и Орлов во главе с Сарбаевым, которого и прозвали здесь Синеголовым, — околачивались возле станции, добивались «заработка». А на самом деле искали железнодорожника, который согласился бы помочь им в опасной операции. И вот нашелся этот сцепщик, Иван Сирота, перенесший большое горе. Жена в день начала войны повезла больного сынишку в Минск на лечение. И только поезд отошел от станции, налетели фашистские самолеты и разбомбили его. Иван все это видел. Догнал поезд, но лишь к вечеру нашел своих и там же похоронил. Сперва он хотел податься на фронт. Но не смог далеко уйти от родных могил. Да и мать у него была такая слабая, что пришлось остаться

с нею в осиротевшем доме и работать на прежнем месте. Иван чувствовал лютую ненависть к фашистам и поклялся отомстить им за все свои беды. На всякий случай он увез старушку на хутор, подальше от станции, а сам стал искать удобного момента «шандарахнуть».

Рассказ Сироты партизаны проверили. Все оказалось правдой. На станции было еще несколько семей, потерявших своих близких в том злополучном поезде. А Солодов, приходивший «в гости» к Синеголовому, даже отнес на хутор передачу матери от Ивана.

Взялся Иван Сирота за дело, которое предложили «шабашники», искренне, со всем пылом. Но партизаны боялись, что он испугается, смалодушничает и в последний момент откажется от опасной затеи. Поэтому, когда он сообщил о прибытии эшелона с эсэсовцами, партизаны задумались. Особенно приуныл Синеголовый. Однако, подумав, он твердо заявил:

— Я останусь перекладывать дрова. Ребята уйдут.

— Что вы! — отмахнулся Иван. — Перед приходом поезда станцию окружат полицейские и всех прогонят. А ко мне приставят шпика. Как грех за душой, будет бродить за мной везде, пока не уйдет эшелон. Так уже было не раз. К счастью, он ничего не понимает в моей работе и ни во что не вмешивается. Я куда нужно, туда и загоню ваш вагон. — И, приблизившись к Синеголовому, Сирота тихо добавил: — В случае чего, я его ключом по башке, и был таков. Мне ведь надо как-то добыть оружие, если пойду к вам.

— Об оружии не заботься, — ответил Сарбаев. — Все тебе будет, если дело с нашей платформой провернешь.

Иван сдвинул на ухо до черного блеска захватанный руками картуз и робко попросил:

— Хлопцы, только уж коли со мною тут что... вы не говорите матери сразу. Пусть думает, что я по заданию партизан переехал в другое место. Пусть старуха доживет до победы. Без меня-то ей не житье. Уж это я знаю.

— Не тревожься, Иван, все обойдется. Только будь осторожен, — ответил Джума.

В это время на путях показались трое полицейских. Один из них направлялся прямо к «шабашникам».

Сцепщик сделал вид, что он просто проходил мимо рабочих, сгружавших дрова, и, удаляясь, бросил через плечо:

— Не бойтесь, ровно в десять ваша платформа будет стоять там, где надо!

«Шабашники» продолжали курить, сидя на дровах, будто бы и не замечали решительно приближавшегося полицая. А тот еще издали крикнул:

— Кончили разгружать? Марш отсюда! Быстро!

— Устали мы, господин полицейский, — глухо ответил один из рабочих. — Ну да ночевать не собираемся. Сейчас уйдем...

— Давай, давай, проваливайте, а то — в комендатуру.

— Да в комендатуре мы уже были, — устало подниимаясь, ответил Синеголовый. — Весь двор от хлама очистили. Теперь там для нас работы больше нету. Вот утром перевезем дровишки для господина Вайса и подадимся в город, там, говорят, набирают рабочих. Правда это, как вы думаете?

— Мне некогда думать, — ответил необщительный полицай. — Быстрей сматывайтесь!

«Рабочие» больше ни слова ему не сказали, ушли. И только из-за угла первого дома еще раз посмотрели на «свою» платформу. Со стороны ничего не заметно. Мину они пристроили над рессорами. Посторонний не может ее заметить. Только бы удалось Ивану вовремя отогнать эту платформу к пакгаузу, в котором скопилось немало взрывчатки, или на запасный путь, поближе к эшелону с бомбами.

Трое лежали на опушке леса, в овражке, заросшем бурьяном, и смотрели туда, где в ночной мгле едва заметно желтел одинокий глаз семафора. В восемь часов пришел какой-то поезд. Наверное, тот самый, с эсэсовцами. Уедут ли они к десяти?..

На часах — без пяти десять. Чтобы скоротать неимоверно долгие минуты, Сарбаев заговорил нарочито неспешно:

— Такие волосы артист срезал бы только для самой важной роли! — И он огорченно погладил теперь уже почерневшую и не такую колючую, как в первые дни, круглую голову.

— А что, мы играли свою роль неплохо, — улыбнулся Ефим. — Целую неделю были «шабашниками».

— Не были бы стрижеными, нам не поверили бы, что идем из тюрьмы, — заметил Орлов. — Сразу в концлагерь упекли бы.

— Тихо! — поднял руку Сарбаев.

Все замолчали. Слышно было только тиканье часов в руке Сарбаева. Огромные карманные часы фирмы «Павел Буре», взятые у Гарабца, тикали звонко, четко, но партизанам казалось, что стрелки стоят на месте.

Скорее бы! Скорее бы десять!

Еще целых четыре минуты!

За это время можно не раз вынуть из-под платформы мину и обезвредить.

За четыре минуты можно успеть прицепить показавшуюся подозрительной платформу к маневровому паровозу и угнать за станцию. Пусть там взрывается.

Многое можно сделать за четыре... Но теперь уже не четыре, а три минуты осталось...

Левее тусклого глаза семафора вдруг, словно фонтан на солнце, брызнуло яркое, многоцветное пламя. И тут же дрогнула земля.

— Сработала! — закричал Орлов. — Наша мина сработала!

И, словно в подтверждение его слов, черное небо над станцией и ее окрестностями вдруг вспыхнуло ослепительными протуберанцами.

Земля дрогнула, загрохотала, загремела, словно раскололась до самого основания. Взрыв был подобен извержению вулкана. Рокочущий, гудящий, нарастающий, он переходил в сплошной гул и грохот.

Все стихло внезапно, как и началось. Лишь небо горело, клубясь и взвихриваясь многоцветными огнями и облаками дыма.

Партизаны долго молчали в оцепенении. А потом вдруг закричали «ура». И двое бросились тормошить, обнимать, тискать третьего, капитана Орлова.

— Да что вы, ребята! При чем же тут я? — оборонялся Орлов. — Взрывчатку добыл Кастусь. А все остальное сделал Иван Сирота. Вот дождемся его и уж покачаем.

— Идемте к нему, — предложил Ефим. — Может, он ранен или контужен.

— Разминемся! — возразил Джума. — Будем ждать здесь. Место он знает. Сам назначил.

Но прошел час. Другой. Начало светать. А Иван Сирота не пришел. Видимо, не сумел отойти в безопасное место...

Наконец Сарбаев встал и, сняв фуражку, сказал в сторону станции, где бушевал и свирепствовал неуемный пожар:

— Прощай, Иван Федотович Сирота!

В густом болотистом лесу, километрах в семи от станции, над которой все еще поднимались в небо тучи дыма, подрывники встретили Солодова, поджидавшего их здесь с оружием и одеждой.

— Ну как — успешно? — воскликнул Солодов.

Увидев Солодова, Сарбаев первым делом сообщил ему печальную весть об Иване Сироте и сказал, что теперь забота о матери погибшего ложится на него.

— Больше забот голове, сердцу легче. Мы с нею уже породнились, когда носил гостинец от Ивана. Бедная старуха только мечтой о встрече с сыном и держится на белом свете... Если доживет до победы, я увезу ее на Урал, будет бабушкой моим девчонкам...

На старом заброшенном хуторе вчерашние «шабашники» истопили печку, нагрели воды, помылись и переоделись в свою родную красноармейскую форму, в которой сразу почувствовали себя настоящими воинами.

— А рвань давайте в печку, — предложил Солодов.

— Нет, ребята, уничтожать это старье нельзя, — возразил Джума. — Оно может еще пригодиться. Заберем с собою...

Пока увязывали «униформу шабашников», как ее назвал Солодов, Ефим смастерил себе шапку. Среди старого хлама, оставленного, видно, в спешке бежавшими хозяевами, он нашел рваный полушубок, отрезал широкую половину рукава со стороны плеча и, вывернув наизнанку, нахлобучил себе на голову, да еще и сдвинул набекрень. Получилась лохматая рыжая папаха, какие носят чабаны. Верх он наскоро зашил дратвой, найденной в сапожницком ящике хозяина. Свой картузик без козырька, в котором было уже холодно, Ефим оставил на хуторе.

К этой импровизированной шапке Андрей Гак прикрепил еще и кусочек алой ленточки, найденной в столе. И когда Ефим встал, еще более огромный и внушительный, Андрей сказал:

— Если когда-нибудь доведется мне рисовать партизана, я его изображу таким, как ты сейчас.

Через день бывшие «шабашники» встретились с группой Синькова, которая минировала шоссе. С криком «ура»

бросились навстречу друг другу боевые товарищи, пережившие за эти дни много тревог и волнений.

— Мы уж думали, вы там и остались, на месте взрыва! — сказал Синьков, с радостью глядя в глаза Сарбаеву. — Землетрясение вы устроили на всю область.

— Вы боялись за нас, а сами все в бинтах, — с тревогой заметил Джума.

— Было дело...— отмахнулся Синьков.— Но обошлось без потерь. Правда, оба новеньких — Гаврюша и Федор — получили первые боевые ранения.

Во время обеда у костра Синьков рассказал, что им удалось заминировать дорогу, по которой ходили немецкие грузовики. Рассчитывая, что подойдут машины с грузом, партизаны укрылись неподалеку от шоссе. А первыми подошли автобусы с солдатами. Головная машина подорвалась, а следующие остановились. Солдаты повыскакивали из автобусов и, рассыпавшись цепью, быстро окружили место катастрофы. Уходить пришлось с боем. Прикрывали группу самые молодые — Кастусь, Гаврюша и Федя. Спасла речушка, на которой были оставлены лодки. Переплыли и оторвались от погони.

— А нашему капитану добыли очки! — с детской радостью сказал Кастусь, передавая Орлову очки в массивной роговой оправе. — С офицера снял!

Орлов примерил очки и заулыбался:

— Немного сильнее, чем надо, зато теперь я прекрасно буду видеть цель! Спасибо, Кастусь!

— Эти очки чуть не стали для Кастуся трубкой Тараса Бульбы,— осуждающе заметил Андрей Гак.— Если б Гаврюша да Федя не подоспели на выручку, были бы ему очки...

После небольшой передышки отряд отправился в глубь леса, на север от железной дороги, хотя лагерь находился южнее ее: после такой громовой диверсии надо было побродить по лесам, запутать следы...

Лишь на третий день партизаны снова вышли к железной дороге, километрах в двадцати западнее «их» станции. Путь здесь охранялся усиленным нарядом патрулей. Немцы парами ходили в полукилометре патруль от патруля.

— Если вот так заставить немцев охранять все железные дороги на оккупированной территории, то, пожалуй, все население «великой Германии» расползется по шпа-

лам Белоруссии, — засмеялся Джума, стоявший с товарищами в березнячке в ожидании сумерек.

После заката солнца на железную дорогу из леса выполз верный помощник партизан — густой туман. Они перешли невысокую насыпь и, удалившись километра на три от железной дороги, расположились на ночлег.

В запасе у Синькова осталась одна мина. Решили не нести ее в отряд, а подложить под первый же поезд. Капитан Орлов приспособил мину на шнур. Установить под рельс, в нужный момент потянуть шнур — и мина сработает. Но так как после взрыва на станции поезда не ходили и неизвестно было, сколько придется ждать, Джума решил часть отряда отослать в лагерь. Боялся, как бы случайная облава не напала на него. Все же не очень он далеко от районного центра, где совсем недавно свирепствовал Гарабец. Капитан Орлов был теперь «зрячим», он и пошел в лагерь с легко раненными Гаврюшей и Федей.

Утром партизаны, расположившиеся недалеко от железной дороги, услышали шум поезда. Это шел первый за эти дни эшелон.

— Расчистили станцию, гады, — сквозь стиснутые зубы процедил Ефим.

— А может, обходной путь проложили? — возразил Сарбаев.

За первым проверочным поездом последовал второй, третий. Они словно дразнили партизан, ожидавших груженого состава.

И только в полдень, когда на восток прошла дрезина с эсэсовцами, послышался характерный шум тяжело груженного эшелона. Он быстро нарастал, будоражил лес. Казалось, рельсы кто-то повернул в лесную чащобу и поезд мчится прямо на притаившихся в густом ельнике партизан. В лужице, возле которой полулежа устроились партизаны, пошла по воде мелкая рябь от сотрясения земли.

— Эк несется! — заметил Ефим. — Взял волю.

— Чего ему теперь бояться! — кивнул Вологодец. — Столько проверочных эшелонов прошло, значит, путь свободен. Знай наяривай!

— Приготовиться! — вполголоса скомандовал Сарбаев. — Я стреляю в патруля слева — он сейчас приближается к нам. Синьков, снимай правого, если покажется из-за

поворота. Куда он, сволота, запропастился! Ефим и Саша, сразу бросайтесь к дороге. Подсуньте штырь под рельсу, как показывал капитан, закрепите мину и назад немедля. Главное, чтоб машинист вас не заметил. Не забудьте: шнур разматывать будете на пути к линии. На обратном пути не зацепитесь за шнур, чтоб не взорвать мину раньше времени. Внимание!

Но Сарбаев не успел подать команду «Пошли».

Раздался взрыв.

Тяжелый, ревущий, многократный, как раскаты грома в скалистых горах, совершенно неожиданный взрыв среди белого дня оборвал победный шум несшегося на восток немецкого поезда.

Партизаны повскакивали, прислушались. Там, где произошел взрыв, теперь все больше разгоралась трескотня, похожая на приглушенную беспорядочную стрельбу, а в небо огромными лохматыми тучами поднимался рыжевато-черный дым.

— Патроны рвутся,— определил Ефим, а когда загрохотало погромче, будто в беспорядке стреляли сразу несколько десятков зениток, он сказал, что это рвутся снаряды. — Видно, вагон с боеприпасами взорван.

— На той стороне пути сплошное болото. Там не пройдешь, — вслух размышлял Вологодец.

— Ты это к чему? — спросил Ефим.

— К тому, что если сейчас кто-то подложил мину, а не ночью, то ему бежать остается только сюда, в нашу сторону.

— Вот и хорошо.

— Чего ж хорошего! — проворчал Вологодец. Лицо его стало еще длиннее, щеки запали. Оно всегда становилось таким постным и тощим, когда был недоволен. — Еще в облаву попадем за чужое дело!

— Да ты что! — с возмущением воскликнул Ефим. — Какие же они тебе чужие, если подорвали фашистский эшелон, да еще днем.

Вологодец виновато промямлил:

— Да я просто о том, что они кашу заварили, а нам расхлебывать.

— Было бы здорово, если бы мы хоть прикрыли отход этих ребят, — сказал Сарбаев, чувствуя, что и у него в душе нарастает неприязнь к Хуторку.— Пройдем на

всякий случай километра два наперерез, глядишь, и правда встретимся. А облавы может и не быть.

Быстрым маршем, а где и перебежками партизаны устремились на запад. Но миновали место крушения, а в лесу никого не увидели, ничего, кроме трескотни взрывающихся боеприпасов, не услышали.

Удачливые подрывники сумели, видно, уйти.

— Ну что ж, самое главное для партизана — вовремя смыться,— остановившись, пошутил Сарбаев. — И тем более жалко, что мы не встретились. Видать, хорошие ребята!

— Правильно действуют! — одобрил Ефим. — Дед мой говорил: «Партизан должон действовать, как москит, — укусит, а самого черта лысого поймаешь!»

— А что, пока отряд небольшой, только так и нужно действовать, — согласился Запорожец. — Тягаться с немцами в открытом бою мы не можем, не хватит боеприпасов. Вот и выходит, действовать надо, как москит,— укусил побольней и улетай.

— Тихо! — поднял руку Сарбаев. Ему показалось, что он услышал какой-то подозрительный шум в лесу.

Видя, что остановились на слишком открытой поляне, он увел отряд в чащобу.

Шли быстро, бесшумно, все время прислушиваясь к каким-то новым звукам, появившимся в лесу...

XI

Собака — друг человека. Друг. Но почему же так вздрогнули и в растерянности остановились прямо на открытой поляне даже самые смелые, когда в лесу неожиданно раздался звонкий, нетерпеливый собачий лай? Сарбаев обернулся, нервно закусил тонкую верхнюю губу.

— Деревенская. Дворняга, — сам себя успокаивая, промолвил Ефим.

— Овчарка! — решительно пресек опасное самоуспокоение командир.

Сняв с плеча винтовку, Джума проверил ее. Он уже убедился, что, пока в отряде не появится еще один снайпер, придется ходить с винтовкой, хотя автомат и удобней и легче. Снайперский выстрел иногда требуется настолько неожиданно, что надо быть всегда наготове.

— Идет по следу, — догадался Джума. — Ишь повизгивает от нетерпения...

— Когда овчарка идет по следу, она не лает, — возразил Ефим.

— Собака ведет себя так, как ее научат, — поправил его Сарбаев.— Пограничная идет — камышинку не заденет, чтоб не вспугнуть нарушителя. А фашисты и сами действуют нахрапом, и собак приучили бросаться на людей, брать на испуг.

— Может, и так, — согласился Ефим. — Однако приближается, проклятущая!

— Чего ж мы тогда стоим? — спросил Вологодец.

— Не бойся. Идут не по твоему следу. По чужому,— подковырнул его Запорожец, уже раскусивший и невзлюбивший этого человека.

— Не чужие они мне! — взвизгнул Василий. — Но зачем подставлять башку под шальную пулю?

— Для нас эти пули не шальные! — все внимательней вслушиваясь, сердито заговорил Сарбаев. — Никак ты не поймешь — эти пули нацелены в наших товарищей. Да чего тут спорить! Можешь уходить на все четыре стороны, коли боишься.— И, окинув остальных решительным командирским взглядом, Джума скомандовал:— За мной!

Партизаны быстро пересекли поляну, поросшую густой, некошенной в этом году травою, и рассредоточились в лесу, вдоль опушки.

— Пулемет, десять метров вправо, — скомандовал Сарбаев. — Пристроиться за сосновым пнем. — И строго добавил: — Стрелять только после меня. Я попробую первым выстрелом уложить пса, а уж потом все сразу ударим по фашистам.

Когда все получили задание и заняли свои места, к командиру подошел Вологодец. Было видно, что он раскаивается.

— К пулеметчику! — не глянув ему в лицо, бросил командир.

— Есть к пулеметчику! — Василий с радостью побежал выполнять приказание.

Ефима Сарбаев попросил стать рядом и тоже взять собаку на мушку.

— Что с тобой, Джума? — по-дружески спросил Ефим, вставая справа и проверяя свою винтовку. — Собака не

медведь, и твоей пули хватит. Ведь ты не можешь промахнуться!

— В том-то и дело, что собака, а не медведь, — озабоченно ответил Сарбаев. — Прыгает, рыскает — не угадаешь. К тому же и далековато, они ведь по той стороне поляны пройдут.

— Джума! — шепнул Ефим и зашел за толстый ствол березы. — Смотри, они! Те, что поезд подорвали!

Сарбаев и сам уже увидел группу людей, быстро пробиравшихся по опушке с противоположной стороны поляны, по тому самому месту, откуда только что пришел его отряд. Их было пятеро. Все в старой, заношенной красноармейской форме. Четверо несли на самодельных носилках раненого или убитого. Они с винтовками. И только пятый, шедший позади и все время тревожно оглядывавшийся, был с автоматом.

— Да-а... — сочувственно сказал Сарбаев. — Им не отбиться с таким вооружением!

— Может, вместе с ними занять оборону? — сказал Ефим.

— У них раненый. Пусть уходят. Попробуем отвлечь погоню на себя. Неужели не разделаемся с этими собаками?

— Смотря сколько там двуногих собак! — качнул головой Ефим.

— Им покажется, что нас много, если начнут стрелять не те, за кем они гонятся. Две винтовки надо перенести вперед, в конец поляны, и ударить в лоб. Пошли Синькова и Сашу.

Ефим, несмотря на кажущуюся неповоротливость, очень быстро сбегал к дереву, за которым залегли два стрелка, и, передав приказание командира, вернулся.

— Хорошо бы переброситься словцом с ребятами, — с трудом переводя дыхание, кивнул Ефим на пятерых, которые уже прошли мимо, не подозревая о готовящейся поддержке.

— И сам думаю, — ответил Сарбаев, — да слышишь, близко скулит, сволота. Если бой не затянется, мы их догоним. А в случае чего, ты один побежишь к ним, уговоришься о встрече. Сам назначишь место. Только насчет численности отряда ты... того... лучше прибавь. Может, перейдут к нам, их мало.

— А вдруг у них где-нибудь большой отряд?

— Ну, значит, мы к ним. Это не позор. Особенно если у них опытный командир.

«Гу-аф! Аф! Аф!» — вырвался на поляну хриплый и остервенелый лай. За собакой вприпрыжку бежал немец.

— И лает-то по-фашистски! — поднимая винтовку, промолвил Сарбаев.

Но не успел он взять пса на мушку, как раздался винтовочный выстрел. Выстрелил один из красноармейцев, несших раненого. Перезарядив винтовку, он снова взялся за носилки.

Пес взвыл, но еще быстрее устремился по следу. Лаял он теперь не так громко, но все злее и яростнее. Теперь его снова не было видно. Он бежал лесом.

«Умно уходят ребята! — оценил Сарбаев. — На поляну выходили специально, чтобы своим следом выманить собаку на открытое место и убить. Жаль, промазал стрелок».

Совсем близко, на скрещении следов двух отрядов, пес опять залаял на весь лес. Вероятно, увидел наконец тех, кого преследовал.

«Собака — друг человека!— скептически подумал Джума, спокойно поднимая винтовку. — Друг... А гонится за человеком так, словно хочет проглотить его живьем. Нет уж! Собака становится тем, кем ее делают люди, — другом или смертельным врагом!»

На мушку выскочила огромная, взъерошенная, как голодный волк, овчарка. Уши черные, навостренные. Глаза горят раскаленным стеклом. И вдруг она словно сорвалась в очередном яростном прыжке и распласталась, не тявкнув. Тут же упал ведший ее на поводу немец-автоматчик. Поляну раскололи почти одновременно два выстрела.

— Ты был так уверен во мне, что стрелял сразу в немца, — дружелюбно покосился Джума на Сибиряка.

— Что, он был один? — удивленно спросил Ефим.

— Нет, Ефим! — озабоченно качнул головой Сарбаев и кивнул туда, где уже ясно слышались шаги еще не видимых людей.— Беги! Что бы тут ни творилось, беги к тем ребятам. — Джума крепко обнял его и толкнул: — Ну!

Ефим растерянно развел руками: как же бросить отряд?..

— Здесь может случиться всякое, Ефим! — сказал Джума сурово. — Пес лаял не на красноармейцев, он подавал сигнал немцам, которые пошли в обход.

— Ух ты! — схватился за винтовку Ефим. — И верно. Не дураки же они — идти следом. Тогда жалко, что мы здесь не всем отрядом.

— Наоборот, хорошо. Там и мины и оружие. Если что... сами будут действовать. Чугуев возглавит. Люди соберутся.

— Да, это так... Это верно, — согласился Ефим.

— Детей берегите. — И как-то неловко, совсем тихо добавил: — Ну и Элю не давай в обиду...

Ефим подал свою огромную, крепкую руку.

Не успели они распроститься, как над поляной рванул дробный, словно барабанный бой, стук двух пулеметов. Стреляли совсем близко, с противоположной стороны поляны. Ясно было, что палят немцы туда, откуда раздалось два партизанских выстрела, убивших собаку и проводника.

«Пока что бьют вслепую, прочищают лес», — понял Сарбаев и рукой дал знак своим не подниматься и не отстреливаться, чтоб не обнаруживать себя.

Пулеметная стрельба на поляне стала еще яростней, еще беспощадней. Там, где несколько минут назад зеленели густые ольховые кусты, теперь у самой земли торчали белые ободранные пулями ветки. Взорвалась граната, потом еще и еще. Немцы, видно, задались целью скосить кустарник — единственное прикрытие партизан. Сейчас закончат эту смертоносную косьбу и выйдут на поляну.

Сарбаев был прав: из лесу выбежали немецкие автоматчики и, стреляя на ходу, бросились вдоль опушки к партизанам.

— Огонь! — яростно крикнул Сарбаев и выстрелил в офицера, который вел автоматчиков.

Загремели дружные залпы партизан. Офицер упал, попадали и солдаты и быстро поползли в лес. Однако четверо из них остались лежать на поляне.

Теперь, когда Сарбаев знал, где немцы, он решил ударить по ним с тыла и, взмахнув рукой, повел группу лесом, в обход поляны.

А немецкие пулеметы неистовствовали, рубили кустарник там, где уже не было партизан. Низко пригнувшись, с винтовкой наперевес, Сарбаев бежал на стук пулемета. За огромным пнем он увидел немца в каске, стреляющего из станкового пулемета. Лежавший рядом второй солдат подавал ленту.

Сарбаев оглянулся, кивнул Кастусю, бежавшему за ним, и они поползли к пулеметчикам. А те стреляли с каким-то неистовым упоением. Выпустят ленту, посмотрят в ревущий, гогочущий лес и, наверное вообразив, что под их пулями снопами валятся партизаны, шпарят опять.

Сарбаев и Кастусь, подползшие к ним сзади, выстрелили одновременно. Пулемет утих, но лишь на минуту. Сарбаев развернул его и ударил вдоль опушки, где залегли гитлеровцы.

— Ганс! Доннерветтер! — заорали оттуда, видимо думая, что пулеметчик Ганс, увлекшись, взял неверный прицел.

Но когда по опушке открыли огонь все партизаны, гитлеровцы поняли, что это не ошибка Ганса, и повернули оружие против отряда. Завязался яростный бой.

Немцев было не меньше взвода, в несколько раз больше, чем партизан, и они стали полукольцом охватывать отряд Сарбаева. Джума, решив отходить, приказал Кастусю и Вологодцу тащить трофейный пулемет, а сам взмахом руки поднял отряд на перебежку. Но кто-то больно рванул его за руку, словно хотел остановить. Джума упал. Стрельба сплошным штормовым ревом заполнила уши. Кастусь с бледным, растерянным лицом бросился к командиру. И только тут Джума понял, что ранен. Кастусь снял свой ремень и туго перетянул левую руку командира выше локтя, чтобы остановить кровотечение. Быстро поползли в глубь леса, уже не обращая внимания на пулеметный огонь, рвавший землю, крошивший кору и ветви деревьев. Остальные бойцы, видя, что командир ранен, подобрались поближе и ползли кучнее. Заметив, что на жухлой траве за командиром остается кровавый след, Кастусь достал из кармана индивидуальный пакет и сделал перевязку.

— Надо собираться в один кулак. Так будет легче отбиваться, — кивнул Сарбаев товарищам.

— Иного выхода нет, — ответил подползший Гак. — Но найдем ли тех ребят?

— Надо найти! — И Сарбаев повел отряд в чащобу елового леса в том направлении, куда ушел Ефим.

Здесь деревья надежно укрывали партизан от врагов, которые бесновались, ведя яростный пулеметный огонь, бросали гранаты, орали на весь лес, но вперед продвига-

лишь с опаской. Стрельба и крики все больше отставали от партизан, теперь бежавших уже во весь рост.

Лес становился гуще, темней. Сосняк сменился ельником, все чаще стали попадаться поляны, поросшие ольхой. Наконец и еловый бор кончился, пошел густой невысокий ольшаник вперемежку с лозняком — явный признак близости болота.

Вдруг из лозняка послышалось громкое:

— Кастусь! Джума!

Сарбаев, узнав голос Сибиряка, отозвался:

— Ефим! Не ранен? Где подрывники?

— Все здесь! — ответил Ефим. — Товарищ Сарбаев, сюда!

В зарослях лозняка Сарбаев увидел шапку Ефима, потом и его самого возле группы красноармейцев, к которым он был недавно послан. Двое стояли с винтовками. А другие хлопотали возле носилок, на которых лежал раненый. Увидев Сарбаева, раненый вдруг рывком приподнялся и крикнул:

— Сарбаев! Джума! Ты? Ах, дружище!

Джума узнал голос полковника Стародуба. Подбежал к носилкам:

— Павел Прокофьевич!

Он опустился к нему, обхватил обеими руками, словно хотел поднять вместе с носилками.

— Что с вами? Снова ранило? В ту же ногу?

— Нет. Старая рана открылась, — с доброй, отеческой улыбкой глядя на Джуму, сказал Стародуб. — Бежали мы после взрыва. Я неловко упал и повредил рану. Осколок-то в мякоти оставался. Зажило, видно, только сверху...

— Павел Прокофьевич! — воскликнул Джума, забыв от радости все на свете. — Рану вылечим! У нас теперь врач... Самое главное, что вы живы. Я не находил себе покоя, когда потерял вас...

— Вот и встретились. — Полковник хитро прищурился. — А ты молодец, молодец! Я давно хотел познакомиться со знаменитым партизанским командиром Сергеем Зимой, за которого враги сулят такую огромную плату. И уж порадовался, когда твой Ефим рассказал, что это ты и есть.

Джума все смотрел на такое знакомое и дорогое лицо, словно хотел убедиться, что не ошибся. Нет. Те же светлые, добрые и умные глаза. Те же тонкие, густые брови,

нависающие над глазами. Только теперь в них стало больше седины. Острый нос от худобы заострился больше прежнего, да ямка на угластом волевом подбородке углубилась еще больше и словно бы почернела.

Немецкий пулемет прострочил совсем близко.

— Берите носилки! — скомандовал Сарбаев. — Пулеметчики! Один вперед, другой позади. Кастусь — со мною. Остальные в боковое охранение. Ефим, Саша — в разведку. Идите впереди, в полукилометре. Если нарветесь на засаду, уходите без выстрелов.

— Да, ввязываться в бой нам теперь невыгодно, — заметил Синьков. — Только бы оторваться.

Но оторваться отряду от немцев не удалось.

Уходя от стрельбы, которая теперь приближалась с трех сторон, объединенный отряд углублялся в поросшее кустарником болото.

Без собаки немцы шли вслепую. Но к ним, судя по усиливающемуся огню, все время прибывали новые силы. Линия облавы расширялась, постепенно затягивая в мертвую петлю всю окрестность.

Теперь у партизан был только один путь — через болото. А оно становилось все более топким, труднопроходимым. Кустарник редел и наконец совсем кончился. Перед отрядом открылась широкая, до самого горизонта, чистая и, несмотря на осень, ярко-зеленая равнина. Лишь кое-где на ней виднелись островки, покрытые лозняком да ольшаником, еще не обронившими желтой листвы.

— Топь, — упавшим голосом определил Вологодец. — Непроходимый мертвый зыбун.

— Еще скажешь о смерти, выгоню из отряда! — зло бросил Сарбаев.

— Товарищ командир, я не виноват — эдакие непролазные болота у нас на севере исстари так и называют, — оправдывался Вологодец.

Сарбаев спросил Кастуся, ходят ли здесь по таким болотам люди.

— Но. Ходят, товарищ командир! — ответил Кастусь. — Вон стожок сена, значит, косари на том островке были. Даже совсем недавно — стожок еще свежий, дождем не прибитый.

— Как же они оттуда сено берут?

— На санях возят, когда болото промерзнет. А когда удастся гнилая зима, то сено там так и сопреет.

— А как пробрались туда с косами да граблями? — пробуя ногой зеленую, податливо качающуюся зыбь, спросил Сарбаев.

— Так вот же я и хочу найти кладку, — озабоченно осматривая берег, отвечал паренек. — Товарищ командир, вы стойте тут, а я немного пробегу.

— Беги! — Сарбаев не совсем понимал смысл слова «кладка», но догадывался, что оно означает. Да и выбора не было.

Стрельба позади становилась гуще, ближе. Уже слышались зычные выкрики немецких командиров.

«Видно, они-то знают местность. У них — карта. Вот и загнали нас в трясину», — думал Джума, глядя вслед убегающему Кастусю. Вот он круто повернул и побежал по болоту. Остановившись метрах в тридцати от берега, крикнул:

— Кладка! Товарищ командир, кладка!

Сарбаев махнул ему, чтобы бежал до самого острова. А тем временем подтянулся и весь отряд.

Балансируя руками, словно канатоходец, Кастусь бежал по невидимой издали кладке. Лишь подойдя вплотную к тому месту, откуда паренек начал свой путь, Сарбаев увидел тропу косарей — затопленные рыжей жижей жердочки, проложенные одна за другой по болоту.

Конечно же, Кастусь получил бы первую пулю, если бы немцы к этому времени вышли из леса. Но, видимо, враги прочищали чащобу тщательно и осторожно, ожидая партизанскую засаду за каждым кустом.

— Меня волнует вот что — на остров заберемся, а оттуда уж возврата нам не будет, — сказал Сарбаев подошедшему Синькову.

— Зато и фашиста ни одного не подпустим к себе, — сурово ответил Синьков. — Пока будем живы, не подпустим!

— Пока будем живы... — с расстановкой повторил Сарбаев. — Правильно, Игорь. Окопаемся. И будем эту тропку держать на прицеле.

— Да можно и тропку-то убрать. Кто пойдет последним, потянет за собой жердь, передаст тем, кто впереди. Так всю дорогу унесем с собою на остров. А новую пусть попробуют построить, пока у нас есть патроны!

Глядя на спасительную тропку, Сарбаев прищурил левый глаз и тихо процедил:

— Они-то могут и не делать кладки, с воздуха достанут. Или притащут миномет и смешают этот островок с грязью.

— А что ж делать? — развел руками Синьков.

— Идти на остров, больше некуда, — ответил Сарбаев, прислушиваясь к тому, что творилось в лесу,

XII

Немцы с окриками, посвистами и все нарастающей стрельбой приближались к болоту.

— Как на волков идут — с шумом и гамом! — заметил Ефим.

— Это они нас отпугивают, чтоб не напороться на засаду, — ответил ему первым подошедший автоматчик из нового отряда, высокий, очень спокойный, с голубоватым от истощения лицом. — В лесу они воевать не любят.

— Как по жердочке командира понесем? — спросил Ефим, шедший в четверке с носилками.

Вернулся Кастусь, и Сарбаев спросил его, как же быть с носилками. Паренек не растерялся. Он выдернул из болота две палки, на которые никто, кроме него, не обратил внимания.

— Каждый пусть возьмет себе такую палку с рогулькой, — он показал на тонкий раздвоенный конец палки, похожий на козье копытце. — На такую палку можно надежно опираться, а носилки понесем мы с Ефимом. Я сейчас всем по палке вырежу.

И Кастусь исчез в кустарнике. Вернулся он неожиданно быстро с палками для всего отряда. Сам он, взявшись обеими руками за носилки, направился по кладке без палки. А Ефиму пришлось один шест носилок подвязать к ремню, чтобы свободной рукой держать палку.

Сарбаев бросил большую валежину возле кладки и встал на нее, пропуская мимо себя отряд. Он держал винтовку наизготовку и зорко осматривал опушку: если вдруг высунется из лесу немец, его надо снять одним выстрелом. Пока отряд переходит на остров, перестрелку затевать нельзя. Враги могут по одному перебить всех партизан, растянувшихся цепочкой и не имеющих возможности залечь.

Последними шли Игнатий Запорожец с Вологодцем. Пройдя одну жердь кладки, они с огромным трудом выта-

щили ее из черного, засасывающего болотного месива и передали вперед. Тяжелая, облепленная скользкой жижей, разбухшая лесина пошла по рукам в сторону острова и была брошена в трясину. За ней — другая, третья. Важно было разобрать кладку хотя бы до половины пути.

Солнце склонилось над орущим, стреляющим лесом, когда партизаны выбрались на остров и стали занимать оборону.

Случай с собакой научил немцев. Из леса они не высовывались, хотя по крикам и стрельбе слышно было, что приблизились к болоту вплотную.

Как только зашло солнце, стрельба смолкла. На немецкой стороне вспыхнули костры, по которым партизаны проследили всю линию вражеского расположения.

В стороне от кладки, среди старых порубок ольшаника партизаны окопались и установили пулемет. Отсюда будет видно, если немцы попытаются восстановить кладку. А пока пулемет работает, врагам по болоту пробраться не удастся. Остальные бойцы окопались в кустарнике по берегу. И только раненого унесли на противоположный конец острова, подальше от прямого вражеского огня.

Организовав оборону, Сарбаев пошел к раненому командиру полка.

Стародуб лежал в густом лозняке на мягкой подстилке из травы и смотрел в холодное зеленеющее небо. Когда увидел склонившееся над ним лицо казаха, грустно улыбнулся:

— Обуза я для отряда, Джума...

— Что вы говорите, товарищ командир! — остановил его Джума.

— Командир теперь ты, товарищ лейтенант. — И, немного помолчав, Стародуб добавил: — Сергей Зима... Боль проклятая... Даже шевельнуться не могу. Фельдшер, который лечил меня, вытаскивать осколок не решился. Рана заросла, я и пошел... И вот упал некстати... Немцы притихли?

Когда Сарбаев утвердительно кивнул, полковник уверенно сказал:

— Больше они палить не будут, постараются выманить из мышеловки всякими хитростями. Мы им нужны живыми.

— Фашисты платят и за убитых партизан. Правда, наполовину дешевле, — заметил Джума.

— Дело не в этом, — возразил Стародуб. — Мне говорил один подпольщик, что немцы уже перестали верить полицаям. Те приспособились мертвых беженцев да беглых пленных выдавать за партизан. В одном только нашем районе уже убито три Сергея Зимы и за всех получены награды. Так что немцам теперь нужен настоящий партизан, а главное — живой, чтобы через него узнать путь к другим.

— Да, вы правы. Я тоже слышал, что Сергея Зиму поймали и расстреляли на месте, — сказал Джума.

— Ну, а что делать будем? Они загнали нас в непроходимое болото.

— У нас есть местный парень, Кастусь. Он пытался пробраться по болоту к следующему острову. Не удалось. Зыбь непроходимая. Кладки не держатся.— Сарбаев говорил тихо, спокойно, однако в голосе его Стародуб уловил встревоженность. — Теперь он плетет из лозы болотные лыжи.

— Когда сплетет лыжи, пусть покажет мне. А пока слушай, как меня спасли. Тебе это нужно знать, потому что это сделали надежные люди, которые нам еще пригодятся. Село называется Вишневичи. Запомни фамилию — Грушовицкий Федор Харитонович. Сам он уже старый, ему за восемьдесят. Но, если ты назовешь мою фамилию и скажешь, откуда меня знаешь, он сведет тебя со своим сыном, Кириллом. Это партийный работник, оставленный по спецзаданию в тылу.

— И такие есть?! — обрадовался Джума.

— Есть. Есть все, вплоть до подпольного ЦК Белоруссии. Видимо, много людей оставлено для борьбы в тылу врага. Свяжемся с ними, как только выберемся отсюда.

— Если выберемся, — тяжело вздохнул Джума.

— Спартак был в худшем положении, а выбрался!

— Помню, они лестницы сделали из виноградной лозы и спустились с окруженной врагами скалы.

— Найдем и мы такие лестницы... Что-нибудь придумаем, если не выручат лыжи. Ну так слушай...

И полковник не спеша, с большими паузами, рассказал обо всем, что с ним произошло, когда Джума ушел за хлебом и не вернулся.

Кирилл Грушовицкий нашел его под березой без сознания. Вместе с отцом Кирилл перенес совершенно беспомощного полковника в шалаш, где скрывались бывший

председатель сельсовета и два красноармейца, залечившие свои раны. Деревенский фельдшер вернул Стародуба к жизни. К скрывавшимся прибились еще два бойца-сапера. Решили вместе пробиваться к своим. В лесу нашли взрывчатку, саперы не дали пропасть добру, заминировали путь и пустили под откос эшелон с боеприпасами и военной техникой.

Стародуб посмотрел на Сарбаева откровенно и доверчиво и сознался, что он тогда думал только о том, чтобы подорвать поезд, а там — хоть земля расколись.

Джума понимал его. Он тихо сказал, что, может, и не обидно отдать жизнь за такую диверсию, но лучше остаться жить, чтобы еще и еще бить фашистов.

— Если бы не эта нога, мы бы ушли, — винил себя полковник. — Ребята провозились с перевязкой, с носилками. А главное — в суматохе забыли, что делать в случае погони с собаками. На пути попадались ручьи. Можно было замести следы... Выходит, Джума, ты еще раз меня спас. В неоплатном долгу я перед тобой.

— Нет, Павел Прокофьевич! Мы все теперь одинаковые должники только перед Родиной. — Джума встал и начал нервно ходить. — Скажите, Павел Прокофьевич, кроме шести известных нам органов чувств у человека есть еще какой-то скрытый, пока что неизвестный?

— Это ты к чему?

И Сарбаев рассказал, как ему до смертельной тоски хотелось перед уходом отряда в другой район обойти все села и еще раз поискать полковника.

— Вот ведь послушайся я своего порыва, побродп еще по лесу, может, и наткнулся бы на тот шалаш. Не пришлось бы вам столько пережить.

— Все хорошо, что хорошо кончается. А насчет особого чувства, так я тоже думал об этом не раз. По-моему, человек еще очень многого не знает о себе, особенно о своих способностях предчувствовать, предвидеть... — Сказав это, Стародуб стал расспрашивать, как Джума сумел организовать такой дружный отряд.

Сарбаев коротко рассказал и спросил, правильно ли поступил, что решил не пробираться к фронту, а воевать здесь, в тылу.

— Чем труднее будет немцам в тылу, тем больше им достанется от наших на фронте! — ответил Стародуб.

— Немцам на фронте и так не сладко. На днях Совинформбюро сообщало, что фашисты жалуются то на бездорожье, то на большие расстояния и только ими оправдывают свое долгостояние перед Москвой.

— Откуда ты знаешь? Есть приемник? — Стародуб приподнялся. Но тут же сморщился, закрыл глаза и попросил Джуму рассказать все, что известно о последних событиях на фронте.

Сарбаев начал припоминать сводки. Но полковник остановил его на рассказе о подвиге отделения лейтенанта Румянцева.

— Вот видишь, шестьдесят вражеских танков окружили отделение наших бойцов, а красноармейцы сумели разорвать кольцо!

— Да они не только вырвались из окружения, но и подбили двенадцать танков, — уточнил Джума.

— Твои бойцы знают об этом?

— А думаете, почему они так спокойны? Они и о Ростове знают.

— Но я не знаю. А что в Ростове?

— Наши выгнали фашистов и закрепились. Нормальную жизнь городу вернули.

— Нет, нет! Нельзя мне долго залеживаться со своей ногой! — И Стародуб рассказал о том, что в блиндаже, рядом с его КП, в первый день войны взрывной волной засыпало станковый пулемет и с полсотни ящиков с патронами. — В нашем положении это целое богатство! Надо скорее забрать эти боеприпасы и начинать борьбу...

Всю ночь немцы постреливали трассирующими пулями. Над островом длинными цепочками тянулись «красные осы». И партизаны шутили: «Немцы думают, что у нас нет спичек, вот и присвечивают». В лесу партизаны насчитали до десятка костров. Но вскоре поняли, что немцев возле них нет. Видно, они сидели в засаде, надеясь выманить партизан. А те и не думали уходить с острова прежним путем. Все мысли их были направлены на восток, где простиралось неведомое тряское болото, за которым днем они видели лес.

«Лыжники» вернулись с болота грязные с ног до головы и смертельно усталые. «Лыжи» не оправдали надежд. Через несколько шагов ивовые плетенки так облипали вязкой свинцово-тяжелой грязью, что двигаться вперед становилось невозможно.

Кастусь называл эту часть болота ржавой. На нем ничего не растет и даже лягушки не водятся. Будь оно заросшее ряской, как то, по которому прошли, тогда еще можно было бы пробраться, а в ржавом — никакой травы, никаких корнесплетений, сплошное смрадное месиво.

Немцы, видно, узнали об этом от местных жителей и потому спокойно расположились на опушке леса, поджидая, пока партизаны сами начнут возвращаться с острова.

Восхода солнца партизаны ждали в тягостном молчании. Было ясно, что утром враги предпримут что-то решительное. Но что именно, никто не мог и предположить.

Сарбаев сидел возле Стародуба. Они уже в который раз обсуждали все известные им способы передвижения по болоту.

Бойцы, окопавшиеся за ночь на линии обороны, всматривались в таинственно примолкшую утром опушку леса, где засели враги.

И только Ефим занимался хозяйством — готовил завтрак. Он варил похлебку из хлебных крошек. Кормил он партизан в два приема. Бойцы, которые занимали переднюю линию обороны, позавтракали еще затемно, чтобы не демаскировать себя. А теперь Ефим готовил завтрак для остальных. Очаг он устроил в глубокой яме, вырытой по совету Сарбаева. Даже ночью немцы не могли увидеть огня из такого очага. А днем, чтоб не привлекать внимания к дыму, решили только слегка поддерживать костер самым сухим хворостом.

Восходящее солнце залило пожелтевший лозняк и окрестные болота мягким, наверное, последним в эту осень теплом и светом. В лозняке беззаботно пели птицы. Мирно, спокойно летали пчелы, пользовались последним теплом. У них не было войны, они знай себе трудились.

Позавтракавшие Василий и Кастусь сидели возле «штаба», как называли то место, где лежал Стародуб, молча слушали беседу двух командиров, которые время от времени обращались за советом и к ним, как знатокам болот.

Говорили тихо, с долгими паузами: прислушивались к тому, что делалось там, на опушке леса, чтобы не упустить момент наступления.

— Русские, сдавайтесь! — вдруг зычно и отчетливо, словно гром с ясного неба, обрушился на остров голос.

— Вон с чего начали, сволочи, с агитации! — выругался Стародуб и сказал Сарбаеву, чтобы он шел к бойцам.

— Хорошо, я побежал, товарищ командир, — все же по-старому обратившись к полковнику, сказал Джума и направился к «передовой».

На краю опушки, в том месте, где вчера лежала первая жердь кладки, белел какой-то предмет, выброшенный немцами, видимо, еще ночью. Сарбаев внимательно присматривался к этому предмету из своего окопчика, отрытого за высоким корневищем ольхового куста.

— Русские! — опять донеслось с вражеской стороны.

Сарбаев тут же понял, что за предмет белеет на опушке, — громкоговоритель.

— Мы не хотим вашей смерти! — по-русски выкрикивал какой-то наймит. — Вы мужественные люди, а немецкое командование умеет ценить отважных солдат. Переходите к нам. Вы получите работу. А снайпер, который попал в глаз бегущей собаке, будет у нас наравне с героями рейха.

Русские солдаты! Сдавайтесь, и мы даруем вам свободу и жизнь. Мы не торопим вас. Но не изнуряйте себя понапрасну. Мы сами поможем вам выбраться с острова. У нас готов завтрак. Есть коньяк. Переходите!..

— Совсем неплохо, — обращаясь к Сарбаеву, заметил Синьков из соседнего окопа, где он с Сашей Зуевым сидел за пулеметом.

— Рус... — опять начал было громкоговоритель и умолк.

Над островом прогремел винтовочный выстрел. Это выстрелил Джума. Белый громкоговоритель исчез.

Видно, выстрел вызвал замешательство у немцев. Там долго молчали. Наконец с опушки леса послышался голос, уже не усиленный громкоговорителем:

— Снайпер у вас замечательный, попал в десятку! Но все равно вам придется сдаться! На что вы надеетесь?!

— На солнышко! — ответил Сарбаев громко. — Солнышко пригреет, болото высохнет, и мы уйдем!

Пулеметчики одобрительно засмеялись. Да и на той стороне через некоторое время зашумели — видно, немцам перевели ответ партизана.

— Снайпер! — взывал все тот же голос. — Зря себя губишь. Подумай. Даем тебе два часа.

— До ночи они смешают нас с грязью, — сказал Василий. — Нужно им из-за нас торчать здесь!

— Опять ты заныл, Хуторок! — оборвал его Джума. — За немцами смотри лучше!

XIII

Ровно в двенадцать немцы исполнили свое обещание, открыли такую стрельбу, что пули неслись над островом сплошной огненной метелью, срезая и кроша верхушки лозняка. Густой куст ольхи, за которым был окопчик Сарбаева, срезало, словно осоку на кочке. Немцы мстили снайперу за уничтоженный громкоговоритель.

Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Установилась тишина. Наконец, когда время перевалило далеко за полдень и ветер донес до осажденного острова запах варева, которое немцы готовили себе на ужин, опять раздался голос в громкоговорителе, установленном теперь уже скрытно:

— Русские, вы голодны. Зачем зря мучаетесь? У вас есть раненый, наш врач окажет ему помощь.

На этот раз немцам никто не отвечал, хотя они время от времени продолжали уговаривать и грозить.

А солнце шло к закату. К вечеру стало заволакивать лозняки густым болотным туманом. Первые сутки осады кончились ничем. Ефим почти из ничего состряпал ужин и накормил отряд. На этот раз его похлебка была вдвое жиже утренней. Вместо кусочков сала в ней плавала какая-то трава.

Сарбаев и Ефим подсчитали запасы еды. Оставалось полбуханки хлеба, три кусочка сахара и горсть соли.

Соль сразу же спрятали подальше, чтоб и не соблазняться. Голодному нельзя давать соленого, чтоб не опился и не начал отекать.

Сахар отдали раненому, убедив, что всем досталось по стольку же. Под тем же предлогом отрезали ему и кусок хлеба.

Ночью все партизаны, кроме дозорных, собрались в «штаб» на совет.

Стародуб спросил, кто видел, как делается плетень. Кастусь тут же заявил, что он это дело знает.

Кастусь с первого знакомства понравился полковнику.

Чем-то он напоминал ему старшего сына. Те же добродушие и постоянная готовность что-то делать для других, чем-то помогать.

Присутствие Кастуся будто приближало к Стародубу его сыновей, о которых он ничего не знал. Поэтому он особенно тепло относился к этому пареньку.

— Тогда за дело, ребята. Сплетем себе... — он даже пошутил, — «тропинку жизни», — и рассказал, что задумал.

Расстояние до следующего острова — метров пятьсот. Если лыжи шириной в каких-то тридцать и длиной в пятьдесят сантиметров все же держали на болоте человека, то плетень в метр шириной будет надежной тропкой даже для тех, кто понесет носилки.

Стародуб с горечью сознавал, что стал тяжелой обузой. Но он понимал, что товарищи не уйдут с острова, если не найдут способа вынести его.

Мысль о плетне показалась настолько реальной, что бойцы зашевелились, весело загомонили. И один из них предложил немедленно идти резать лозу, а учиться делать плетень на ходу.

— Пусть Кастусь нам покажет, как плести, и дело пойдет, — сказал коренной горожанин Синьков.

Тут же зашелестел, затрещал лозняк. Партизаны резали, ломали, откручивали длинные толстые лозины. Вскоре Кастусь принес образец плетня, который было невозможно разорвать.

— Делайте щиты метра по три длиной, не больше. А то трудно будет выстилать, — заметил Стародуб. — Ну, Джумабай, теперь моли немецкого бога, чтоб дал нам еще денек.

— Так мы за ночь смастерим этот плетень! — горячо воскликнул Сарбаев.

— Но днем не пойдешь по нему. Думаешь, они не просматривают болото, отделяющее нас от следующего острова?

— Следят наверняка. Ночью прожектор несколько раз шастал в той стороне.

— То-то же. Ну, иди к ребятам. Теперь особенно зорко следи за кладкой, чтоб немцы за ночь не проложили ее где-нибудь в другом месте. Они ведь могут выгнать деревенских мужиков на работу.

— Верно! Двойной расчет: мужики и тропу проложат, и стрелять в них не станут партизаны, — ответил Сарбаев и пошел проверять посты.

Немцы в эту ночь не стреляли, — видно, все еще надеялись взять осажденных измором.

Плести щиты было не так легко, как показалось сначала. В отряде не было топора. Лозу резали ножами, а их было всего лишь три: одна финка, кухонный с узеньким, давно не точенным лезвием и маленький перочинный, о котором Ефим сказал, что им только жаб накалывать. Лоза нужна была самая толстая, ее бы топором рубить, а не резать ножами, которые вскоре затупились так, что и не резали, и не пилили.

К полуночи партизаны поняли, что самое трудное в их деле — заготовка лозы. Руки у всех были натерты до крови. Но работали по-прежнему яростно, ожесточенно.

Утром, когда немцы опять завели свою «шарманку», начали агитировать и уговаривать, к заготовителям лозы прибежал запыхавшийся от радости Сарбаев.

— Давайте ножи, точило нашел!

Этому сообщению обрадовались не меньше, чем если бы узнали, что немцы совсем ушли и путь свободен. Острый нож был сейчас главной мечтой лозорезов.

— Товарищ командир, так лучше мы сюда точило притащим, — заметил один из бойцов.

— Это валун величиной с копну. Он весь в земле, и только небольшая макушка сверху, — ответил Сарбаев. — Давайте ножи, я наточу, а вы отдохните. Ефим, готовь завтрак, искроши половину хлеба. Первыми накорми лозорезов. — Видя, что Ефим как-то нерешительно мнется, Джума с тревогой спросил: — Что, хлеб кончился?

— Да нет, — почесывая в затылке, ответил Ефим. — Я просто хотел к хлебу что-нибудь приложить, да не знаю, как товарищи...

— А что ты тут можешь придумать? — безнадежно махнул Сарбаев. — Грибов тут нет, рыбы тоже. Ну, травки вчерашней прибавляй, только с Кастусем советуйся, чтоб не попалась ядовитая.

— Я насчет французского кушанья... — Ефим осекся.

Несколько пар глаз уставились на него удивленно и даже зло.

— Я когда-то пробовал обжаренные на костре ножки лягушки...

Кастусь гневно сплюнул и брезгливо отшатнулся от Сибиряка, с которым так подружился.

Сарбаев не был брезгливым и, пожалуй, не отказался бы попробовать французский деликатес. Но понял, что предложение Ефима было воспринято как нечто постыдное, граничащее с предательством или добровольной сдачей в плен. Поэтому он твердо ответил:

— Нет уж, мы не будем подражать голодным наполеоновским солдатам.

Досталось Ефиму во время нехитрого завтрака. Его называли то мосье, то еще как-нибудь на французский лад. Хорошо, что шутки Сибиряк воспринимал, как медведь обстрел горохом.

После завтрака с новым рвением взялись за дело. Теперь на резке лозы управлялись двое — Джума и Ефим, а остальные занялись плетнем.

— Ну, француз, нажмем! — подмигнул Джума и больше к вопросу о лягушках не возвращался.

Немцы к обеду зашевелились. Они еще раз предупредили по радио, что не желают гибели русских героев и особенно снайпера, но закончили свою речь угрозой в тринадцать ноль-ноль все живое на острове уничтожить.

Сарбаев пошел за советом к Стародубу. Узнав о том, как идут дела с плетнем, Стародуб заговорил тихо, с расстановкой: ему было хуже, чем вчера.

— Надо во что бы то ни стало оттянуть атаку. Врите что угодно. Обещайте сдаться к вечеру. Только бы дотянуть до ночи.

— У меня такая мысль, Павел Прокофьевич, — заговорил Сарбаев, чтобы дать больному отдышаться. — Выйду к ним на переговоры.

— Только не ты! — возразил Стародуб.

— Ну хорошо, пойдет Ефим. У него голос как иерихонская труба, — согласился Джума. — Он скажет, что мы решили сменить перевязки раненым и готовиться к возвращению с острова на милость победителей. Для пущей убедительности попросим их не стрелять, если разведем костер, чтобы нагреть воды для промывания ран.

— Убедительно, — согласно кивнул Стародуб.

— А костер разведем в дальнем конце острова, где никого у нас нет. Если не поверят, начнут стрелять по костру, ну и пусть палят.

— Если они к назначенному часу начнут нервничать, можете даже вывесить белый флаг...

— И будто бы начать восстанавливать кладку, — закончил Сарбаев. — В общем, попробуем протянуть до вечера.

Не дожидаясь назначенного немцами часа, Сарбаев послал Ефима на переговоры. Повесив на палку белую рубашку, Ефим вышел к тому месту, где была кладка, и окликнул немцев.

Те тоже выслали своего парламентера. Переговаривались, а вернее, перекрикивались через болото они долго, потому что Ефим по каждому вопросу советовался с замаскировавшимся позади Сарбаевым. Да и немецкий переводчик, видно, отвечал не сам, тоже прислушивался к голосу командира.

Немцы предлагали проложить свою кладку к острову. Но партизаны отклонили помощь под тем предлогом, что им это сделать легче, поскольку у них под руками готовые жерди.

Немцы назначили последние переговоры на шестнадцать часов.

Вскоре на осажденном острове задымил костер. А партизаны с еще большим напряжением продолжали делать плетневые щиты. Сарбаев послал к ним даже пулеметчиков и стрелка, просидевших ночь в засаде. В окопе за пулеметом теперь сидел Ефим. А Сарбаев опять пошел к полковнику на совет...

Было без четверти шестнадцать, когда на немецкой стороне заметили сигнализацию зеркальцем с осажденного острова. Немец, наблюдавший за островом, заметил, что зеркальце поблескивает с определенной закономерностью, и догадался, что это азбука Морзе. Он доложил начальству, и вскоре в его окоп прибежал переводчик, который стал записывать то, что сигнализировало зеркальце.

Кто-то из партизан сообщал, что он втайне от своего начальства хочет вступить в сговор с немцами, если они потом сохранят ему жизнь. В знак того, что сигнал его получен, он просил ровно в шестнадцать вместо обычного «Русские солдаты» сказать по радио: «Партизаны».

Немцы так и сделали. В шестнадцать ноль-ноль с немецкой точностью заговорило радио.

— Партизаны! Мы боимся за судьбу вашего раненого товарища. Ведь у вас нет никаких медикаментов. Немедленно решайте вопрос о переходе к нам, и мы спасем вашего больного, а вас хорошо накормим.

«Когда птичку ловят, ей ласково поют», — мысленно отвечал на это Ефим, наблюдавший за противником.

Немцы уговаривали, ублажали, грозили.

А зеркальце сообщило:

«Не верьте брехне нашего политрука. Он просто тянет время, не хочет, чтоб мы сдавались. А мы вторые сутки голодны. Мы с ним расправимся сегодня ночью и перейдем к вам. Сигналом будет костер, который мы зажжем в два часа ночи. Согласие сигнализируйте по радио словами: «Завтра вы умрете от голода».

Немцы оперативно вставили эти слова пароля в конец своего выступления по радио. И видимо, для острастки дали несколько пулеметных очередей в сторону острова, но на этот раз стреляли выше обычного.

Сарбаев пришел к Стародубу усталый, разбитый. Молча вернул командиру портсигар с зеркально гладкой крышкой и сел поодаль.

— Ну, поверили? — так и рванулся к нему раненый.

— Сыграл! — мотнул головой Сарбаев. — Даже на сцене такой подлой роли не стал бы играть, хоть и любил самодеятельность.

Стародуб после длительного молчания сказал сурово:

— Да, видимо, даже для артиста роль предателя — дело нелегкое.

— Теперь бы в баню, отмыться, отпариться, — словно не слыша того, что говорил командир, с тоской сказал Джума.

Немцы поверили «предательскому» сигналу. Время, нужное для спасения отряда, было выиграно.

После жаркого дня туман над болотами поднялся сразу же, как зашло солнце. И партизаны тотчас поволокли первый щит на болото. Когда положили первый плетень и понесли по нему второй, оказалось, что плетень хорошо держит человека, идущего даже с тяжестью. Значит, носилки с раненым пройдут! А это было главной заботой всего отряда.

В двенадцать часов Кастусь и Ефим уже несли раненого на носилках из двух удлиненных шестов. Рассчитали, что, чем длиннее носилки и чем дальше друг от друга

идут бойцы, несущие их, тем меньше будет вдавливаться плетеная дорога.

К тому времени, когда на острове должен был вспыхнуть костер, сигнал для немцев, Сарбаев снял пулеметчика с поста и они последними покинули остров. С огромным трудом им удалось утащить на болото десяток первых щитов, чтобы в случае погони немцы не смогли найти дорогу, построенную партизанами.

Светало, небо на востоке прохладно зеленело, когда отряд дошел до конца незнакомого острова и остановился возле речушки.

— Кто умеет хорошо плавать и руками держать тяжесть? — спросил Сарбаев. — Вчетвером сумеем вплавь перенести носилки так, чтобы не намочить раненого?

— Сумеем, — сказал Кастусь уверенно и объяснил, как это делается.

Нужно зацепить носилки веревкой и одному быстро тянуть с того берега, а тем, кто поплывет рядом с раненым, достаточно будет только немного поддерживать снизу носилки, и они заскользят по воде, как лодка.

— Только нужно быстро тянуть, — еще раз повторил Кастусь.

Тут же скрутили из лозы веревку — близкая свобода делала людей сильными, находчивыми, решительными.

Наконец все разделись и вошли в воду. Одежду и оружие тоже перетащили способом, предложенным Кастусем для переправки носилок.

Вскоре и речка осталась позади, так же как и остров, и болото с немцами на берегу, которые впустую подняли ураганную стрельбу. Партизаны вошли в сухой смешанный лес, где было тихо и тепло. Остановились возле носилок, опущенных на траву. Посмотрели друг на друга. Обнялись все сразу. И так стояли несколько минут, словно молча давали боевую суровую клятву.

Лодка подплывала к знакомому месту. Джума сидел на носу и внимательно смотрел на деревья по правому берегу, искал приметную ольху, за которой нужно повернуть направо, чтобы причалить против лагеря. По мере приближения к нему Сарбаев чувствовал, что во рту сохнет, как в жаркий день, и он неотрывно думает о воспитательнице, оставшейся в этой глуши с осиротевшими

детьми. Бледная, стройная и молчаливая, стоит она на берегу и ждет его...

«Неужели влюбился?» — подумал Джума и улыбнулся.

Вот она, старая, наклонившаяся к воде ольшина с зеленой бородой мха под нижней веткой. По знаку Сарбаева лодка круто завернула вправо и, прошуршав по чахлому камышу, уткнулась в торфянистый берег.

Сарбаев выскочил на берег и тут же услышал над самым ухом:

— Стой! Стрелять буду!

И хотя голос был явно детский, Джума невольно схватился за пистолет. Но тут же увидел Авдейчика, стоявшего в дупле старой выгнившей вербы. Мальчишка приветливо улыбнулся.

Сарбаева встретил Чугуев, обнял его, расцеловал и шутливо доложил:

— Излечение закончил! Готов идти на любое задание!

Лагеря Сарбаев не узнал. Со стороны реки было повалено еще несколько огромных берез и елей, создававших надежный барьер. А за ним одна за другой бойко выглядывали из земли маленькими оконцами три землянки, сделанные по всем правилам строительства таких жилищ. Крыша каждой землянки была обложена дерном и сливалась с землей, покрытой травой. Эти убогонькие жилища выдавали только оконца, поставленные прямо над землей, да двери, тоже до половины скрытые в земле. Даже дымоходы были сверху замаскированы опрокинутыми корявыми корепьями.

— Когда ж это вы успели построить? — удивился Сарбаев. — А окна, двери откуда?

— Когда лили сильные дожди, дядя Чугуев плавал куда-то на лодке и привез. Даже кирпичей достал для печки из покинутого дома, — рассказывал Авдейчик.

«Да. Батальонный комиссар молодец!» — подумал Сарбаев и вдруг остановился в растерянности.

Из ближней землянки выбежала Эля в сопровождении ребятишек.

Мальчишки ухватились за Сарбаева, как за родного. А Эля смотрела на него, не скрывая своей радости. На несмелое приветствие Сарбаева девушка прошептала:

— Хорошо. Ой, как хорошо, что вернулись... — подошла и подала руку. — Джюма...

Джума обрадовался, что лицо девушки, в котором недавно не было ни кровинки, заалело, оживилось. Он, как и в первый раз, поздоровался с нею по-казахски, двумя руками. Хотелось хоть немного поговорить с девушкой. Но из землянки выходили партизаны, направляясь к нему. Среди них были и незнакомые.

— Откуда столько людей? — спросил Джума, неохотно выпуская руку девушки, теплую и мягкую, как неоперившийся птенец.

— Тут недалеко жили красноармейцы, в палатке! Их нашел капитан Орлов, когда шел сюда, — отвечала Эля, глядя в глаза Джумы так внимательно, будто что-то хотела узнать. — Капитан завтра собирался идти вам на выручку. Я с ним тоже пошла бы.

— Спасибо, что не забывали, — тихо поблагодарил Сарбаев.

— Джума, а вы за это время пережили что-то очень тяжелое! А почему постриглись наголо?

— Потом расскажу. Идемте к речке, там раненый, тот самый полковник, с которым я бежал из Волковска.

Элю как ветром подхватило, она метнулась к берегу, где бойцы выносили из лодки носилки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



XIV

Шли дни за днями, а Стародуб не поднимался. Застарелая рана плохо заживала. Партизаны ходили на боевые дела, а он оставался в лагере.

Наступили холода. Лужицы по утрам покрывались тонким хрусталем. И Стародуб стал опасаться, что до морозов не успеют забрать оружие и боеприпасы, присыпанные землей в его блиндаже. А когда земля промерзнет, да еще и снегом покроется, искать будет труднее. И вот в одно холодное утро, когда дыхание приближающейся зимы стало особенно явственным, он с помощью Гака и Джумы вышел из землянки и сказал, что надо готовиться к походу.

— Правильно! — обрадовался Джума. — Вы нарисуйте план окопов, я плохо помню, где был ваш КП, и мы с Андреем найдем.

— Клад графа Монте-Кристо был воп в каком тайнике, и то разыскали. А на своей земле найдем! — уверенно заметил Андрей Гак.

— Сокровища графа Монте-Кристо охранялись только морскими прибоями да чайками. А этот клад может оказаться под гусеницами фашистских танков, — возразил полковник. — Он в ста метрах от казарм полка. А в казармах наверняка расположились немцы.

— Вполне возможно, — кивнул Сарбаев. — И все-таки мы пойдем без вас, дайте только подробный план.

— Нет, я сам буду искать.

— Тогда это будет не скоро, а зима на носу.

— Но ведь несколько дней мы будем пробираться туда на лодках. На воздухе я быстрее поправлюсь.

— Это рискованно, — заметил Сарбаев. — Рана серьезная, так скоро не заживет.

Сарбаеву и Гаку неожиданно помог капитан Орлов. Убедившись, что из-за близорукости он в походе часто становится обузой товарищам, капитан занялся тем, в чем он был незаменим, — делал мины из неразорвавшихся снарядов и бомб, которые приносили партизаны, а попутно принимал радиосводки.

Сейчас он подошел торжественный и взволнованный.

— Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы! — подражая диктору, громко начал он чтение сводки. — Поражение немецких войск на подступах к Москве.

Все встали, как, бывало, вставали во время пения «Интернационала».

Сводка была большая, но ее слушали затаив дыхание, радуясь каждому слову об освобождении городов и сел Московской области, о трофеях, о бегстве кичливых завоевателей.

Когда капитан кончил читать, Стародуб растроганно пожал ему руку, словно во всех событиях под Москвой была заслуга именно его, капитана Орлова.

— Прочтите всему отряду и пустите сводку по рукам, пусть люди все это обдумают, прочувствуют. А мы, что ж... я вам все начерчу и расскажу. Вы правы, откладывать нельзя ни на час. Нельзя!

В землянке они устроились за «робинзоновским столом», как называли топором отесанный горбыль, укрепленный на двух кольях.

— Хотелось бы, конечно, пробиться за линию фронта, к своим, и воевать по-настоящему, как нас учили и как учили мы своих бойцов, — снова заговорил полковник, видимо о том, что наболело. — Но приходится перестраиваться на ходу. Будем воевать здесь. Вылазка «шабашников», диверсии на дороге и мелкие стычки с врагом убедили меня в том, что в тылу противника даже малой силой можно делать большие дела. Забирайте боеприпасы. По пути узнавайте о настроении мирных жителей. Если есть желающие бить фашистов, вооружайте, может, даже своего командира оставьте им, если у них нет военного человека. Пусть начинают. А я тут постараюсь установить связь с подпольщиками, которые помогли мне. Кого бы послать к леснику, о котором я говорил тебе, Джума?

— Да кого ж? Кастуся! — не задумываясь, ответил Сарбаев.

Полковник удивленно посмотрел на него. Джума понял его и сразу же поправился:

— Да, ведь он местный, его могут узнать, и тогда погибнет отец.

— Хорошо, когда человек сам себя поправляет! — добродушно кивнул Стародуб.

— Лучше уж нашего врача, Марию Степановну, — предложил Чугуев.

— Евгений Тихонович прав, — согласился с батальонным комиссаром Стародуб. — Ну, это мы с ним тут проверием, пока будем выздоравливать.— Он пристально по-

смотрел сначала на Сарбаева, потом на Гака и, словно решившись на что-то такое, чего не хотел делать, сказал:— Есть у меня и личная просьба к вам, только к вам двоим.

— Говорите, товарищ полковник, все сделаем, — с готовностью сказал Андрей.

— В блиндаже, где я находился в первый день войны, когда пришел ко мне Джума, закопано знамя полка. Может, вам удастся его найти.

— Почему же вы молчали раньше?! — так и вскипел Джума.

— Пока бродили безоружными, было не до того. А теперь оно может помочь нам...

Сарбаев понимал, как много значили эти два слова «знамя полка» для людей, скитающихся по земле, захваченной врагом. И он решил, что не успокоится, пока не найдет его.

С рассветом партизаны на трех лодках отправились вниз по реке, которая еще не покрылась льдом: торфянистые берега сдерживали ее замерзание.

Взяли с собой Элю. Каждый раз, когда отряд или группа отправлялась на задание, просилась и она. Но ей отказывали, потому что подрыв поездов или другая серьезная вылазка могла закончиться боем с фашистами или облавой. Этот поход считали хотя и далеким, но менее опасным, и ее взяли санитаркой. «Пусть сходит, узнает, какова она — партизанская жизнь», — рассудил Сарбаев. Троих ее воспитанников уже пристроили в селах у надежных людей. Остальные поправляются и тоже скоро перейдут в села.

На опушке леса мела колючая стремительная поземка. В кустарнике было тише, но не теплей. Приходилось пританцовывать, переминаться с ноги на ногу и дыханием согревать руки. Сарбаев и Гак стояли в ельничке, рассматривали в бинокль село, казармы в километре от села и развороченную землю в стороне от казарм — место, где были окопы. Были. Но где они начинались и где кончались, попробуй теперь узнать. На месте боя взорвалось множество бомб и снарядов. Подбитые танки, по которым Андрей смог бы восстановить расположение позиций, немцы, видимо, увезли на переплавку. Партизаны не раз видели поезда, везущие на запад всякий металлолом. Приметным остался только перелесок, клином вдававшийся в

оборону полка. По нему-то Сарбаев и Гак узнали место, где был командирский блиндаж. Теперь надо было придумать, как подойти к нему,— казармы действительно оказались занятыми фашистами. За полдня Сарбаев насчитал двенадцать немецких солдат, которые слонялись возле крайней казармы. А ровно в час дня из села показался целый взвод, шедший по проселочной дороге к казармам. По форме Сарбаев никак не мог определить, какого рода войск эти солдаты. Вооружены они были автоматами. Только командир шел с пистолетом на боку.

Взвод еще был далеко, а обе двери крайней казармы раскрылись настежь.

— Непонятно, — только и сказал Джума, передавая бинокль Гаку.

Но долго Андрею не пришлось пользоваться биноклем. Немцы на ходу разделились на две группы, вошли в открытые двери казармы и вскоре стали выводить оттуда оседланных лошадей.

— Кавалеристы! — вскрикнул Сарбаев и, выхватив бинокль, прилип к окулярам. — Откуда у немцев буланый конь?! Ведь это дончак! Эх, нам бы таких!

Гак с доброй улыбкой сказал:

— Ты смотришь на них голодным волком!

— Сейчас бы вскочить на того буланого с белыми копытами, саблю в руку и... — отвечал Джума, не скрывая волнения.

— Да-а, представляю, чтобы ты творил, если б тебя в степь во главе кавалерийского отряда пустить по тем местам, где Щорс водил свои полки! — явно любуясь своим командиром и другом, промолвил Андрей Макарович.

— Не было бы фашистам покоя ни днем ни ночью! — услышали они у себя за спиной и резко обернулись.

Рядом стояла Эля с солдатским котелком в руке и узелком с едой.

— Меня послали с чаем. Поешьте немножко. Вы с самого ранку...

— Что за чай? — сердито бросил Джума. — Разводили костер?

— Ребята нашли глубокую яму в лесу, дыма не было видно, — пояснила Эля, понимая, что именно беспокоит командира. — А согреться вам надо обязательно!

— Сюда бы еще ресторанный столик! — Но тут же Сарбаев приставил бинокль к глазам и, как болельщик на ипподроме, возбужденно заговорил: — Смотрите, смотрите, как он скачет! Вот это конь!

— Да они-то скачут здорово, — ответил Гак, подавая Сарбаеву кусок хлеба с салом и жестяную кружку чаю.— А как будем скакать от них мы, если не сумеем подойти бесшумно?

— Никакого шума, конечно! — отрезал Сарбаев. — Вот ведь Эля подкралась, и не заметили. — И, передав девушке бинокль, он взял кружку с чаем. — Смотрите, Эльжбета Яновна, и считайте лошадей и солдат.

— Сорок два коня, солдат с ефрейторами тридцать шесть, — быстро сосчитала девушка. — Почему они кружатся на месте, а никуда не едут?

— Разминка. Коню, как и человеку, требуется ежедневная зарядка, — ответил Джума и стал рассказывать девушке то, что знал о конях.

Андрей нарочно медлил с чаепитием. Он понимал, что значила Эля для Джумы, хотя и не подавал вида.

Вскоре немцы завели лошадей в конюшню, а сами, зябко поеживаясь, возвратились в казарму.

Сарбаев отослал Элю к отряду с приказом больше не устраивать никакой самодеятельности. И все же Эля ушла уверенная, что поступила правильно.

Ночь выдалась холодная, ветреная и, на счастье партизан, мглистая. В такую ночь можно подойти к часовому вплотную — не заметит.

Джума мечтательно сказал, что хорошо бы, после того как найдут оружие и знамя, выкрасть лошадей. Снять часовых, в окна казармы бросить по гранате, а уж потом без помехи вывести лошадей.

— Не стоит гнаться за двумя зайцами! — возразил Синьков, к голосу которого Сарбаев всегда прислушивался. — Сделаем главное, а там будет видно. Конечно, на лошадях больше могли бы увезти боеприпасов. Но...

— Ладно, не будем загадывать! — согласился Джума, хотя в душе от своей мечты не отказался.

К окопам партизаны подошли, когда немец протрубил отбой.

— У них и труба-то лает по-собачьи, — прошептал Ефим, в боевой обстановке всегда шедший рядом с командиром.

После отбоя в казарме, где раньше была каптерка, сразу же погасли огни. Остался один, видно у дежурного. В снежной мгле этот огонек чуть желтел тусклым размытым пятном. Сарбаев долго стоял впереди отряда, присматривался, прислушивался. Наконец сказал Ефиму:

— Бери одного бойца и леском подкрадись к казарме. Пока мы тут будем искать, ты подержи на мушке часового, а твой напарник пусть остается по эту сторону казармы на всякий случай, для связи. Закончим, я пошлю за вами, или Вологодец волком завоет, у него это здорово получается...

— А кого взять с собой, товарищ командир? — спросил Ефим.

— Да возьми, пожалуй, Элю. С нами ей нельзя, там могут быть мины и всякая чертовщина.

Ефим вернулся к отряду, стоявшему в кустарнике. Молча положив руку на плечо Эли, увел ее с собой. Когда вошли в березнячок, Ефим шепотом объяснил задачу. Эля благодарно пожала ему руку и спросила, нельзя ли ей следить за часовым.

— Там не подойдешь так близко, чтоб можно было метнуть кинжал, — шутливым тоном объяснил Ефим, вспомнив, как метко, на зависть всему отряду, эта хрупкая девушка бросает кинжал.

— Вы правы, — кивнула Эля, примирившись со скромной ролью связного, ждущего сигнала командира.

В лесочек, возле жилой казармы, вошли бесшумно. Элю Ефим оставил за толстой сосной. А сам прошел вперед, присел за пнем и, держа винтовку наизготовку, стал следить за часовым. Эля прижалась к старому дереву и смотрела в снежную мглу, где остался отряд. Чтобы определить, сколько они тут стоят, девушка считала до шестидесяти. Казалось, прошла целая вечность, а Эля насчитала только десять минут. За это время даже ветер повернул, стал дуть прямо в лицо, и теперь она боялась, что не услышит ничего, кроме тоскливого шума ветра в ветвях сосны над головой...

Отряд разделился на две группы: Синьков с тремя бойцами остался в охранении, а командир с основной частью отряда пошел к окопам.

На местности Сарбаев сразу вспомнил расположение блиндажа Стародуба. Подозвав двух бойцов, он показал, где начинать копать.

— А по плану, мне кажется, копать надо вон там,— сказал Вологодец, кивнув на бугорок, гладко заметенный снегом.

Сарбаев удивился этому предположению. Но, видя, как уверенно Василий настаивает на своем, разрешил ему одному копать там, где тот считает правильным, а сюда подозвал других.

— Учти, что лопат не хватает. Как устанешь, отдашь свою кому-нибудь, — сказал он Василию.

Всем, кому не хватило лопат, Сарбаев приказал залечь в сторонке на случай, если чья-то лопатка наткнется на мину или на невзорвавшийся снаряд.

Когда командирский блиндаж был очищен от засыпавшей его земли, Сарбаев сам спустился в него, чтобы сориентироваться, как попасть в отсек с боеприпасами. Но здесь все стенки были твердыми, не поддавались нажиму руки. Постучал в стенку черенком лопаты. Пониже. Земля вдруг осыпалась. Ударил еще и еще. Стало ясно, что земля здесь была когда-то разрыхлена. Ее спрессовало сильной взрывной волной. Сарбаев передал лопату Запорожцу и всех, у кого были лопаты, позвал в этот отсек.

— Товарищ командир, ящики! — раздался возглас одного из бойцов.

— Какие ящики? — спросил Сарбаев.

— Цинковые коробки с патронами, — уточнил боец.

— Пулемет! — еще более восторженно доложил второй боец. — «Максим»!

Сарбаев приказал передавать все найденное по цепочке в лес, под охрану Синькова. И когда из окопа одну за другой стали выбрасывать тяжелые коробки, Джума начал искать нишу, в которой спрятано знамя. Он обстукивал прикладом автомата стенку блиндажа, перед которой когда-то стоял полковник Стародуб. На метр влево и вправо спрессованная веками земля была твердой и гулкой. Наконец в одном месте под ударом приклада раздался глухой, мягкий звук. Выхватив лопату у бойца, Сарбаев стал лихорадочно вкапываться в мягкую стенку, где открывалась ниша. Выгреб всю землю, какая легко поддавалась лопате, но ничего не нашел. Ниша шириной в полметра уходила в стенку на длину всей руки и там вдруг проваливалась. В тревоге запустив руку в нишу, Сарбаев нащупал плащ-палатку.

Крепко ухватившись за край плащ-палатки, рывком вытащил сверток. Развернув, нащупал мягкий шелк знамени и шепотом позвал Запорожца.

— Игнат, просьба к тебе большая... — с волнением в голосе, тихо заговорил он, — спрячь это себе за пазуху и немедленно уходи к Синькову. Если что тут и случится, ты должен вернуться в наш лагерь и отдать находку полковнику Стародубу. Это знамя полка.

— Знамя? — изумленно переспросил Запорожец и тут же спрятал находку.

Более двадцати оцинкованных коробок с винтовочными патронами перешло уже в руки партизан, находившихся в лесочке. Этого было достаточно, чтобы нагрузить отряд до предела. Но в блиндаже нашлись еще и автоматные диски.

— Там еще много? — спросил Сарбаев у бойцов, подававших наверх ящики.

— Чертова прорва!

Сарбаев приказал наскоро засыпать оставшиеся в блиндаже боеприпасы и отходить. «Может, когда-нибудь удастся забрать и остальные», — подумал он.

Когда уже все выбрались из блиндажа и потянулись чернеющей на фоне снега цепочкой, Сарбаев увидел одного бойца, все еще копошившегося возле блиндажа.

— Кто там остался? — окликнул Сарбаев. — Отходить!

— Товарищ командир, здесь еще пулемет! — послышался горячий шепот.

Сарбаев узнал Сашу Зуева.

— Саша, бросай! Всего не заберешь! Уходим.

Но вдруг над Сашей плеснуло огнем. Раздался оглушительный взрыв. Сарбаева обсыпало землей. Он тут же отряхнулся и бросился на помощь Зуеву. Но на том месте, где только что Саша Зуев копошился со своей находкой, дымилась огромная воронка. Сарбаев все же подбежал к воронке, на что-то еще надеясь. И тут в растерянности остановился, снял шапку.

— Товарищ командир, что случилось? — послышался тревожный голос подбежавшего Синькова.

— Саша Зуев... — сказал Сарбаев, держа в одной руке шапку, а в другой автомат.

Возле казармы раздался винтовочный выстрел. Но он не дошел до сознания Сарбаева, потрясенного гибелью юного бойца.

Лишь когда ударил немецкий пулемет, Сарбаев быстро направился к перелеску, на ходу спрашивая Синькова, все ли в сборе.

Эля, как ни напрягала слух, условного сигнала не слышала. А когда прошло больше часа, начала беспокоиться. Вечерняя поземка переходила в метель, а лесной шум — в какой-то сплошной рокот, за которым невозможно было бы услышать даже громкого крика, не только волчьего воя, которым Вологодец должен их позвать. Выждав, когда часовой ушел к противоположному углу казармы, Эля подбежала к Ефиму и шепотом сказала, что надо подождать еще минут десять, а потом она сходит к окопам, узнает, что там делается. Ефим сердито махнул рукой, чтоб возвращалась на свое место.

И в этот момент оба увидели над окопами высокий, как смерч, всплеск пламени и тяжелый, приглушенный метелью взрыв.

Эля и Ефим решили, что весь отряд погиб.

Как только раздался взрыв, немец, дежуривший возле казармы, бабахнул из винтовки. Ефим тут же выстрелил в него.

— Выбегут из казармы, так хоть не будут знать, в какую сторону стрелять, — объяснил он Эле свой поступок.

И действительно, выбежавшие в метель полураздетые фашисты подняли стрельбу по всей поляне перед казармой. Видимо, они сейчас заботились только о том, чтобы не подпустить к казарме неизвестного неприятеля.

Возвращаться к отряду прежним путем было невозможно — все поле и лесная опушка простреливались немцами. Ефим и Эля стояли за толстым стволом дерева, который надежно укрывал их.

— Обойдем казарму, — сказал Ефим, — и встретимся с нашими там, где мы стояли днем. Только надо заткнуть немецкому пулемету глотку. — С этими словами Ефим снял с пояса лимонку и со всего размаха бросил к дверям казармы.

Пулемет, стрелявший до этого без перерыва, умолк: граната взорвалась против дверей казармы. Воспользовавшись затишьем, Эля и Ефим бросились в лес. Но вслед им раздалось несколько винтовочных выстрелов.

Ефим упал, глухо вскрикнув. Эля склонилась над ним и попробовала помочь ему перебраться за большую валежину, где можно было, не боясь пуль, сделать перевязку. Но Ефим, дернув ее за руку, чтоб не поднималась, сам переполз к валежине.

— Вот еще не хватало! — проговорил он с досадой о своем ранении. — Давай туго перетянем плечо и пойдем, пока не началась погоня.

Эля шарфом перетянула плечо Ефима в том месте, где сочилась кровь, и они ползком стали удаляться от казармы, из которой теперь опять беспрерывно стреляли. Вскоре пули перестали посвистывать — партизан отделяло от немцев густолесье. Пока что Ефим и Эля просто уходили в лес, не думая о том, где нужно повернуть, чтобы идти наперерез отряду. Важно было подальше уйти от стреляющих. К тому же они шли по густому лесу, где метель завывала только где-то в вершинах деревьев, а на земле снега почти не было, и следов беглецы не оставляли. Это сейчас им, отбившимся от отряда, казалось самым главным. Своих они потом найдут, лишь бы уйти от врагов.

Желая унести как можно больше боеприпасов, партизаны нагрузились так, что еле передвигали ноги. А нужно было еще добраться до речки, где в двух километрах отсюда стояли лодки.

Вслед им со стороны казарм доносилась все учащающаяся стрельба из автоматов и винтовок.

Сарбаев, как только вывел отряд из-под обстрела, послал Вологодца к Ефиму и Эле, приказав ему вывести их лесом прямо к лодкам.

Выслушав приказ командира, Вологодец передал ему свою коробку с патронами и побежал в сторону казарм.

Но бежал он, пока не скрылся с глаз командира. В метельной темноте сделать это было нетрудно. Остановился за первой же елью и стал слушать.

«Возле казарм шла такая стрельба, что Ефим и Эля оттуда конечно же давно смылись, теперь их не найдешь, — думал он. — Чего же мне зря совать голову под пули? — Он прикинул, сколько времени нужно для того, чтобы сбегать к казармам и обратно. Получалось примерно с полчаса. — Вот через полчаса я и догоню отряд, —

решил он, — а то и тех не найдешь в такой завирухе, и от этих отобьешься».

Немножко еще постояв, он начал потихоньку пробираться вслед за отрядом, прислушиваясь к шорохам кустарника, иногда совсем заглушаемым стрельбой. Боязнь отстать от своих мало-помалу заставила его идти быстрее. А догнал он отряд уже бегом. Запыхавшийся, разгоряченный, он доложил Сарбаеву, что возле дерева, за которым должны были стоять Эля и Ефим, он их не нашел.

— И ты не узнал, что с ними?! — с негодованием воскликнул Джума.

Василий высказал предположение, что они ушли по лесу в ту сторону, куда немцы не стреляли.

— А может, их схватили фашисты? Как ты мог уйти? Ты должен был по следу на снегу найти их!

— Так ведь стрельба какая, товарищ командир, — плаксиво оправдывался Вологодец, — все подчистую косят!

Скрепя сердце Сарбаев вернул ему коробку с патронами. Во всем случившемся он обвинял прежде всего самого себя. Зачем разрешил Эле идти на задание? Зачем послал их к казармам? Что с ними? Ефим находчивый и смелый партизан. Если только живы, он выведет Элю. Уж он-то ее не бросит, не струсит, как Вологодец... В душе росло недоверие и презрение к Вологодцу.

«В трудную минуту этот может подвести отряд», — понял командир, но решил пока что Вологодцу ничего не говорить.

XV

Тяжело нагруженные партизаны шли молча, понуро опустив головы. Коробки с патронами становились все тяжелей. На колеса пулемета, добытого в окопе, налипала грязь. Болото под снегом еще не замерзло. Но отдыхать нельзя, надо как можно скорее уйти от казарм. Настроение у всех было подавленное. Перед глазами стоял Саша Зуев. Неизвестно, что произошло с Ефимом и Элей. Может, живыми попали в руки гитлеровцев. Это еще хуже, чем подорваться на мине или залежавшемся снаряде, как произошло с Сашей. Все были злы на Вологодца, хотя и не говорили ему об этом.

Отряд вел Синьков. А командир с двумя автоматчиками, которые тащили добытый в блиндаже пулемет, прикрывали отход и тоже с трудом волочили облепленные грязью ноги.

Неутомимым казался только проводник отряда Кастусь. Он никогда не шел просто впереди отряда, а то и дело исчезал в лесу, что-то обследовал на бегу и внезапно появлялся перед отрядом с самой неожиданной стороны, так что партизаны говорили:

— Ты ведь только что уходил в ту сторону, а появился совсем с другой!

— Он в лесу, как ветер.

— Леший да и только.

Кастусь ходил не раздвигая веток, а как-то ловко от них уклоняясь. А со стороны казалось, что идет он напролом и ветви сами перед ним расходятся, словно приглашают в свои тайники. Всех удивляло, что шел он очень быстро, но совершенно бесшумно, словно не шел, а филином ширял по лесной чащобе.

Вот и сейчас, с нагрузкой, не меньшей, чем у других, Кастусь то и дело убегал в сторону по лесным зарослям. Наконец догнал Синькова и сообщил, что в сосновом бору появились какие-то подозрительные шорохи. Игорь стал часто останавливаться и прислушиваться. Кастусь оказался прав — слева все явственней слышался шум и топот, словно по лесу бежало стадо. Подгоняемые этим тревожным шумом, партизаны напрягали все силы, напрямик пробираясь по зарослям к реке.

Вдруг сзади резко прострочила автоматная очередь. Синьков догадался, что стреляет кто-то из бойцов, идущих с командиром в прикрытии отряда, и еще больше стал торопить товарищей.

Однако вскоре, в ответ на автоматную очередь партизан, поднялась такая пальба из двух немецких пулеметов, винтовок и автоматов, что лес затрещал, как в пожар. Отряд, казалось, попал в окружение целой воинской части. Все остановились, теснясь вокруг Синькова.

— Вперед, вперед! — послышался голос подбежавшего командира. — Не останавливаться! К лодкам! Левее, в березняк!

Когда пробегали по чистому сосняку, где внизу нет на стволах ветвей и потому видно очень далеко, Синьков заметил в глубине леса немецких кавалеристов, стрелявших

с коня. Игорь круто повернул в березняк, все больше поторапливая товарищей.

Он остановился, пропуская отряд мимо себя. Кастусю приказал идти впереди и в случае, если к лодкам не прорвутся, уходить в болото, недоступное для лошадей. Вбежали в лозняк, где под ногами хлюпала вода. Начиналось прибрежное болото.

— Игнат! — окликнул Сарбаев Запорожца. — Не отставай от Кастуся. Помни, что́ ты несешь...

По стрельбе он предполагал, что уходящий к речке отряд оказался во вражеской подкове. «Значит, немцы не видят лодок, коль гонят прямо к ним», — понял Джума. Пули решетили лозняк, взвизгивали над головой.

«Палят наугад», — подумал Синьков и вдруг упал. Один боец поспешил ему на помощь. Но Игорь отстранил его:

— Ничего, ничего! Просто подвернул ногу. Где командир?

— Я здесь! — отозвался Сарбаев, прикрывавший отряд.

— Вот и хорошо, Джума. Я оступился. Веди отряд сам! — сказал Синьков. — Я сейчас разойдусь... Мне бы палку выломить...

Но тут за спиной он услышал тяжелый храп скачущего коня и крик:

— Рус, сдавай!

Синьков наклонился, будто падая. Но сделал он это для того, чтобы выдернуть чеку из гранаты. Повернувшись, он распрямился и бросил гранату. Взрыв на какое-то время остановил погоню. Пользуясь этим моментом, Синькова подхватили под руки двое партизан и повели за отрядом.

— Давай, давай! — торопил Джума товарищей, оставаясь с Солодовым позади отряда. — Бегом, мы прикроем. Бегом!

Отряд оторвался от преследователей и уже шелестел в камыше у самого берега. Мокрые от пота и растаявшего на одежде снега, партизаны вскочили в лодки, освободились от груза и, приготовив оружие к бою, стали ждать, пока подойдут прикрывающие.

— Чего стоите?! — крикнул подбежавший командир.— Две лодки вперед по правой протоке! Мы на третьей догоним вас!

Кастусь перебросил несколько коробок с патронами в отчалившие лодки и с силой оттолкнул свою лодку от берега. Пулемет установили на последней лодке. Когда немного отплыли, Сарбаев бросил в прибрежный камыш две гранаты.

Неподалеку речка расходилась на два рукава, и это помогло партизанскому каравану удалиться от берега, с которого враги могли обстреливать лодки. Плыли они теперь по незнакомой речке, в противоположную от лагеря сторону.

Пока бежали, Сарбаев все же надеялся увидеть у лодок Ефима и Элю. Но теперь все надежды рухнули. Если Ефим и пытался увести Элю к реке, то перестрелка заставила их изменить курс. Теперь одна надежда: коли живы, то рано или поздно прибьются к лагерю.

— Куда ведет эта речушка? — спросил Сарбаев Кастуся, когда лодки вышли за поворот реки.

— То болотная речка. Ни до какого села она не приведет.

— С одной стороны, это хорошо. Нам в село и не нужно. А с другой... Надо где-то обсушиться. Мокрыми насквозь нельзя долго быть на холодном ветру.

— Теперь только па хутор Анупрея Цьвоха.

— Где это?

— Часа два плыть по протокам. А потом — пешком по болоту.

— Ну что ж, ищи дорогу, Кастусь. А пока время от времени придется согреваться физзарядкой. Иначе закоченеем.

— А кто такой тот хуторянин? — спросил Сарбаев, все еще не доверявший хуторянам.

— Анупрей Цьвох из панщины утек сюда, — пояснил Кастусь, сурово хмуря свои широченные брови. — Был он лучшим охотником у якогось ясновельможного пана. А той пан сглумил его невесту, она от сраму повесилась. Тогда Анупрей пана убил, хоромы его подпалил, а сам забрался на той Волчий кут и сбудовал хату. Советы переманивали его на село — не пошел. Так и живет волком. Только за солью приходит в село, чи там за серянками.

Речка, петлявшая по камышам, становилась все мельче и у́же, а к полудню привела в болото, заросшее лозняком.

— Дальше пойдем пешком, — объявил Кастусь. — Тут болото не глубокое. До колена, не больше. А трясины совсем нету, не утонешь.

— Обрадовал! — зло процедил Синьков.

— Да, опять загнали нас в чертову болотину, — в тон ему пробурчал Вологодец.

— А я бы другое сказал, — внимательно осматривая местность, заметил Сарбаев. — Я бы сказал: опять нас выручает родная природа.

И никто не возразил ему — все понимали, что в другой местности отряду не удалось бы оторваться от кавалеристов.

— У нас, на Ишиме, — продолжал Джума, — от врагов уходили обычно в камыши. В Сибири — тайга прячет людей. А тут вот в болотах отсиживаемся.

До хутора добрались уже затемно и настолько усталые, что не могли даже говорить друг с другом. Без стука отворили дверь и, грязные, пропахшие болотной мразью, ввалились в теплую хату, освещенную помигивающей на шестке лучиной.

Посреди хаты, на неровном земляном полу стоял хозяин — мужик трудно определяемого возраста, с огромной седеющей бородой, копной всклокоченных черных волос, в которых грубыми ячменными остьями тоже поблескивала седина. В зубах у него густо чадила старая замусоленная загогулина из дубового корневища. Он обреченно смотрел себе под ноги, словно ожидал удара.

«Боится!» — понял Сарбаев и виновато сказал:

— Не обессудь, хозяин, грязищи мы тебе натащили.

Мужик поднял голову, с опаской, словно в чужой колодец, заглянул в глаза вооруженного незнакомца и тут же перевел взгляд на другого, стоявшего рядом. Строгие темно-серые глаза хозяина были облохмачены черными с проседью бровями. Смотрел он из-под этих кустистых бровей, как из зарослей лозняка, недоверчиво, но умно. Посмотрел только на двоих, но, видно, понял, что за люди пришли. Ничего не сказал. Взявшись левой рукой за свою чадящую загогулину, прошаркал огромными, широко растоптанными постолами к печке. Подбросил несколько золотистых сосновых чурочек в огонь. Лучина затрещала, зафыркала, пахуче чадя смолкой. Приткнувшись у шестка, где стояла корзинка, хозяин все так же молча начал чистить крупную розоватую картошку.

Медленно, с огромным трудом раздевались партизаны — одежда на них слиплась, задубела.

Сложив в кучу насквозь пропитанную болотным месивом верхнюю одежду, они так же молча расселись на полу и начали разуваться. Это было угнетающее зрелище. Почти все бойцы были в ботинках с обмотками. Липкими от грязи, окостеневшими на холоде пальцами найти узелок обмотки и развязать его стоило неимоверных усилий! А каждому хотелось только одного — спать, спать прямо на земле, где угодно и как угодно. Только бы спать!

— Хозяин, это вы для нас картошку? — спросил Сарбаев.

Молчун перестал чистить и с ножом в одной и картофелиной в другой руке вопросительно уставился на человека, в котором он чувствовал старшего над нежданными гостями.

— Не надо чистить. Варите так! — Считая, что хозяин слов не понял, Сарбаев пояснил и жестами.

— То ж вы — люди, хоть и вылезли из болота, — не вынимая из зубов трубки, ответил хозяин и снова склонился над картошкой. — Паны кормили нас хуже, неж свиней, то так...

— Вы даже не спросили, кто мы такие.

— Ат, разумею, кого теперь может загнать сюда лихо. Таких тут уже перебывало... — не отрываясь от своего дела, ответил хозяин. — Чув, будто и полиция рядится в красноармейское. Да тех сразу видно... От волка и воняет по-волчьи...

Отодвинув на край шестка костерчик из лучины, теперь ярко освещавший комнату, хозяин открыл заслонку и затопил огромную русскую печь. Все так же пыхтя трубкой, взял ведро и пошел за водой.

— Ну и гостей принесли ему черти! — вздохнул вслед молчуну Сарбаев.

— А он рад! — ответил Кастусь.

— Что-то не вижу на его лице особой радости, — качнул головой командир.

— Так у него на лице никогда ничего не бывает. А раз начал сразу чистить бульбу, значит, рад. Пришли бы паны, он с ними и говорить не стал бы.

— Кастусь, разуешься, мой руки и помоги хозяину, а он пусть воды согреет для раненых, раз такой уж госте-

приимный, — распорядился Сарбаев и, сев на порог, тоже стал разуваться.

— Проклятие! — выругался Синьков, которому никак не удавалось развязать затянувшийся мокрый узел обмотки на ушибленной ноге. — Послушался доброго совета, променял сапоги на ботинки, а теперь вот...

— Сапоги твои были бы полны грязи и остались бы в болоте, — заметил Сарбаев. — А ботинки с обмотками по таким дорогам — в самый раз.

Быстро разулся только Кастусь, ходивший в ботинках с портянками, аккуратно обвязанными волосяными оборами *. Все это ему было привычным, обыденным. Ботинкам он даже радовался, потому что обычно ходил в постолах.

— Тьфу, черт подери! — продолжал нервничать Синьков. — Какой дурак выдумал эти обмотки!

Сарбаев разулся и подошел к нему, предлагая свою помощь.

— Здесь только нож поможет, — смутился тот.

— Ничего, Игорек, мы еще в коричневых туфельках да в светлых костюмчиках пройдемся с тобой по асфальтированным улицам Москвы.

—А-а! — отмахнулся Синьков, и смолянисто-черные, густые брови его совсем закрыли глаза. — Фантазер!

— Не веришь? — искренне удивился Сарбаев.

— Ну, знаешь! Тут не до жиру, быть бы живу! — ответил Игорь, лишь на мгновение вскинув свои острые брови. — После войны нам долго будет не до коричневых туфель да белых костюмов!

— Ох, товарищ Синьков, припомню я тебе это! — прищурившись, пригрозил Сарбаев и вдруг сморщился.

— Ты что, ранен? — участливо спросил Гак.

— Царапнуло руку.

— А молчал!

Джума закатал рукав, где ниже локтя куском из подкладки пиджака была перевязана рана, и начал отдирать повязку.

— Что ты делаешь? — остановил его Андрей. — Нужно сначала руки вымыть, достать кипяченой воды, а уж потом браться за рану.

---

* Оборы — крученые шпагатины из конопляного волокна или конского волоса.

В этот момент вернулся хозяин с ведром. Молча, все так же не вынимая изо рта черной трубки, которая, казалось, приросла к его большим зубам, снял с шестка чугунок.

— Тут кипяток. Захолонул немного. Кому надо промыть раны.

— Самый раз, — обрадовался Сарбаев и тепло посмотрел на молчаливого хозяина. — Толя, покажи свою рану.

— Да у меня-то ранка пустяковая, — смутился Анатолий Солодов. — Первому промыть надо вам, товарищ командир.

— Всем надо раны обработать!

Анупрей уважительно посмотрел на Сарбаева, когда его назвали командиром, налил в деревянное корытце воды и положил на скамью засохший, как кусок дубовой коры, обмылок.

Вымыв руки, Гак принялся за рану командира. Снимая заскорузлую, окровавленную повязку, он увидел, что лоб командира, словно оконное стекло в непогоду, покрылся густыми каплями пота.

— Давай, давай, черт подери! — заорал Джума на всю комнату. — Не нежничай, я не ребенок!

— А чего орешь, если не больно? — сняв повязку с черным шматком запекшейся крови, морщась от сострадания, сказал Гак. — Эту дыру чем попало не заткнешь. Дайте воду!

— Не надо воды на рану! — опять заорал Джума. — Йод! В кармане есть пузырек.

— Э-эй, тарарам-па, тарарам-па! — вдруг не своим голосом запел, заорал плясовую Сарбаев, когда залили рану йодом.

Все смотрели на него недоуменно и сочувственно.

Когда рука была забинтована и туго перевязана у предплечья, чтобы не шла кровь, Сарбаев сел за стол и рассказал, почему он вдруг запел от боли.

— Однажды в училище случилась со мною беда. Был я дневальным, убирал комнату и обварился кипятком. Опрокинул кипевший чайник себе на ногу и руку. А был в одних трусах. Выглянул за дверь, окликнул часового, тот вызвал «скорую помощь». В ожидании врача я стал ходить по комнате и размахивать ошпаренной рукой и ногой. Когда размахиваешь, ветерок боль притупляет. Но все равно болит так, что орать хочется. Ну я и начал

орать. А чтоб не что попало кричать, так я пел свою любимую: «Ревела буря, дождь шумел».

И представьте себе, чем громче пою, тем меньше боль. Вот тогда я понял, почему люди плачут или просто орут, когда им больно. За этим пением не услышал даже, как открылась дверь и на пороге появились двое в белых халатах.

— Где тут больной? — спросил первый с медицинским баульчиком в руке.

А я даже ответить не могу, что это я и есть тот, кто им нужен, знай размахиваю и ору: «Сидел Ермак, объятый думой!»

Врач сам увидел мои ожоги.

— Так вы присядьте, больной, — говорит мне, а сам еще и баул не раскрывал.

— Ладно, говорю, вы готовьте свои лекарства, а я еще немножко попою...

Хозяин подал картошку. Он вывалил ее в ночвы — деревянное корытце, занявшее половину стола. Картошка была душистая, крупитчато-рассыпчатая.

— Такой картохи я в жизни не видывал, — сознался Джума и торжественно, всеми пальцами поднял картофелину, которая тут же рассыпалась, так что едва успел подставить ладонь левой руки. — Аа-ах, карто-оха!

Все усердно принялись за картошку, а Гак сперва кивнул командиру:

— Ну-ну, что же дальше!

— А-а-а... — протянул Сарбаев и, только съев еще одну картофелину, продолжил свой рассказ: — Врач собирался написать статью о новом средстве обезболивания. Так, говорит, и назову: «Анестезин «Ревела буря»...»

Удивительно! Только что ушедшие от гитлеровцев, выползшие из болота чуть живыми, люди смеялись, шутили, наслаждались песочно-рассыпчатой картошкой, сухой, но такой ароматной и вкусной.

Хозяин, не вынимая своей привороженной к зубам трубки, вышел в сени и принес кусок сала и огромный каравай черного, в трещинах хлеба. На столе нашелся только маленький свободный уголок, и хозяин начал на нем кромсать большими кусками хлеб и сало. Ко всему этому богатству он добавил несколько луковиц, а потом еще принес из кладовки кадочку с огурцами.

— Ох, хозяин, хозяин! С этого бы и начинал! — воскликнул Сарбаев, готовый обнять хлебосола.

А тот подымил-подымил и опять ушел в кладовку. На этот раз он долго там толокся, чем-то громыхал, что-то переставлял.

— Шрамов после ожога не осталось? — участливо спросил командира Кастусь.

— Глубокий шрам. В сердце. На всю жизнь, — серьезно ответил Джума.

И, видя недоумение товарищей, продолжил свой рассказ.

— С этим ожогом связана любовная история. Вернее, конец ее. — Сарбаев горько улыбнулся. — Дружил я с одной девушкой. Очень она мне нравилась. Мы уже строили планы на будущее. Жила она вдвоем с матерью. Я пришел в дом, увидел, что тут давно нет мужских рук, что-то исправил, что-то починил. А матери даже купил путевку в дом отдыха.

Ошпарился я как раз за день до свидания, когда мы с Нюсей хотели пойти в театр. Ну, мужчина не должен срывать свиданий, что бы с ним ни случилось! Я и приковылял забинтованный. Нюся испуганно посмотрела на меня. Посидели на скамеечке в скверике. В театр с таким она не пошла. На прощанье сказала:

— Выздоравливай. Звони.

И ушла. Я сидел до самой ночи как пришибленный...

— Я бы с такой... и говорить больше не стал! — сердито пробурчал Солодов.

— Вот и я не стал, — ответил Сарбаев. — Наверно, через месяц. случайно встретились на улице.

— Ах, Джума! Чего ж ты не звонишь? Не приходишь? — затараторила она, будто ничего не случилось.

— Зачем? — ответил я и ушел, хотя она казалась мне в то время еще красивее...

Скрипнула дверь. Апупрей внес рамку сотового меда.

— Ну-у, хозяин! — воскликнул Сарбаев. — Такого пира мы и не ожидали и не заслужили. — И он вдруг сник, печально покачал головой. — Да. Не заслужили. Где теперь Эля и Ефим?

Он вышел из-за стола. Высоко закинув голову и заложив руки за спину, начал быстро ходить по комнате, гневный, решительный.

— Мы их найдем! Обязательно найдем. Узнаем у жи-

телей, что случилось с нашими товарищами, и вырвем из любых застенков! Были бы только живы! Только бы живы!

— Отстали? — впервые вынув трубку изо рта, вплотную подошел к нему хозяин.

Сарбаев посмотрел в добрые и такие участливые глаза, прикрытые лохмами бровей, и рассказал об Эле и Ефиме.

Анупрей выслушал молча. Отошел к печи и опять взял трубку в рот. Он подкладывал смолистую лучину в костерчик, пылавший на шестке, и все сильней смоктал свою трубку, смоктал так, будто в ней кончался табак, а на дне было самое вкусное.

Ничего не сказал Анупрей и когда принес соломы и уложил гостей спать.

Как ни утомились бойцы, командир все же решил выставить караул. Первым часовым стал сам, чтоб побеседовать и лучше узнать хозяина. Время такое, что все нужно проверять и перепроверять.

Когда в комнате, тускло освещенной догоревшей лучиной, все утихло, Джума сказал хозяину, что хочет всетаки выйти во двор — послушать, посмотреть.

— Ат, в ночь никто сюда не придет, хоть ты тут околей, — махнул рукой хозяин и, подложив в печурку янтарную коряжину из корневища сосны, следом вышел из хаты.

— Как же вы тут живете в такой глухомани, один, без семьи, без людей? — спросил Сарбаев, когда остановились на середине двора под тихим вызвездившимся небом.

Лицо Анупрея время от времени освещалось вспыхивающим в трубке огоньком. Он гасил его, прикрывая трубку большим узловатым пальцем. Черный заскорузлый палец, видимо, был привычен к огню. Табак потрескивал в трубке. Анупрей долго не отвечал на заданный ему вопрос. Наконец вынул трубку изо рта, всю ее зажал в кулаке и тихо промолвил:

— Ат, живу — что обгорелый пень на болоте. Ни себе ни людям.

— Ну как же, ни людям! Вот ведь нам помогли.

— Э-э, вы другое дело. Вы против панов. Гитлеряка ж тот, проклятый, опять панов возвертает. А вы против панов. Ну, а я, само собой, с панами в особом расчете. То еще издавна у меня...

— Слыхал, что с панами у вас был свой счет. Но говорят, вы с ними расквитались как следует!

— Не! С панов я еще не все получил! — горько вздохнул Анупрей. — У-у, не все!

— И много они вам остались должны?

— Целую жизнь! Почитай целая жизнь осталась за ними. С шести лет пошел на них батрачить за хлеб. От темна до темна пас овечек, а потом и скот. А ни гроша ж не платили, бо маленький. Правда, тумака давали вволю, как большому. И стражник, и лесник, и приказчик, и всякая другая ясновельможная сволота помыкала... — Он умолк, выкурил трубку и только потом продолжил: — А что Галю мою сглумили, так за то и цены не сложишь. От я тут волком прожил десяток годов, то не такая беда. Коб Галя моя все ж таки пришла, то все лихое забылось бы. А она так и не сумела вырваться. Жандармы караулили ее дом, все ждали, что я приду за нею, да схватят меня. А мы ж с нею сговорились сойтись на Волчьем куте. Не удалось ей уйти. Повесилась она с горя. Ну, то и я не стал искать себе никакой удачи. Без счастья и доли все одно где жить — на людях чи то в одиночку. Кто знает, может, от так одному и легче: лучшего не видишь, никому не завидуешь.

Вместо часа Джума отдежурил два. И, разбудив Солодова, уснул на его теплом месте.

Проснулся командир, когда громко хлопнула дверь. В окно светило солнце. На пороге стоял хозяин все так же с трубкой в зубах.

«Неужели я проспал всю ночь! — с упреком самому себе подумал Джума. — А хотел пораньше встать».

— Вояки, что на конях гонялись за вами, то полева жандармерия, — не вынимая трубки из зубов, пробубнил Анупрей и стал стряхивать с лохматой шапки не то дождь, не то растаявший снег. — Раз они жандармы полевые, то и не сумели догнать вас в лесу. Не умеют они по лесу.

Сарбаев улыбнулся, услышав такое толкование, и спросил, откуда он все это узнал. Но Анупрей, не отвечая на вопрос, продолжал:

— Меня когда-то догоняли польские жандармы, так те были настоящие, не полевые, умели по лесу шастать. Два раза догоняли меня и шкуру спускали... Ну от. А про ваших никто ничего... Говорят на селе, будто жандармы

всех партизан потопили в речке. Это слыхал. А про дивчину та хлопца — нигде ничего. — Он виновато развел руками и бросил свою шапку на колышек, вбитый в стену возле порога. — А дивчина красивая была?

— Очень.

— Тогда, значит, немец забрал себе. Они на такое падки. Забрал, собацюга! — И только теперь он устало опустился на порог и стал разуваться.

Когда он снял постолы и размотал мокрые онучи, Сарбаев увидел, что от ног хозяина валит пар, и все понял: этот человек за остаток ночи проделал огромный путь, хотя никто его об этом не просил. Сарбаев встал, оглянулся на спящих товарищей и молча, крепко пожал заскорузлую руку Анупрея. Хотелось поклониться ему низко, до самой земли.

Анупрей смущенно дымил, посмоктывая свою трубку.

XVI

Оттепель, наступившая утром, позволяла надеяться, что снег стает и можно будет вернуться в лагерь, не оставляя следа. Полевая жандармерия, конечно, будет продолжать поиски отряда. Если лошади не пройдут по болоту, немцы могут послать пешую полицию. Так рассуждал Сарбаев. Но Андрей Гак возражал:

— Чего ж они будут искать, если уверены, что всех нас потопили?

— Ты считаешь, что они в этом и на самом деле уверены? — насмешливо спросил Сарбаев.

— Командир прав, — сказал Синьков. — Слух о том, что мы погибли, немцы могли пустить с какой-то целью. Если б они считали нас потонувшими, то не стреляли бы целый час после нашего отплытия.

— Да, может, и без особой цели прихвастнули, что потопили партизан, — заметил Солодов.

— Так или иначе, мы должны возвращаться не той протокой, в которую загнали нас немцы. Или же пойдем по суше, — сказал командир.

Вопрос этот решил Анупрей. Он взялся вывести отряд только ему одному известными водными путями.

Полдня пробирался отряд на лодках по лабиринту болотных проток и речушек и наконец выбрался на свою речку, откуда до лагеря было километров десять.

При расставании Анупрей попросился в отряд. Но Сарбаев убедил его, что он на хуторе нужнее. И не только его отряду, но и другим партизанам, которых будет все больше и больше. Анупрей согласился. Но когда отряд ушел, он так и остался на торфянистом берегу, застыв со своей трубкой в зубах, опять одинокий, опять никому не нужный, издали и на самом деле похожий на старое обгорелое дерево.

— После войны этого человека надо будет к людям перетянуть, в село, — заметил Синьков.

— Правильно. По натуре он совсем не хуторянин. Такие нужны людям...

— Да-а... Ночью смотаться в такую даль на разведку ради загнанных в болото неизвестных людей... надо быть действительно человеком!

Проплывая широкий залив, уходящий в небольшой лесок, партизаны услышали вдруг разорвавший тишину рокот какого-то мощного мотора.

— Что-то невероятное, — напряженно прислушиваясь, сказал Синьков, — но, кажется, танк. Не наш, конечно.

— Рулевой! Заводи лодку в камыши, — приказал Сарбаев Кастусю, сидевшему на корме первой лодки. — Нельзя плыть в лагерь, пока не узнаем, что там за танк.

Лодки зашли в густые заросли камыша. Рокот мотора прекратился. Где-то победно и радостно загоготали гуси. А потом по всей реке резко понеслось кряканье валька — какая-то женщина колотила белье. Стало ясно, что рядом деревня. Но все звуки, доносившиеся из нее, были мирными, не военными.

«Может, гудел танковый мотор, приспособленный для какой-нибудь мельницы или крупорушки», — подумал Джума, уже знавший, что с приходом немцев вернулись в село жернова и другие старые способы обработки зерна.

На разведку пошли одетые в гражданское Кастусь и Синьков. Вернулись они раньше, чем ожидали. Кастусь, запыхавшись, доложил, что в селе немцы на танке, их четверо, машина испортилась и трое лазят под нею, ремонтируют, а один сидит на броне, охраняет.

— Постой-постой, что-то не ясно, — остановил его Сарбаев. — Как могли оказаться немцы на одном только танке в такой глуши?

— Не танк, а бронетранспортер, — спокойно уточнил Синьков. — Мы кустами подошли незаметно к рыбакам,

развешивавшим сети. Там, видно, был рыбацкий колхоз — весь берег в сетях. Один рыбак и говорит другому про немцев:

— Ишь ты, рыбки захотели. А могут и сами попасть в партизанские сети. Если дотемна не исправят, то партизаны их самих, как окуней, зажарят в танке. Тут и броня не спасет.

— Не радуйся, Митро, — ответил другой. — Коли партизаны их перебьют, то худо будет нам, а не партизанам.

— Так они ж за деревней.

— Голова! — рассердился другой. — Они на нашем берегу, а значит, ответ нам держать.

— По-моему, нам этим случаем надо воспользоваться, — обратился Сарбаев к Синькову.

— Если машина одна, то с экипажем расправиться не трудно, — ответил Игорь. — Но сам знаешь, что будет людям, если перебьем немцев прямо в селе...

— Сделаем так, чтоб люди за это не отвечали. Вот теперь и пожалеешь, что в гражданское одеты у нас только четверо. — И Джума рассказал партизанам о своем плане. Но об одном своем намерении, самом важном, он пока умолчал — загад не бывает богат.

Солнце повисло над крышами домов. С речки потянуло туманом. Немцы нервничали, что не ладилось с гусеницей. Нужен был еще один домкрат. А где его тут возьмешь? Обер-лейтенанту, сидевшему на броне и все поторапливавшему водителя, тот ответил, что без второго домкрата он ничего не сделает. Тогда обер-лейтенант позвал двух рыбаков, недавно прошедших к речке и закинувших удочки. Жестами он показал рыбакам, что нужно большое бревно, чтобы помочь механику поднять машину. Один из рыболовов, молодой и здоровый, присел к танкистам, стучавшим под машиной, другой зашел сзади. А тут подошли еще двое.

— Несите бревно вон с той кучи, устроим вагу и поможем поднять заднюю часть, — распорядился смуглолицый — по мнению обер-лейтенанта, не русский человек,— не выпускавший из руки удочки.

Это был Сарбаев.

Кастусь и Солодов, заглядывавшие под машину, бросились за бревном. А Сарбаев по-хозяйски ходил вокруг, прищелкивал языком, сетовал, что случилась такая беда, и все покрикивал несшим бревно «рыбакам»:

— Скорей, что вы как сонные мухи!

— Да, мухи! Это тебе не удилище! — также сердито отвечал Синьков.

— А вам чего тут? — крикнул Сарбаев на собравшихся ребятишек, за которыми тянулись и взрослые. — Марш по домам! Все! Все!

Кастусь и Солодов умело поддержали этот окрик командира: они так развернулись с бревном, что чуть с ног не сбили слишком близко подошедшего мужчину в шляпе, подозрительно присматривавшегося к «рыболовам». К усердию добровольцев обер-лейтенант прибавил и свое, он щелкнул автоматом и сердито крикнул:

— Цурюк!

А Сарбаеву в знак признательности протянул пачку сигарет. И когда тот, взяв одну, хотел вернуть пачку, немец широким жестом приказал раздать всем, кто помогает в ремонте.

Раздавая сигареты, Сарбаев то взглядом, то кивком давал понять, что нужно помочь отремонтировать машину, а потом уже расправляться с немцами. Он и сам начал помогать экипажу. При этом он улучил момент, побежал к сараю за жердью и там шепнул ожидавшему его Андрею Гаку:

— Подойди к ним со стороны села, по-немецки представься командиру учителем. Ты его потом и обезоружишь. Но не раньше как отремонтируют. Сигнал: взять!

— Ясно!

Подбежав с жердью, Сарбаев подсунул ее, куда показал немец, и это сразу облегчило работу экипажа.

В это время огромный лохматый мужик, везший от речки тележку с сеном, выразительно подморгнул Сарбаеву и попросил помочь выкатить тележку па горку. Джума понял, что он хочет что-то ему сказать, и стал подталкивать его тележку одной рукой.

— Скорее убирайтесь, — прошептал мужик, не оглядываясь на своего помощника, — а то вон потрюхал в село староста. Он-то знает, что вы нездешние. Сейчас позвонит в полицию. Это такая скотина, что и тапкой раздавить мало.

Когда тележка оказалась па горке, Сарбаев громко сказал мужику:

— А теперь вы пам помогите с этой машинерией! Давайте принесем вон то бревно, — указал он в сторону са-

рая, все время чувствуя на себе взгляд немца и действуя так, чтобы тот ничего не заподозрил.

Возле сарая, наклонившись к бревну, Сарбаев сказал партизану, стоявшему в ельнике:

— Схватить уходящего в село мужика в шляпе. Будет убегать, пристрелить.

Бревно уже не было нужным, но его принесли, чтоб немец видел, зачем ходили к сараю.

Когда ремонт бронетранспортера закончился, водитель, вылезая из-под машины, облегченно вздохнул:

— Гут!

— Гут! — эхом откликнулся обер-лейтенант и в тот же момент поднял руки под автоматным дулом учителя, который подошел к нему.

Возле каждого немца тоже стояло по автоматчику. Теперь пришли сюда и партизаны, одетые в военную форму. Гак сел в кабину и по-немецки объяснил водителю, что надо на большой скорости промчаться по селам. Остальных немцев связали и уложили в машину.

Конечно, первым делом Сарбаев хотел бы напасть на отряд полевой жандармерии, чтобы освободить Ефима и Элю, если они там.

Но казармы находятся на том берегу, а моста на реке нет.

Мужик, предупредивший партизан о намерении старосты-предателя, рассказал и о положении в соседних селах. Сарбаев наметил маршрут, и машина с партизанами на броне со страшным ревом помчалась по проселочной дороге. В соседнее село ворвались на полной скорости. Перестреляли немцев и полицаев, толпившихся возле комендатуры, и без остановки понеслись дальше, в небольшое село среди леса.

Солнце заходило, и в селе наступал «комендантский час». Окна поспешно завешивались. Возле колодцев никого не было. Да и во дворах прекращалась работа. После заката солнца немцы запретили в селах выходить из дома.

Вдруг окна задребезжали, послышался гул и тяжелый рокот мотора. Люди бросились к окнам, чтобы посмотреть,что происходит на улице.

Староста, сидевший в здании сельской управы, бросился к двери. Но, увидев немецкий бронетранспортер, успокоился, только с досадой подумал, что сейчас пожа-

луют «хозяева» и придется выставлять самогон и закуски. Однако, выйдя на крыльцо, он так и обомлел...

В боевых машинах староста разбирался неважно. Но понял, что машина, мчавшаяся по селу, — немецкая, а едут на ней красноармейцы: над фашистской машиной полощется алое, с золотой бахромой знамя. Освещенные заходящим солнцем, ярко горят буквы: «Пролетарии всех стран!..» По всей улице, как внезапное половодье, разливается песня:

По долинам и по взгорьям...

Трусливо пригнувшись, староста побежал домой. «Надо забирать жену, вещички и — в лес. Это конечно вернулась Красная Армия...»

За селом Сарбаев увидел всадника, скачущего вдоль дороги, по которой мчалась машина.

— Вон уже доносчик помчался в город! — воскликнул Синьков.— Как покажется из-за кустов, дам очередь.— И он поднял автомат.

— Это тот староста, что от речки бежал? — спросил Солодов.

— Того придушили! — возразил Синьков.

Дорога круто поворачивала, на колдобинах машину так раскачивало, что водитель по приказу Гака сбавил ход до самого малого. Урча и окутываясь сизым смрадом, машина шла по заболоченной низине. А когда вырвалась на твердое место и снова стала набирать скорость, из перелеска опять показался всадник на сером коне.

— Э-э-эй! — кричал всадник и размахивал шапкой. — Това-а-рп-щии!

— Не стрелять!— Командир схватил за плечо Синькова, который уже взял на прицел всадника.

— Това-а-ри-и-щи-и! — совсем уже близко слышалось за кустами ольхи.

— Андрей, сбавь ход! — крикнул Сарбаев в открытый люк.

Но в реве мотора его голос, видно, не был услышан. Машина по-прежнему шла на большой скорости. В это время из кустарника наперерез выскочил взмыленный конь, на нем всадник — разлохмаченный парень в красноармейской гимнастерке с петлицами сержанта, с винтовкой за спиной.

Конь вынесся на дорогу, поравнялся с машиной и,

нахлестываемый прутом, стал обгонять ее. Всадник высвободил ноги из стремян и весь подался к машине. Теперь Сарбаев увидел его распаленное скуластое лицо, черные горящие глаза и понял, что это казах или киргиз. Догадавшись, что он хочет с коня переметнуться на машину, Сарбаев изо всех сил заорал в люк:

— Останови!

Машина резко затормозила.

— Наш полк знамя! Сразу узнал! Я узнал, мой комбат узнал! Погнал меня: «Скорей, Ахмет, догони, это свой товарищ!» — задыхаясь от волнения, выпалил сержант, стоя в стременах.

Андрей поднялся из транспортера, взглянул на сержанта и, распростерши руки, закричал:

— Ахмет!

— Андрючка! — Сержант перепрыгнул с коня на броню.

Однополчане обнимались на броне вражеской машины, расспрашивали друг друга, едва успевая отвечать. Наконец Ахмет отстранился, осмотрел Гака с ног до головы и спросил, почему он такой красивый и богатый. Под богатством Ахмет подразумевал автомат, пистолет и лимонки, висевшие на поясе.

— Я теперь партизан, — застенчиво сказал Гак.

— Партизан?! — Ахмет удивленно потряс головой. — А кто командир?

— Вот командир,— Гак указал на Сарбаева.

— Товарищ командир отряда, разреши позвать наши ребята, — обратился к Джуме Ахмет.

— А где они?

Ахмет рассказал, что их взвод под командованием капитана Строгова, бывшего командира стрелкового батальона в дивизии Стародуба, живет в лесу. Сегодня, узнав, что немцы приехали за рыбой, взвод устроил засаду. У них есть гранаты и бутылки с горючей смесью. Хотели бронетранспортер уничтожить, а офицера взять живым. Нужны документы и форма. Ахмет с капитаном сидели на крыше старой мельницы, наблюдали в бинокль за дорогой и тут появилась фашистская машина с алым знаменем. Капитан приказал догнать ее.

— Я быстрее кошки — вниз! Пал на коня и — за вами! Боялся на нашу засаду попадете, — сконфуженно закончил Ахмет.

«Пал на коня!» В этой фразе, которую можно услышать только из уст казаха или киргиза, Сарбаеву почудилось нечто очень родное, степное, теперь такое далекое и нереальное, как сон.

Сарбаев посоветовался с товарищами и решил пойти на встречу с однополчанами.

Промчавшись еще по двум селам, машину загнали в речку, а немцев расстреляли.

И понеслась по хуторам и селам крылатая молва о большой воинской части Красной Армии, которая со знаменем носится по тылам врага то на конях, то на танках и громит фашистов. Все в один голос твердили, что эта часть неуловима и вездесуща, какими были когда-то отряды Котовского или Щорса...

Полицейские раздували эти слухи, чтобы оправдаться перед оккупантами в своей беспомощности перед партизанами.

А советские люди распространяли такие легенды, потому что хотели, чтобы было именно так, чтобы не было захватчикам покоя ни днем ни ночью...

Капитан Строгов показался Джуме очень замкнутым и даже неприветливым. Стройный, худой, он был подчеркнуто опрятным и подтянутым. Правая щека сухого землистого лица была утыкана черновато-зелеными крапинками — следами порохового ожога. Под форменной фуражкой угадывалась большая лысина, окаймленная светло-русыми, видимо совсем недавно подстриженными, волосами. Белесые, выцветшие брови нахмурены, будто человек рассердился или глубоко задумался однажды, да таким и остался навсегда.

Однако за ужином у костра, разложенного в густом смешанном лесу, разговорились. Капитан охотно слушал и рассказывал.

Свой взвод капитан сформировал из бойцов, которые после первых кровавых боев пытались найти свои части. Только несколько человек были из его родного полка. Но после жестоких стычек с врагом собравшиеся из разных частей советские воины сроднились и стали дружным, единым отрядом.

Разгромив немецкий обоз, взвод Строгова захватил много оружия и продовольствия. Красноармейцы органи-

зовали несколько местных партизанских отрядов, снабдили их трофейным оружием. Но еще не решили: воевать здесь или пробиваться к фронту.

Узнав, что в отряде Сарбаева находится командир полка, Строгов решил встретиться с ним, а уж потом видно будет, что делать дальше.

Утром отряд Сарбаева отправился в свой лагерь. С ним пошли два бойца из взвода капитана Строгова.

XVII

Эля изо всех сил поддерживала под руку Ефима. Но он становился все тяжелей и беспомощней и наконец упал, не в состоянии больше подняться. Девушка нашла в его кармане нож, с трудом вырезала две палки. Вспомнив, что деревенские мужики вместо веревок пользуются лыком, она надрала коры с молодой липы и сделала нечто похожее на носилки. Положила на эти носилки раненого, привязала к нему винтовку и волоком потащила по лесу. По траве, припорошенной снегом, Эля свободно двигалась вперед, а по кочкарнику тащить волокушу не хватало сил. Приходилось часто останавливаться и отдыхать.

Стрельба и крики немцев остались позади, но потом они переместились в сторону реки, куда стремилась попасть и Эля. Ее надежда пробраться к лодкам рухнула, пришлось уходить в противоположную от реки сторону. Вскоре она оказалась на болотистом редколесье, где по высокому кочкарнику тянуть волокушу стало совсем непосильно. Эля сделала лямки из двух ремней, снятых с Ефима, и впряглась, как в санки. Время от времени она останавливалась, наклонялась над раненым. Тот метался в горячке. Стонал. Просил пить. Но воды Эля ему не давала, хотя и попадались ручьи. Пока неизвестно, где у него застряла пуля, ни пить, ни есть ему нельзя.

К утру Ефим начал заметно бледнеть, видно потерял много крови. Эля решила найти добрых людей, которые взяли бы раненого на излечение. Таких в деревнях много. Но как идти в деревню, если не знаешь, что там?

Пока она так рассуждала, прислонясь спиной к осине и чувствуя, что не в силах сдвинуться с места, Ефим шевельнулся и чуть слышно опять попросил пить. Болью

в сердце отдалась эта просьба беспомощного человека, и Эля решила: будь что будет, она пойдет в село.

На опушке леса, близ села, Эля остановилась за елкой. Вдруг совсем недалеко, в ольшанике, услышала мирное пофыркиванье бегущего коня. Эля замерла. Мужик на санях, груженных валежником, проехал мимо, не заметив ее.

— Товарищ! — взмолилась Эля, побежав за санями. — Помогите!

Мужик остановил коня. Недоверчиво посмотрел на красивую, по виду городскую девушку, неведомо почему оказавшуюся в лесу.

— Чем тебе помочь?

Она молчала, не решаясь довериться первому встречному.

— Беженка?

— Да.

— Уж больно красива.

— При чем тут моя красота! — вспыхнула Эля, отчего она всегда становилась еще краше.

— Такие нынче не плохо устраиваются и у немцев.

— Торгуют собой?

— Кто как... — уклонился мужик от прямого ответа.

— Счастливого пути! — сердито бросила Эля и, чуть не плача, пошла в ту сторону, где оставила Ефима.

Мужик соскочил с саней, закрутил вожжи за дерево и догнал ее:

— Прости, коли обидел. Враг нынче во всякое рядится. Я и сам держусь на волоске. Но помогу. У нас полиция. Днем в село нельзя. А вечером я тебя проведу огородами домой, жена выдаст за родственницу. Беда только, что уж больно деликатна, не поверят, что наших, мужицких кровей.

— Да что же мне — изуродовать себя, что ли?

Мужик только руками развел: мол, куда ж денешься.

— Дотерпишь до вечера? Я отдам тебе полушубок. — И он решительно стал раздеваться.

— Не надо, не надо! — отказалась Эля. — А почему нужно ждать вечера? — думая только о раненом, говорила девушка. — Прикроете дровами и провезете.

— Да видишь ты, я в село на санях не еду...

— А куда ж везете дрова? — насторожилась Эля, чувствуя, что человек чего-то не договаривает.

Мужик пристально посмотрел ей в глаза и спросил, не оттуда ли она, где стреляют. Эля помолчала, глядя в простое, доброе лицо незнакомца, и вдруг открылась, сказала, что у нее раненый.

— Где? Кто он?

— Кто теперь может быть раненым в лесу?

— Тихо! — Мужик предупредительно поднял руку. — Я понимаю, ты думаешь: верить мне или не верить. Да оно и правильно. Так пойми, если б я был каким-нибудь прихвостнем у фашистов, заманил бы тебя в село и немало получил бы за раненого... партизана. — Он не дал Эле возразить. — А я хочу тебе помочь, поэтому давай увезем твоего друга в Дубче — это глухое местечко. Там живет моя теща, а бургомистром служит бывший торговец. Он в большой дружбе с немцами, но никого из наших еще не продал. Если какая облава или что, так предупредит, но не выдаст.

— Чего это он такой добренький? — Эля недоверчиво сощурила правый глаз, отчего веко под ним нервно задрожало.

Заметив это подрагивание, мужик сочувственно вздохнул:

— Да, вы уже успели хватить и страхов и бед.

А про бургомистра сказал, что не от доброты он так себя ведет, а от хитрости: я, говорит, хочу вместе со всеми вами дожить до конца войны.

— Но эта доброта хороша со своими людьми, а немцам подавай живое мясо, — заметила Эля.

— А он им пушнину вместо мяса, — хитро подмигнул незнакомец. — Немцы на меха очень падки. А бургомистр, по-моему, пушной магазин где-то прибрал к рукам и понемножку одаривает хозяев... Ну, ладно, где раненый?

Вскоре Ефим лежал на санях, со всех сторон замаскированный дровами. Винтовку мужик спрятал под валежиной. С шапки раненого сорвал алую ленту и бережно спрятал в карман.

— С такой штукой все равно, что со звездочкой, в селе теперь нельзя. Я лесник. Зови меня Иваном, — тихо, чтобы не беспокоить раненого, заговорил мужик. — По долгу службы я обязан ездить в лес только днем. А я на каждый выстрел гоню коня и часто попадаю на таких вот подранков...

Въехали в густой молодой лапчатый ельник, и Эле пришлось идти за санями. А когда снова выбрались на просеку, она догнала лесника, чтобы поговорить с ним. И он рассказывал, рассказывал...

Лишь об одном Иван умолчал, что в лес ездил не только по доброте своей. Уже потом Эля узнала, что Иван ищет в лесу своего сына, который еще в начале войны ушел в партизаны. Каждого окруженца, каждого вооруженного расспрашивает, не встречал ли его Колю.

В старое тихое местечко, где жила теща лесника, въехали не сразу. Сначала Иван пошел на разведку, оставив Элю возле саней в молодом ельничке. Вернулся он уже затемно, когда Эля продрогла до костей.

— Чуть и сам не попался, — буркнул Иван, подбирая вожжи.

— Что, в местечко нельзя? — испуганно спросила Эля.

— Теперь можно, — ответил Иван, но не стал рассказывать, что с ним там случилось. — Только вы будете в разных домах.

До чего же щедр и богат душевной добротой русский народ! Ну кто ей этот безвестный юноша, раненный, видимо, теми, кто сейчас у власти и кто в любую минуту может отнять и душу и тело! А вот же захлопотала седовласая согбенная старушонка, заохала, будто бы родного сына привезли ей в дом с поля битвы. И нет теперь у нее других забот, кроме заботы о спасении окочепевшего, умирающего парня. Завесила окна, зажгла лампадку, перекрестилась и начала хлопотать. И хлопотала до тех пор, пока раненый не зашевелился и попросил пить. Напоила теплым молоком с медом. Руку придержала, чтобы в бреду не сорвал повязку. И так осталась сидеть на всю ночь. То пот со лба разметавшегося в горячке парня сотрет, то воды подаст, то подушку поправит.

А за окном... Там может и полиция заявиться, и сами немцы, и всякая нечисть. Но что все это для Ирины Филимоновны, когда этот парень, такой молодой и красивый, совсем еще не поживший, вот-вот отдаст богу душу? Главное — спасти его, выходить. А уж самой будь что будет...

В ином положении оказалась Эля. Иван поселил ее у молодой, беспечно веселой вдовушки. Хозяйка сразу же

рассказала, что еще перед войной получила десять лет тюрьмы за крупную спекуляцию. Так что война ее только выручила, хотя сама до смерти боится всех ее ужасов.

— Раздевайтесь, поешьте и лезьте на печку отогреваться, — предложила хозяйка. — Вы полька? Тем лучше. Выдам вас за сестру мужа. Она здесь никогда не бывала. Никто ее не знает. Может оказаться такой, как вы, может еще красивей, или совсем уродиной.

«И далась им эта красота!» — с досадой подумала Эля, раздеваясь.

— Можно мне сначала ноги снегом оттереть? Я их уже полдня не чувствую, — робко спросила Эля.

— Это плохо! Ноги в девичьей красоте — самое главное! — И хозяйка выскочила с тарелкой за снегом. Сама помогла гостье разуться и начала оттирать побелевшие, оледенелые пальцы.

— Бери снег, оттирай коленки, а то облезут, — распорядилась она. — Зовут меня Соня. Видела фильм «Заключенные»? Помнишь, там тоже была Сонька. Вот и я из таких. Да вот застряла в этой дыре. А тебя как зовут? Эля? Ну, знаешь, у тебя и имя по фигурке! Не горюй, Эля, мы с тобой не пропадем. С такой-то красотой во все времена и эпохи жить можно. Давай, давай три докрасна. Пальцы еще так-сяк, а коленки надо беречь. Они на виду. Сейчас ведь юбки короткие носят...

Эле становилось горячо от стыда. Не стала бы она слушать такие разговоры, не попади в эту беду. Если б не Ефим, и на час не осталась бы в этом доме. Но надо все терпеть, пока не поправится раненый. «А что, если попросить ее пригласить врача для Ефима? Но спросит, кто он мне. Назвать мужем нельзя — эта пройдоха его доконает, чтобы убрать помеху. Ведь ясно, в какие дела она хочет меня впутать, раз говорит только о красоте. Нет, уж лучше так, как сделал Иван.

А интересно, Иван знал, куда меня поместил? Видно, знал, потому что на прощание буркнул: «Ты не обращай внимания на хозяйку. Непутевая она. Но у нее безопасно. Тебе ведь важно отогреться да Ефиму как-то помочь».

— «Непутевая! — подумала Эля, вспомнив отзыв Ивана о хозяйке. — А вон как старается: оттирает меня, отогревает. Может, и сама видела горя не мало».

А хозяйка, словно подслушав ее мысли, пошлепала по согревшимся уже коленкам и рассказала, как однажды

обморозилась в Сибири и ее вот так же одна кержачка оттирала.

— Оттерла, укутала ноги в шаль и водки заставила стакан хлобыстнуть. Ну, мне тогда стакан уже не был страшен... Сейчас я дам тебе валенки и самогону.

Увидев, как съежилась гостья, хозяйка подбадривающе кивнула:

— Вижу, что непривычная ты к такому зелью, но надо нутро согреть, а то пропадешь ни за грош.

Валенки, снятые с печки, оказались горячими. В них сразу стало тепло и уютно. Хозяйка подала на стол мерзлое сало, луковицу, огурец, огромный каравай и бутылку с мутноватой жидкостью.

— Мне тебя сам бог послал, — быстро налив по полстакана, тараторила Соня. — Пропала я тут от скуки, даже выпить не с кем. А что до мужиков, так ни одной клячи вокруг. Ну мы с тобой здесь долго не засидимся. Оперимся и — в город, там военных полно. Не заскучаешь! Давай, пей. — И она одним духом выпила самогон. — Кха! Горит, сволота!

Эля робко взяла свой стакан. Самогона она никогда не пробовала. Водки когда-то выпила полрюмки и чуть не задохнулась. Но сейчас понимала, что надо выпить. Надо это сделать и для согревания и для поддержания благорасположения хозяйки. Но разве ж мыслимо столько?!

— Ты разом, одним духом, — подсказывала Соня. — Пей сразу, не останавливайся, иначе она поперек горла встанет и не продохнешь.

— Можно я половину отолью? — робко попросила Эля, умоляюще глядя в загоревшиеся оливковые глаза хозяйки. — Не смогу.

— Половина тебя не согреет. Выпей вместо лекарства!

Выпила Эля так, словно комок огня проглотила, ее всю передернуло от омерзения. С трудом поборов отвращение от выпитого, Эля откусила половинку огурца. Придя немного в себя, хотя и чувствуя, как тяжелеет голова, начала есть хлеб и сало.

Хозяйка подала густой жирный борщ, только что вынутый из печки. Обжигаясь, Эля принялась за горячее, чтобы не захмелеть. Сытный борщ заметно согревал, но хмель ударил в голову.

«Что будет со мною?» — с ужасом думала девушка, чувствуя, что даже видеть стала хуже. Хозяйка ее двои-

лась. Оливковые глаза становились большими, как сливы, полное лицо расплывалось в огромную масленую лепешку. Эле вдруг захотелось поцеловать эту лепешку, и она поцеловала. А больше ничего не помнит.

Проснулась Эля, когда в комнате ярко светило солнце.

— Столько проспала! — тревожно вскочила она, не сразу сообразив, где она и что с ней.

С кухни послышался грубоватый голос хозяйки:

— Хочешь — бери, не хочешь — другие возьмут. Но дешевле не отдам.

Ей робко отвечал жалобный старушечий:

— Да как же не брать, милостива пани, целую неделю без соли едим! Ладно уж, пусть ваша цена будет. Так сколько ж вы дадите мне соли за три килё масла?

— Двести пятьдесят граммов! — ответила Соня.

«Почему такая точность?» — подумала Эля, еще не зная, чего теперь стоит соль.

На кухне замолчали. Потом скрипнула дверь и послышался робкий голос прощающейся старухи, будто в чем-то провинившейся. Она молила бога за благодетельницу Софью и просила разрешения еще прийти, когда кончится соль.

— Приходите, — равнодушно ответила Соня. — Но не знаю, какие будут тогда цены, что мне запоют хозяева соли — наши доблестные освободители.

Эле стало страшно: куда она попала? Но не успела еще и подумать, что ей дальше делать, как вошла Соня — веселая и приветливая, — совсем не такая, какой была на кухне. Она участливо спросила, как выспалась Эля, не болит ли голова.

— Ночью ты кашляла, как из бочки. А потом согрелась, прошло. Одевайся, позавтракаем. Я уйду по делам. А ты отдыхай, прихорашивайся. Дня через два пойдем в гости.

— В гости? — с ужасом спросила Эля, вылезая из постели.

— Я тебя познакомлю с бургомистром.

Эля так и застыла на полпути к стулу, на спинке которого висела ее одежда.

— Да не бойся, дуреха, я этого пройдоху проведу и выведу. А заявить, что приехала ко мне свояченица, надо, такой теперь порядок. Новый порядочек в Европе! —

И она с издевкой захохотала. — Порядочек! Все живем как в лагере заключенных. Бургомистра ты не бойся. Он башковитый мужик, полиция перед ним на цыпочках, потому что он умеет с немцами говорить на своем языке. Он барахольщик. А немцы барахло любят. Они как цыгане — все меняют, продают, перепродают. Я когда слышу, что это высшая раса, меня смех раздирает. Барахольщики, а не раса! Тащут все, что и не пригодится.

А жрут, как с голодного края! Недавно в кабинете бургомистра слышала по радио песню:

Не будут псы голодные
Над Родиной летать...

И подумала: «Вот уж правда, что голодные псы!» Ну, ну, одевайся, бургомистр — свой человек, вот увидишь! Мы у него сможем даже радио послушать. Он ругается, когда ловлю Москву, но никогда не выключает...

У Эли сердце леденело при мысли о том, что придется идти к бургомистру. Было страшнее, чем тогда, когда они с Ефимом подкрались к самой казарме. Там страх подавлялся азартом, напряжением всех сил и чувств. А тут словно ее одевали в смирительную рубаху и вели на пытку.

«Может, уйти, пока не поздно? Ефима бабка выходит», — раздумывала Эля. Но в глубине души знала, что не уйдет от больного. Тревожила ее и судьба отряда. Кто там подорвался на мине? Не сам ли Джума? Он ведь везде лезет первым. Надо помочь Ефиму подняться на ноги и скорее возвращаться в лагерь...

— Ну, чего задумалась? — окликнула Соня. — Вот примерь платье моей сестры. Оно, кажется, тебе как раз.

— Соня, мне бы сходить к бабке Малюченчихе, посмотреть, как там Ефим... — робко заговорила Эля.

— Вот еще! — грубо, как с той покупательницей соли, заговорила Соня. — Иван ходить к бабке не велел, чтоб ей было спокойней. Сиди себе! — А приблизившись, сердито прошептала: — Ты что ж, думаешь, раз я торговка, так у меня деревянное сердце? Два раза сбегала к нему, пока ты спала. И лекарства достала и молока. Да только много крови он потерял. А переливание крови сделать невозможно. — И почему-то со злостью добавила, словно кого-то ругала: — Это тебе не Советская власть! — И опять шепотом: — Ты уж без меня не показывайся на улице.

Дружком твоим я сама займусь... Если хочешь, могу словечко от тебя передать.

«Вот и пойми ее», — подумала Эля, совершенно сбитая с толку поведением Сони, и еще раз попросила разрешения сходить к больному.

— Ну, ладно, пойдем вместе, — ответила Соня и стала одеваться.

В комнате, где лежал Ефим, было тихо и сумрачно. Пахло вялеными травами, пряным дымком, которым Ирина Филимоновна окуривала рану. Старушка сидела возле печурки, растирала янтарно-желтую мазь, когда вошли Эля и Соня. Пальцем подала знак молчать, потому что больной уснул.

Ефиму было хуже, чем предполагала Эля. Бледный, похудевший, с восковым заострившимся носом, он тяжело и хрипло постанывал даже во сне. На столике, возле его кровати, стоял стакан молока, прикрытый ломтиком хлеба, бутылка с жидким черничным отваром. Из-под подушки виднелся белый платок, забрызганный кровью. Жалость сдавила горло Эли. Она почувствовала, что безгранично добрый к детям человек, с которым ее соединила борьба с теми, кто хотел отнять у детей их родину, стал ей сейчас дороже родного брата.

Видя, что они не могут помочь больному, девушки вышли на кухоньку, вызвав за собою хозяйку. Ирина Филимоновна тихо закрыла дверь и, горестно подперев пальцем щеку, прошамкала:

— Не жилец он на белом швете. Ох, не жилеч! Рануто я обкурила, мажи приложила, рану жатянет. А только нутро у него вше как ешть рваное. Хрипит он и кровью кашляет, шердешный, и денно и нощно. Видно, та проклятая пуля в шамом дыхательном меште жаштряла... Тает он как швечка. Медку бы теперь чветочного. Да где его добудешь?

— Добудем, бабуся! — Растроганно поцеловав старушку, Соня первой вышла из дому. — Ему нужен врач, но я не могу пригласить его, — сказала она Эле. — У нашего доктора сын в полиции служит.

Эля шла молча. Ее угнетало и тяжелое состояние Ефима, и непонимание того, что происходит с Соней. Грубая, озлобленная торговка, она с таким участием относится к судьбе раненого, совершенно неизвестного ей человека. Почему? Кто она такая?

Мария Степановна вернулась из села не одна. С нею пришел черный бородач, в котором полковник Стародуб только по голосу узнал своего лесного друга, Грушовицкого. На дворе было уже темно, падал снег, который тут же таял. Гость был мокрым, казалось, насквозь. Он разделся, развесил одежду сушиться, а сам сел к печурке и, охватив ладонями жестяную кружку с дымящимся, пахнущим ромашкой кипятком, стал отогревать посиневшие руки.

— Кириллу Федоровичу я жизнью обязан, — представил Стародуб гостя Чугуеву, с которым сдружился за время жизни в лагере.

Батальонный комиссар Чугуев был очень уравновешенным и мудрым человеком. Начал военную службу еще с революции, потом громил Колчака, да так и остался в армии на Дальнем Востоке. И только год назад с одной из Забайкальских дивизий был переведен в район Барановичей. Со Стародубом у них было много общего и в жизненном пути, и в душевном складе.

Стародуб с удовлетворением видел, что Чугуев во многих, даже сугубо военных, вопросах разбирается не хуже его и что у него можно кое-чему поучиться. А полковник был вообще человеком, склонным больше учиться, чем учить других. Грушовицкому он и представил батальонного комиссара как человека, от которого они оба смогут что-то узнать.

Отогревшись, Грушовицкий стал рассказывать о том, что делается в Пинской области. Отряды народных мстителей появились в каждом районе, и, видимо, скоро будет создано единое руководство партизанским движением.

— Подпольный обком партии поручил мне установить связь со всеми партизанами, действующими в окрестных районах. Со многими я уже связался. Нашел бы и вас. Но хорошо, что вы сами проявили инициативу, меньше времени потеряно, — говорил Грушовицкий.

— Да, вам нелегко было бы найти нас в этом буреломе, — заметил Стародуб.

— До партийной работы я был лесничим, так что умею ходить по зеленым лабиринтам.

Они долго обсуждали различные варианты действий отряда, способов его связи с соседями и пришли к выводу, что здешние землянки — это очень временное, случайное пристанище, годное, может быть, только до половины

зимы, пока немцы не выследят по снегу. Если фашисты обнаружат лагерь, здесь нельзя будет по-настоящему развернуть оборону, уж не говоря о том, чтобы выйти из окружения.

— Есть у меня на примете лесная сторожка, — сказал Грушовицкий. — На всякий случай покажу ее вашему связному.

На прощание Стародуб обнял Грушовицкого:

— Мы очень ждали этой встречи, дорогой Кирилл Федорович. Тягостно было действовать кустарями-одиночками, идти вслепую. А теперь, когда будет областной штаб, можно будет проводить серьезные операции совместно с соседями.

— Скоро мы установим с вами и радиосвязь,— пообещал Грушовицкий.

— Ваш приход, Кирилл Федорович, окончательно поднял меня на ноги. Рана зажила. Теперь начну действовать. Но у меня к вам просьба. — Стародуб неловко помялся, но все же высказал свою просьбу о том, чтобы через обком сообщить в Москву, в Наркомат обороны, весть о нем и о Чугуеве.

— У вас там семья? — спросил Грушовицкий.

— Два сына. Жена погибла. Как раз перед войной ехала сюда, да так и не доехала...

— А о вас что сказать? — обратился Грушовицкий к батальонному комиссару.

— Я старый закоренелый холостяк. Мою подругу беляки убили, так я и остался однолюбом... — печально проговорил Чугуев.

— Когда приду в следующий раз, скажу, что удалось сделать. Или передам через связного.

В сопровождении бойца, который закреплялся за ним для постоянной связи с отрядом, Грушовицкий ушел.

XVIII

До войны Поздняков был человеком без определенных занятий, хотя в кармане носил диплом об окончании торгового училища. Как-то так получалось, что все его трудовые начинания кончались тюрьмой. То растратит, то присвоит, то перепродаст и попадется. А с первого дня войны Поздняков очутился в положении выигравшего. Сыграл он сразу, как говорится, ва-банк.

Брестская крепость еще не была взята, а тюрьму в городе немцы уже открыли. Так неожиданно получив свободу, Поздняков тут же отправился в Пинск, где был осужден и где его ждала слепо и преданно любившая его женщина. Ехал он на попутном грузовике. Уже недалеко от Пинска увидел, как немцы разбомбили пассажирский поезд. Шофер выскочил из машины и побежал вытаскивать людей из вагона, с которого была сорвана крыша. А Поздняков заметил, что в первых красных вагонах не люди, а груз. В одном из них оказались меха. Наверное, эвакуировался пушной магазин. Дверь вагона была открыта. Людей в нем не оказалось: одни скрылись от страха в лесу, другие убежали на помощь к вагонам, из которых слышались вопли раненых. Поздняков не растерялся. Машину он водить умел. Подогнал грузовик к открытой двери «пульмана» и вытолкнул из вагона прямо в кузов несколько наспех увязанных тюков драгоценных мехов.

О любимой женщине Поздняков сразу же забыл: в большой город он не мог заявиться со своим богатством. По проселочным дорогам, где в это время не было уже ни милиции, ни автоинспекции, он добрался до уютного местечка, расположенного между рекой Птичь и небольшим ее притоком. На самой окраине занял пустовавший дом, каких тогда было немало. Меха надежно спрятал и стал выжидать, что будет дальше.

Когда немцы приехали в местечко для установления своей власти, Поздняков заявился к ним, показал свои документы человека, хватившего горя от большевиков, щедро угостил, а вдобавок преподнес каждому подарочек из своих меховых запасов. Уполномоченному гебитскомиссара, гауптману Тринке, Поздняков подарил дамскую шубку из норки, о какой тот, наверное, и не мечтал.

И в этот же день Поздняков стал бургомистром местечка.

Однажды новоиспеченный бургомистр узнал, что гауптман Тринке хотел бы подарить и жене своего начальника самый дорогой русский мех. Поздняков поморщился и сказал, что он попытался бы что-нибудь достать, если бы у него были такие дефицитные продукты, как соль или сахар. Гауптман пообещал, что все будет в нужном количестве. Через день гауптман получил мех, а бургомистр — соль, сахар и в благодарность ящик хозяйствен-

ного мыла, на которое также поднималась цена. Теперь Позднякову нужен был надежный человек, который все это сумел бы по-хозяйски реализовать. С местными жителями бургомистр не хотел связываться, а тут пришла получать аусвайс миловидная беженка, которая до войны, согласно документам, работала товароведом в Бресте. Он и предложил ей заняться неофициальной торговлей.

— Но это же спекуляция! — испугалась беженка.

— Немцы за нее, кажется, не сажают. А впрочем, в этом местечке и тюрьма в моих руках, Сонечка!

Так Соня начала сотрудничать с бургомистром. Когда она продала вырученные за меха продукты, прибыль оказалась значительно большей, чем это было бы до войны. Обрадовавшись такому успеху, Поздняков не стал торопиться с продажей всего остального, выжидал, пока поднимутся цены на дефицитные товары. И только через несколько месяцев, когда килограмм соли стал продаваться за масло и сало вес на вес, предусмотрительный делец начал опять доставать кое-какие меха для своих господ. Теперь соль, сахар и мыло Соня не продавала за деньги, а меняла на масло, мясо, яйца. А это в свою очередь шло в обмен на одежду и обувь. Соня развернула бойкую торговлю в местечке, но не подозревала, что такие, как она, у Позднякова появились и в селах, что на него работает даже продавец крупного магазина в ближайшем городе.

Вот к этому-то человеку и привела Соня свою гостью.

Поздняков занимал огромный кабинет, обставленный дорогой мебелью, обитой голубым плюшем. Вход к нему охранял полицейский с автоматом и секретарша, худая носатая девица. Однако Соня и часовому, и секретарше только кивнула на Элю, мол, эта со мною, и они прошли без задержки.

Поздняков сидел, утонув в глубоком кресле, и громко смеялся в телефонную трубку. Жестом руки он любезно пригласил женщин сесть в кресла поменьше, стоявшие перед его огромным черным столом и разделенные круглым резным столиком.

Эля робко села и почему-то подумала: «Зачем такое огромное кресло этому человечишке? Он в нем совсем потерялся!» Но тут же поняла, что кресло было обычного размера, а очень уж маленьким и тщедушным был сам бургомистр. Одет с иголочки. Черный костюм, черный

галстук бабочка и ослепительной белизны сорочка. Волосы черные, лоснящиеся, гладко зализанные на пробор. Лицо оливково-смуглое, масленистое. Глаза в узких щелках маленькие, как дробинки, и такие же, как дробь, холодные, пронзительные. Закончив телефонный разговор, он встал, подошел к серванту, сверкавшему хрусталем, и спросил:

— Коньяк, вино, шнапс?

— Благодарим, Самсон Аггеич! — за обеих ответила Соня. — Пока ничего не надо.

— Никаких пока! — возразил бургомистр и, поставив на круглый столик рюмки, налил всем красного, как закат солнца, игристого вина.

— У вас всегда что-нибудь заморское, Самсон Аггеич! — заискивающе заметила Соня.

Эля сидела как на иголках. Хотелось поскорее узнать, как отнесется к ее пребыванию в местечке этот представитель власти. А он болтает с Соней о ценах на рынке, о дефицитных товарах, об увеселительных вечерах где-то там, в большом городе. Говорят обо всем так, будто бы нет никакой войны. Эля, конечно, чувствовала, что бургомистр присматривается к ней, изучает и не спешит расспрашивать. Заговорила о ней сама Соня.

— Самсон Аггеич, вы не будете возражать, если эта красавица поживет у меня с месячишко, — заговорила она, с наигранной улыбкой глядя в глаза бургомистра. — И не потому, что она сестра моего мужа, а потому, что надо помочь человеку, попавшему в беду. Дом ее в Бресте разбомбили. Из родни на всем белом свете осталась я одна. Вот ее и прибило, как щепку, к моему берегу.

— Самый достойный мужчина считал бы себя счастливцем, если б такую щепку прибило к его берегу, — изысканно склонив голову в сторону гостьи, ответил Поздняков. — Не только не возражаю, но буду просить остаться у нас, осветить нашу не очень-то светлую жизнь. Ведь с такой красотой можно устроиться в любом городе, на самом высоком уровне.

— Красотой не хочу устраиваться. У меня есть профессия, — неожиданно для самой себя вырвалось у Эли. — Я могу преподавать музыку.

— О-о! — Бургомистр высоко поднял коротенький, белый, как у изнеженной женщины, пухлый палец. — Если не трудно, прошу вас на минутку в соседнюю комнату. —

И он широким жестом указал на завешенную тяжелой портьерой дверь.

Все, что было до этой минуты, Эля посчитала инсценировкой. Сейчас она попадет в комнату, где ее ждет допрос, пытка...

Но открылась дверь, и они вместе с Соней вошли в просторный зал, в углу которого стоял рояль.

— Вам этот инструмент знаком, надеюсь?

Эля с трудом скрывала радость, что ошиблась в своих опасениях. Ничего не ответив, села к милому ей с детства инструменту, взяла несколько аккордов. И, убедившись, что инструмент довольно прилично настроен, стала играть. Она играла с таким самозабвением, с такой страстью, будто была приговорена к смертной казни и вот получила возможность исполнить свое последнее желание. Играла одну вещь за другой без устали, без передышки. Наконец после паузы, во время которой услышала тяжелые вздохи сидевших позади бургомистра и хозяйки, она заиграла свою любимую арию из «Травиаты».

А закончив играть, вдруг опустила голову на клавиши и разрыдалась.

Соня подбежала, обняла ее и начала успокаивать. Подошел и Поздняков. Дождавшись, когда девушка успокоилась, он сказал напыщенно:

— Это мы должны были бы рыдать, если бы у нас были более живые души! А вам с таким талантом нужно только радоваться и других радовать.

Молча возвратились в кабинет, молча расселись по своим местам.

— Иностранного языка не знаете? — мало надеясь на положительный ответ, спросил Поздняков, поднимая телефонную трубку.

— Немецкий, — ответила Эля, не придавая этому особого значения.

— Как?! — бросив трубку на место и вскочив с кресла, воскликнул бургомистр. — Чего же вы сразу не сказали? Насколько хорошо вы его изучили?

— Мой папа преподавал немецкий язык, и я в детстве говорила дома по-немецки так же, как и по-польски. Русский я узнала уже потом, после тридцать девятого года, когда нас освободили.

Маленький черный человечек с нежными женскими руками начал быстро ходить по комнате. Видно было, что

в голове его зреют какие-то необычайные планы. Вдруг он подошел к Соне и любезно пролепетал:

— Софья Александровна, я ваш раб за то, что привели мне этого ангела-спасителя. Вот вам новый альбом, займитесь им. А мы с Элей поговорим о ее будущем.

— Может, мне уйти? — спросила Соня, нехотя перелистывая альбом с не очень приличными открытками.

— Нет, зачем же. Разговор не будет секретным. — Хозяин снова уселся в свое кресло и теперь уже не казался Эле таким маленьким, видно потому, что от него зависела ее судьба.

— Если согласитесь, милостива пани, вы будете моим компаньоном, моим советником, правой рукой во всех моих делах, особенно в торговых. Не скрою: торговля — моя страсть. И здесь мне, кроме Сони, нужен еще один помощник, и вот именно такой, как вы.

— Ну, какой же из меня помощник в торговле! — смущенно покачала головой Эля. — Вот уж в чем, в чем, а в торговле я не разбираюсь. Купить и то не умею, не то что продать.

— Вы будете только живым украшением моей торговой фирмы, — заметил Поздняков. — Официально я вас зачислю секретарем бургомистра.

— У вас же есть секретарь! — вставила Соня.

— Технический, машинистка, — уточнил бургомистр.— А вы, Эльжбета Яновна, будете — ну, как это было при Советах — председатель горсовета и секретарь. Вот этим почетным секретарем у меня будете вы.

— Вон как! — воскликнула Соня и снова уткнулась в альбом.

— Образование у вас приличное. Отец ваш — немец. Это открывает вам широкие возможности, — вдохновенно развивал свои планы бургомистр.

— Нет, нет! — возразила Эля. — Он поляк. Он только хорошо знал немецкий.

Но бургомистр остановил ее:

— Для пользы дела будем говорить, что в вашем роду есть капля арийской крови, тогда можно будет выписать вам документы фольксдойча. А это очень важно! — Он многозначительно поднял указательный палец. — Самое главное, что вы знаете немецкий язык и играете. Да, да! То, что вы так играете, в успехе моих торговых дел будет занимать не меньшее место, чем язык.

Эля непонимающе качнула головой.

— Представьте себе: ко мне приехал деловой человек, немец. Он может купить у меня много товаров, но мы не сходимся в ценах. Я веду его в зал, где на столе разложены мои товары. Вы незаметно входите за нами. Садитесь за инструмент и начинаете играть что-нибудь самое душещипательное, немецкое. А немцы, как вам известно, музыку любят. Ну, а я тут еще и рюмочку коньяку подношу. Он целует вам ручку и платит даже больше, чем я запросил. Правда, перед отъездом он приглашает вас в театр. Но это уже дело ваше. Я не буду ревнивым, так как у нас с вами будут чисто деловые отношения.— И он встал, потирая руки.

«Значит, ты хочешь торговать не столько товарами, сколько мною!» — подумала Эля и тут же представила, какое впечатление произвело бы все это на партизан. Она с самого начала разговора с этим дельцом стала взвешивать все его предложения с точки зрения выгоды их для партизан. И все больше убеждалась, что ей нельзя отказываться от предложения бургомистра-торгаша. На этом посту она может оказаться партизанам куда полезней, чем в лесу! Вот только как связаться с Джумой? Хорошо, если Ефим скоро выздоровеет и вернется в отряд. А если нет? Сама она, видимо, не сможет отсюда отлучаться надолго в лагерь.

— Не задумывайтесь так, милостива пани, — любезно сказал Поздняков. — Все заботы я беру на себя. Вам останется только одно: всегда быть веселой, очаровательной и приветливой с гостями, нашими освободителями.

Эля внутренне вздрогнула от последнего слова. Пока что Поздняков говорил только о торговле. А ведь он прежде всего бургомистр, хозяин местечка.

— Если вам наскучит в этой глуши, всегда можно будет уехать на несколько дней в Пинск, в Барановичи. Теперь там возобновили работу и рестораны, и танцзалы, и театр, — горячо уговаривал Поздняков. — Скоро и у нас неподалеку будет замечательное место для отдыха. — И он доверительно рассказал о том, что в бывшем санатории леспромхоза открывается охотничий домик для областного начальства. — Там будут, конечно, и бар, и музыканты.

— И джаз? — заинтересованно спросила Эля, с трудом оторвавшись от своих мыслей.

— О, конечно же, конечно!

— Все так заманчиво! — деланно улыбнулась Эля, думая о том, какую «охоту» устроят партизаны немецкому начальству, когда узнают об этом домике.

— С чего начнем? — сам себя спросил Поздняков, считая, что девушка сдалась, и тут же ответил: — Прежде всего вам нужно одеться. Софья Александровна сведет вас к портнихе. Я передам ей все необходимое.

— Мне бы сначала отдохнуть, прийти в себя,— несмело заявила Эля.

— Вот пока портниха будет вас обшивать, и отдохнете. Квартира для вас есть, вот ключи.

— Пусть она живет у меня, — взмолилась Соня. — Вдвоем будет веселей.

— Ну что ж, пусть пока поживет, — согласился хозяин и любезно проводил гостей до порога, не спуская с Эли оценивающего взгляда.

«Ну уж эту я не выпущу! — самодовольно потирая руки, думал Поздняков. — Только не надо спешить, чтоб не вспугнуть птичку, пока не захлопнулась клетка... Она, конечно, не считает меня достойным. А мне плевать! Буду брать свое! Высоковата, но царственная. Надо будет сколотить кругленький капиталец и увезти ее подальше из этой звериной глуши...»

— Повезло тебе больше, чем я ожидала! — сказала Соня, когда пришли домой. — Вот видишь, как пригодилось тебе, что училась музыке да языку. А я все променяла на кино да на танцульки...

Эля думала о Ефиме, об отряде, о своем положении. Но ей поневоле пришлось говорить со своей хозяйкой, которая теперь еще сильнее набивалась в подруги. Эля села рядом с Соней и, помогая чистить картошку, слушала ее исповедь-жалобу. И мало-помалу прониклась состраданием к этой неплохой от природы женщине, но чем-то выбитой из колеи. Наверное, какое-то большое несчастье заставило ее стать спекулянткой.

В дверь робко постучали.

— Кто там еще? — недовольно спросила Соня.

Медленно, с остановками открылась дверь, и вошел обросший угрюмый мужик, одетый в старый, весь в заплатах зипун, в постолах. Шапка из рыжей лохматой

овчины была мокрая. Видно, он только что стряхнул с нее снег. Сам он весь заиндевел, как ольха в морозное утро. Только лицо было красным, да и то скорее оттого, что в зубах дымилась трубка, которая обкуривала и черные с проседью усы, дугой обрамлявшие рот, и кустистые заиндевелые брови.

Опустив у порога обледенелую торбу из мешковины и положив на нее шапку, он молча кивнул хозяйке и пробасил, исподлобья присматриваясь к Эле:

— Соли хотел выменять.

— А что у вас есть? — спросила Соня, не глядя на пришельца.

Закуржавелый мужик вынул из кармана золотую монету.

— О-о! Еще царский золотой! — обрадовалась Соня. — Настоящий червонец! Много их у вас?

— Ат, все тут! — кивнул мужик на червонец. — То мне еще покойный батько дал на коня.

— Сколько хотите соли за него? — направляясь к двери, спросила хозяйка и выскочила в сени, где был вход в другую половину дома, служившую кладовкой.

И только закрылась дверь, угрюмый мужчина вдруг оживился, глаза потеплели, быстрым шепотом заговорил:

— Вы и есть Эля? Эльжбета, значит, Яновна?

Эля испуганно уставилась на незнакомца.

— Джумабай, ну, значит, товарищ командир, тревожится, думает, вы погибли... Так я можу сказать ему про вас...

— Господи! Вы от Джумы?! — рванулась к нему Эля, вся дрожа и краснея. — Скорей говорите, где он? Что с ним? Скорее!

— Он уже там, где все. Только о вас очень... Вижу — дорожит. Да оно и понятно. — Мужик почтительно смотрел на разрумянившуюся от радости девушку.

— Скажите моей хозяйке, что вы еще найдете золото, она будет добрее. Подольше не уходите, может, я что-то придумаю. Обязательно оставайтесь обедать, может, я что-нибудь...

В сенях хлопнула дверь кладовки, вбежала Соня с узелком соли.

— Вот вам сразу целый килограмм!

Мужик взял серый мокрый мешочек. Посмотрел на

соль, попробовал ее на вкус и, печально вздохнув, отдал червонец, а соль бережно положил в торбу.

— Раньше то была цена доброго коня, а теперь торбочка соли...

— Эх, дядя! — тоже вздохнула Соня. — Времена меняются, и цены стареют, как и мы с вами.

— Так я не жалкую. Купил бы тогда коня, то ён уже давно подох бы, а соль от теперь есть.

— Смешной вы! — пристально глядя на гостя, заметила Соня.

— Ну, то я пошел, — повернувшись к порогу, угрюмо сказал мужик.

— А вы издалека? — спросила Соня.

— С хутора Вовчий кут.

— Да вы не Анупрей Цьвох?

— У-у.

— Слыхала о вас. Как же! Слыхала. Так, может, у вас еще найдется такая штучка?

— А кто знает: кончится соль, может, что и знайдется.

— Может, вам нужен сахар или материал па рубашку?

— До солодкого я не дуже. Да и медок у меня свой. А рубашка, — он посмотрел себе на грудь, — еще не кончилась.

Соня звонко, с искренним восхищением засмеялась.

— Значит, новую заведете, только когда эта истлеет? — спросила она и пояснила, обращаясь к Эле: — Это здешний Робинзон.

Эля ничего не слышала, слово «медок» перенесло ее в хату, где лежал Ефим. «Медку бы теперь цветочного», — вспомнились слова Ирины Филимоновны.

— Ну, то я пошел! — Анупрей повесил на плечо торбу, надел шапку, с которой теперь текло.

— А далеко ему? — робко спросила Эля, глядя на хозяйку. — Может, голодный?

— Ну, конечно же! Оставайтесь завтракать, — заторопилась хозяйка, — хотя это уже будет обед. Затянули мы сегодня...

Анупрей постоял молча, потом снял с плеча свою торбу, раскрыл ее и достал круглый горшочек, от которого сразу на всю комнату запахло густым настоем весенних лесных цветов.

— Мед! — Соня обрадовалась так, словно впервые в жизни увидела это лакомство. Аппетитно вдохнула необычайный запах. Тонкие чувственные ноздри ее заиграли. — Такого запаха я не встречала. Цветочный?

— Майский. Самый пользительный. Особливо при болезни.

Соня многозначительно подмигнула Эле:

— Представляешь, как обрадуется Филимоновна этому меду!

Эля готова была обнять ее, расцеловать. Но Соня уже по-прежнему сухо спросила Анупрея, что ему надо за мед.

— От, на сниданок вам...

— Да вы щедрый человек! — Соня заставила гостя раздеться, освободив у дверей для его одежды всю вешалку.

Эле она шепнула, что в одежде этого островитянина может оказаться всякая «мелкая дичь».

Эля внутренне дрожала от радости, что Анупрей остается, что будет возможность больше сказать ему о себе и о Ефиме.

К ее счастью, человек этот оказался более сообразительным, чем разговорчивым. Когда на шестке русской печки Соня разожгла дрова и поставила чугунок с картошкой, гость все из того же кармана замусоленных стеганых штанов достал деньги, теперь уже немецкие, и спросил, нельзя ли купить чего-нибудь согревающего для аппетита перед обедом.

Хозяйка виновато развела руками: у нее ничего не осталось. Но, увидев соблазнительно крупную сумму, живо оделась и убежала к самогонщице, которую по старинке теперь называли шинкаркой.

Эля только этого и ждала. Она быстро рассказала о себе и о Ефиме, а на клочке газеты молоком написала Джуме несколько слов, тут же объяснив, как читаются такие письма.

— Пишу не на чистой бумаге, чтоб не было подозрения. А так, если кому и попадет в руки этот клочок газеты, скажете, что для курева...

Соня вернулась с двумя бутылками самогона веселая, раскрасневшаяся. Теперь она говорила с Анупреем как с равным и посадила его за стол. Анупрей выпил только стакан, но ел быстро и охотно. Поел и тут же отправился

в путь, пообещав через несколько дней занести что-нибудь такое же интересное, как червонец, на спички, порох и курево. Соня охотно обещала все приготовить. А когда он ушел, с радостью сообщила Эле:

— Сунула в торбу этого шкарбуна рубашку. В шкафу нашла, видно прежние хозяева забыли, — как бы оправдываясь, пояснила она. — Жалко его. Мужик из него был бы видный, если б немножко оскрести да приласкать, отогреть душу.

Эта забота о местном Робинзоне еще больше располагала Элю к хозяйке, внешне грубой, несдержанной, а в душе, видимо, доброй женщине.

— Отнесу мед Ирине Филимоновне, пусть лечит своего богатыря! — сказала Соня, накинув на плечи шубейку, схватила под полу горшочек с медом и убежала.

Эля благодарно и растроганно посмотрела ей вслед.

«Ну, Ефим! Теперь только набирайся сил, залечивай рану!»

Не знала она, что Ефим жил последние часы и никакие целебные средства не в силах были ему помочь...

XIX

В землянке было сумрачно и тихо. В печурке чуть слышно попыхивали неохотно разгоравшиеся дрова. Сарбаев и Авдейчик остались вдвоем — все ушли обедать в другую землянку. Джума, опустив голову, сидел в углу, под знаменем, мальчишка — за столом. Он смотрел на командира партизан преданными, полными доверия глазами и ждал ответа на свой вопрос. А что мог ответить он, командир маленького отряда, на вопрос: что делать, если Элю немцы отправили в Германию или в лагерь?

Глядя в эти ожидающие, верящие глаза, Джума винил во всем, что произошло с Элей, только себя. Зачем послал ее с Ефимом? Да и вообще зачем взял на такую операцию?..

Ничего не сказав Авдейчику, Сарбаев сел рядом, прижал его к себе, и они долго молчали, соединенные одним неисходным горем.

Каждый думал об Эле по-своему. Для Авдейчика она была и наставницей, и матерью, и спасительницей. Джуме она не успела еще сделать столько добра, как сде-

лала для мальчишки, но без нее командиру партизанского отряда не хватало в жизни чего-то самого главного.

В глубине души Сарбаева теплилась вера в то, что Эля жива, что он ее еще увидит. Но разве мог он, глядя в полные слез детские глаза, говорить о том, чего не знал наверняка? И он молчал.

Вбежал часовой и доложил, что задержан человек, на лодке подплывший к лагерю.

— Зачем вы его задержали? — строго отчитал его Сарбаев. — Ведь было распоряжение не трогать тех, кто плывет по реке мимо нас и не замечает лагеря.

— Товарищ командир, он не мимо плыл, — ответил боец. — Он причалил там, где останавливались наши лодки, когда вернулись с задания.

— Вот как?..

— Он спрашивает вас, товарищ командир, говорит, «мне к самому товарищу Джуме».

Сарбаев, не одеваясь, схватил автомат и выбежал.

На берегу реки густо облепленный снегом стоял Анупрей с неразлучной трубкой в зубах. Он молча подал Сарбаеву обрывок газеты, будто предлагая закурить. Джума небрежно сунул в карман этот клочок бумаги, пожал сухую шершавую руку молчуна и спросил, что случилось.

— Там читайте, я ж не письменный.

— Разве там что-то написано?

— Пани сказала, потрите ту бумажку золой чи подержите над лампой, то и увидите буквы.

— Что за пани вас послала? Почему вы пошли по нашим следам?

Но Анупрей, по своей простоте даже не поняв всей оскорбительности этого вопроса, кротко ответил:

— Так вы, товарищ командир, прочитайте ту бумажку и все узнаете. А я себе поеду. Только ж ответ дайте. Бо я обещал привезти ответ.

— Ничего не понимаю! — строго сказал Джума.

Он не хотел на глазах бойца вступать в препирательства с Анупреем. Но и вести в землянку постороннего тоже нельзя. И он приказал бойцу постоять с Анупреем, а сам отправился в землянку. Взял из печки горстку золы и потер газетный клочок. Между печатными строчками проявились бледные, но довольно заметные буквы, написанные от руки.

— Эля! — воскликнул Сарбаев и, буква по букве, начал читать:

«Попала в выгодное положение. Надо встретиться. Ефим жив. Эля».

Сарбаев поднял бумажку с таким ликованием, будто решилась самая главная проблема всей его жизни.

— Оба живы! Часовой, скорее веди сюда Анупрея. Замерз человек!..

Через несколько минут в землянке собрались Стародуб, который уже ходил без палки, лишь чуть прихрамывая, Сарбаев, Чугуев и Анупрей. Разговор шел об Эле. Она, конечно, может вернуться в лес, если решит отряд. Но сама считает, что в ее нынешнем положении может сделать для отряда больше, чем в лесу. Нужно встретиться и договориться о связи.

Угощая чаем замерзшего Анупрея, Сарбаев спросил, как же он нашел Элю.

— А клубочек разматывают с конца, — отвечал Анупрей, прихлебывая из кружки. — Ну то и я начал от самой казармы.

— Но снег ведь на другой день после боя растаял, — заметил Сарбаев.

— Так пока Эля Яновна тащила раненого на волокуше, то след был заметный. А там пошли полозья. Значит, подобрал наших добрый человек чи, может, и злой. По тем полозьям я и добрался до местечка. А там уже ж люди. У людей все узнать можно...

Сарбаев спросил, а как же Анупрей нашел дорогу в лагерь, ведь партизны-то никакого следа не оставляли.

— Ат! След немецкой танки, на какой вы катались по селам, не так чтоб маленький, — равнодушно ответил лесовик. — Только я не по нему шукал вас. Я по лодке.

— Лодка не оставляет следов! — теперь уже не очень уверенно возразил Сарбаев.

— Птица пролетит и то оставит след, где-нибудь капнет. А то лодка, — словно самому себе сказал Анупрей. — Немец и не нашел бы вас. А я ж тутошний...

На этом разговор о том, как Анупрей раскрыл тайну лесного лагеря, кончился. Партизанам было ясно: перед ними человек, для которого леса, реки и болота — что раскрытая книга для умеющего читать.

Узнав, что Эля будет служить у бургомистра, Стародуб прежде всего подумал о том, что она сможет достать

бланки документов. Она конечно же сможет делать и многое другое. Но документы партизанам будут нужны.

— Долго с ее внешностью оставаться среди этого зверья нельзя,— сказал Чугуев.— Немного поработает, и отзовем. Ее знание немецкого языка нам тоже очень пригодится.

Выслушав эти соображения, Сарбаев решил немедленно отправиться на встречу с Элей.

— Нужно сходить, пока речку не сковало льдом и проводник рядом, — оправдывал он свою поспешность. — Ефима надо забрать, тогда у Эли будут развязаны руки. Да и он тут под наблюдением нашего врача выздоровеет скорей.

— Тогда давайте в один поход объединим два дела,— сказал Стародуб, — встречу с Элей и с комбатом Строговым. Будем просить товарища Цьвоха еще раз сходить в то местечко, куда попали Ефим и Эля. А потом Ахмет проведет нас в свой лагерь.

— Ну раз вы уже ходите, возьмем и вас, — с доброй улыбкой ответил Джума.

Услышав, что надо снова идти в местечко, Анупрей с досадой почесал в затылке.

Чугуев заметил это и спросил: может быть, он хочет денька два отдохнуть?

Цьвох отрицательно замахал рукой: от таких «прогулок» он еще не устает, а смущает его то, что не с чем идти к торговке. И он рассказал о своем червонце.

— Золото ей нужно. А у меня его больше нема.

— Часы годятся на это дело? — спросил Чугуев. — Там в детской землянке висят какие-то.

— С немецкого пулеметчика сняли, — вспомнил Сарбаев.

Стародуб знал об этих часах и теперь с удовлетворением отметил, что к золоту в отряде относились без всякого внимания. Значит, у партизан нет помыслов о наживе.

Через несколько часов отряд отправился на лодке по реке, у берегов которой уже загустевала шуга.

Анупрей, оказывается, по пригнутой осоке нашел место причала лодок, на которых возвращался отряд из похода за боеприпасами. Опытный гребец Кастусь подвел лодку к берегу там, где осока не поднималась над поверхностью воды. И однако же цепкий глаз жителя

этих мест заметил, что осоку в воде словно причесали к берегу.

— Летом она сразу бы выправилась, — объяснил Анупрей, — а теперь она так и зазимует.

Этот случай с Анупреем заставил партизан еще серьезней задуматься о маскировке и охране лагеря. Ведь такой, как Анупрей, может найтись и у полицаев. Перед уходом из лагеря Сарбаев приказал удвоить посты, а Чугуева попросил, чтобы тот сам проверял их.

Ефим скончался, не приходя в сознание.

Хоронил его лесник Иван со своими товарищами.

В тот день Эля и Соня сидели дома, тихо говорили об умершем, горько жалели, что не смогли его спасти.

Поздно вечером, когда за окном разгулялась вьюга и снегом замело все пути-дороги — в такую непогоду уже никто не придет ни за солью, ни за спичками, — кто-то тихо и робко постучал в окно.

Стук отдался в сердце Эли горячей волной. Но она сделала вид, что ничего не слышала, и продолжала штопать старую кофту Сони. Нельзя подавать виду, что кого-то ждешь.

Стук повторился чуть настойчивее, хотя и не громко.

— Да кто там скребется? — удивилась Соня и прильнула к окну. — Эля, там кто-то стоит. Открывать или нет? Я боюсь.

— Тебе это показалось. Кто высунет нос в такую погоду? — нарочито равнодушно протянула Эля.

— Теперь уже и скрип снега слышу. Не бандиты ли?

— Какие могут быть в войну бандиты?

— Ну, партизаны, — поправилась Соня. — Немцы их бандитами называют.

— А-а, — зевнула Эля, не отрываясь от работы. — Наверное, кому-то скучно стало или соли на ужин не хватило, вот и пришел... Да ты открой двери в сенцы и спроси.

Соня открыла дверь и с порога окликнула:

— Кто там? Чего в такую стужу?

— То я, милость пани, значит, Анупрей Цьвох. С дороги сбився и трошки припозднився. А я ж обещанку несу вам.

У Эли все в душе затрепетало. Но она сделала вид, что боится бандитов, и прижалась к Соне. Та снисходительно шепнула:

— Ты еще больше трусиха, чем я! Да это ж тот Робинзон, что царский червонец принес! — и, выбежав в сени, открыла дверь.

Входил Анупрей так, будто большим возом въезжал,— медленно, неуклюже. Все на нем задубело от холода, словно он вышел из парной и мороз крепко сковал его одежду. Он виновато стал у порога и начал снимать с плеча холщовую торбу. Это заняло у него столько времени, что другой уже и разделся бы и оделся. Видно было, что он боится натрясти снега на чистый, крашенный желтой блестящей краской пол. Но с него так и сыпалось — снег, сосульки, льдинки. И с шапки, и со спины, и даже с длинных лохматых бровей.

— Да снимите вы все вместе с кожушком! — сочувственно посмеиваясь, говорила Соня. Ей все больше нравился этот неуклюжий медведь.— Повесьте возле печки. Не отпущу же я вас в такую непогоду.

— То не можно, пани. Хата вымерзнет, надо возвертаться топить, — бормотал Анупрей, копошась в торбе, положенной на скамью.

И опять начал извиняться, что побеспокоил так поздно. Но во всем винил чертей, которые «ни с того ни с сего среди бела дня устроили такую куряву». Уверял, что ведьма вздумала замуж выходить и ведьмаки вокруг нее закуролесили. А он, уж коли вышел из дому, возвращаться не стал, вот и заблудился в той чертовой карусели.

Анупрей казался Соне дремучим дикарем, и ей стало его жалко. Она спросила Элю, не осталось ли у них чего «для сугреву». Та вынула из шкафчика почти пустую бутылку, поболтала. Соня разочарованно качнула головой — мало. Однако, глянув на окно, залепленное снегом, зябко вздрогнула. В такую коловерть не пойдешь к шинкарке.

Анупрей тем временем полез в карман своих широченных стеганых штанов. И положил на белую ладошку Сони тяжелые карманные часы в золотом корпусе.

Та стала открывать крышку, рассматривая гравировку, заводила часы, слушала их ход, а медвежеватый гость тем временем улучил момент, кивнул Эле, и она поняла:

пришел не один. Сердце девушки застучало, лицо загорелось.

— Что вы хотите за это? — спросила Соня лесовика.

— Ат, чего ж, милость пани, зима заходит холодная. Больше я сюда не выберусь, а погреться бывает нужно. Самогону бы первача або шпирту. Да и серянок...

— Спички у меня есть. А спирту не достать, разве только крепкого самогону... — Соня с досадой кивнула на окно. — Вот если б не такая завируха, я бы сбегала...

— Так, может, я вас провожу?

Эля тут же вызвалась сходить. Дорогу она к шинкарке знает.

Соня обрадовалась ее предложению, достала немецкие марки и, не считая, целую кучу отдала Эле.

— На все! — сказала она. — Пару бутылок первача хватит? — спросила Анупрея.

Тот согласно кивнул и снова патянул свою совсем размокшую кожушину.

Вышли. И только закрыли за собой калитку, Анупрей глухо, протяжно закашлял.

«Что с ним? — испугалась Эля. — Простудился?»

Но тут же поняла, что кашель этот был сигналом: навстречу им из-за куста пушистой от снега сирени вышел человек. Анупрей шепнул Эле:

— Вы поговорите, а я покараулю. Это ж ваш знакомый, Джума.

Эля и Джума не просто поздоровались, они горячо сжали руки. У него пальцы были железно-грубые, холодные, у нее — теплые, нежные.

— Эля! Уж думал, не увидимся.

— Джюма, — сказала она тихо и прильнула к нему, словно пряталась от хлесткого ветра со снегом. — А я верила, что вы меня найдете. Даже во сне вас видела. И вот мы встретились... только Ефим... — Голос ее дрогнул.

— Что с Ефимом? Где он?

— Похоронили вчера, — чуть слышно ответила Эля.

Долго молчали, прислушиваясь к вою разгулявшейся метели. Джума не мог представить, что больше не увидит своего богатыря, человека, ставшего ему самым надежным другом.

— Его ранило после того, как бросил гранату на пулемет, чтоб по вас не стрелял, — пояснила Эля.

— Я и знал, что он, если надо защитить друзей, закроет пулемет своим телом.

— Я виновата, надо было тащить его в лагерь, может, Мария Степановна спасла бы его. А я заблудилась.

— При чем тут ты, Эля? В войну не угадаешь, где найдешь свою судьбу.

— Джюма, мне можно возвращаться в лагерь? Одна я тут ничего не сумею...

Но Джума попросил ее подробней рассказать о взаимоотношениях с хозяйкой и бургомистром. И когда она посвятила его во все свои дела, он сказал не очень настойчиво:

— Если не боишься, немного поработай у бургомистра. Нам нужны бланки аусвайсов, которые немцы выдают людям вместо паспортов. Может, и узнаешь что-нибудь важное для нас.

— Ничего я теперь не боюсь! Если надо, значит, останусь. Да! — вдруг спохватилась она и рассказала об охотничьем домике.

— Вот видишь, уже есть польза от того, что ты сюда попала! Немножко потерпи. Анупрею часто приходить нельзя. Но мы что-нибудь придумаем. Найдем надежного человека для связи.

— Я думаю, можно поговорить с Иваном — лесником, который помог мне и Ефиму.

— Человек он надежный. Анупрей узнал, что его сын в партизанах. В общем, ты не беспокойся, мы пришлем связного.

Можно было и расставаться, но они еще крепче держали друг друга за руки. Джуме думалось, что Эля слышит, как стучит его сердце. А ей казалось, что он и в ночной темноте видит, как ее лицо залил румянец. Надо было расходиться. Но это было так трудно... Джума не успел сказать, о чем думал все дни и почи после расставания. Недалеко скрипнула дверь. Послышались мужские голоса.

— Уходи! — прошептала Эля, не отпуская его рук.

Джума привлек ее к себе и поцеловал.

Луч карманного фонарика, чиркнувший по снегу, словно оттолкнул их друг от друга. Эля убежала к Анупрею, чтобы идти к шинкарке. А Джума скрылся в заснеженных кустах сирени.

В эту ночь Эля долго не могла уснуть, вспоминала встречу с Джумой. Губы ее горели от первого поцелуя Джумы — короткого, торопливого, прерванного светом фонаря.

Задремала Эля только на рассвете.

Услышав ее мерное, глубокое дыхание, Соня осторожно встала, бесшумно оделась потеплей. У порога долго стояла, затаив дыхание. Убедившись, что не разбудила квартирантку, тихо открыла дверь и вышла из дому. В сенях взяла ведро, чтобы принести воды, а главное — затоптать следы ночного гостя. Не положено ходить в такую поздноту по домам.

На дворе было тихо, морозно. Село еще спало, не топилась ни одна печь. Осмотревшись по сторонам, Соня пошла по глубокому следу огромных растоптанных лаптей Анупрея. У калитки заметила еще один след — к кустам сирени под окном. Это был след сапог, а не лаптей и не валенок.

«Анупрей в лаптях, Эля выходила в валенках, кто же еще был тут в сапогах? — гадала Соня. — Неужели полицай подслушивал?»

При этой мысли она вздрогнула, тревожно оглянулась, со злостью растоптала этот след и метнулась к калитке, где у плетня снова наткнулась на такой же отпечаток сапога, рядом с которым была вмятина от валенка. Значит, Эля стояла с этим человеком у калитки. Анупрей с прямой тропы нигде до самой улицы не сходил. Видимо, был здесь еще один человек и Эля стояла с ним рядом. Но кто он — полицай или партизан?

Выбежав за калитку, Соня внимательно осмотрела следы Анупрея до середины улицы, где он пропахал глубокую борозду, когда уходил. Миновав пустующий дом, Соня поняла, что Анупрей шел позади своего спутника и затаптывал его следы.

Увидев, что след ушел в лес, Соня успокоилась и пошла к колодцу. На обратном пути, с полными ведрами воды, она еще раз прошла по следам у калитки и за сиренью. Вдобавок ударом коромысла стряхнула снег с сирени, чтобы засыпал все ночные следы. Лишь после этого вошла в дом. Теперь ее волновали вопросы — один важнее другого. Как поступить с Элей? Открыться ей, что видела следы и догадывается, что тут был кто-то кроме Анупрея, или нет? Если Эля прибилась к ее дому, спа-

сая раненого партизана, это одно. А если она — партизанская разведчица, тогда нельзя и намекать на то, что Соня догадывается о связи квартирантки с «лесовиками». Еще вспугнешь.

«Уйдет, — подумала Соня со страхом. — И опять я останусь торговка торговкой... Другие воюют, мстят фашистам, а я все только собираюсь...»

Когда Соня вошла в дом с полными ведрами воды, Эля не спала и как-то недоверчиво смотрела на хозяйку квартиры. Соня поняла, что Эля хочет спросить, почему так рано ходила за водой, когда воды еще полный бак, и сказала тихо, деловито:

— Следы Анупрея заметала. Лучше пусть никто не знает, что приходил ночью. Ты ведь к шипкарке в дом его не водила?

— Что ты! Он стоял за сараем.

— Ну и хорошо! — Соня понимала, что Эле трудно об этом говорить, подбежала к печке, загремела заслонкой: — Будем готовить завтрак!

А потом, решительно глянув на Элю, Соня вдруг закрыла дверь на крючок, занавесила окна, достала из-за пазухи большой голубой конверт и подала его Эле:

— Быстро смотри, да снова унесу в сарай. В доме бомбу держать менее опасно, чем это.

Эля, недоуменно глядя на голубой конверт, достала из него три фотокарточки, а увидев первую, сбросила одеяло и села на край постели. То, что она увидела на фотоснимке, словно холодной водой обдало ее и перевернуло все ее представления о хозяйке. На большом фотоснимке была запечатлена Соня с мужем и ребенком. Муж — командир Красной Армии, молодой, с орденом на груди. Он сидел, опираясь одной рукой на саблю, а другой поддерживал годовалого мальчонку, который тянулся ручками к сабле. За ними стояла Соня, красивая, сияющая от счастья.

На другой фотографии малыш уже стоял между родителями и, приподнявшись на цыпочки, держался за эфес сабли.

Эля подняла на хозяйку глаза, полные недоумения и страха:

— За что же в тюрьме?..

— Никакой тюрьмы не было! Никакой Соньки! — в исступлении топнула ногой хозяйка, готовая разрыдаться. —

Я Аня, смотри на обороте третьей карточки... Фашисты убили сына и мужа, когда они ехали из пионерского лагеря. Я решила притвориться кем угодно, чтобы за обоих отомстить этим гадам. Но не одному, а сотне, тысяче! — И в самое ухо прошептала: — У меня целый чемодан взрывчатки. Нужен только случай. Ты вот соглашайся поехать с Поздняковым в ресторан. Может, там и устроим... Я не боюсь погибнуть, только бы их уничтожить побольше.

Сбитая с толку неожиданным признанием, Эля не знала, что и ответить. Одними губами она прошептала:

— Боюсь, мы не сумеем с этим чемоданом... Я в этом ничего не понимаю.

— Да и я не очень-то. — И Соня так умоляюще посмотрела в глаза Эли, что ей нельзя было не поверить. — А ты посоветуйся с... — Она смутилась. — Ты не бойся, я его следы на снегу затоптала, засыпала...

— Неси это назад, прячь, — прошептала Эля и зябко вздрогнула. — Подумаем, что дальше делать.

Через несколько дней к Соне заявился «ухажер» из города, такой же торговец, как и она. Богато одетый, он не вызвал в местечке подозрения. А с полицаем, «случайно» зашедшим к Соне, он выпил и даже нашел общий язык, пытался вовлечь его в торговлю на «черном рынке», которая теперь процветала в городах и селах.

На самом же деле это был капитан Орлов. Он забрал содержимое чемодана Сони, считая, что держать взрывчатку здесь опасно.

— Продолжайте заниматься торговлей, музыкой, — советовал он, — ведите себя так, будто ничто, кроме развлечений, вас не интересует. За аусвайсы спасибо.

Соня удивленно посмотрела на Элю:

— Когда ж ты успела? Ну и молодец!

— Больше пока не берите, чтобы не вызвать подозрений у Позднякова. Связь с отрядом — через Ивана.

— Нашего Ивана, лесника? — изумленно переспросила Соня, радуясь, что наконец-то все прояснилось, все стало на свои места.

XX

Лагерь капитана Строгова находился среди соснового леса, возвышавшегося на песчаных холмах, в излучине двух болотистых речушек. Среди болот — и сухой сосно-

вый бор на песчаных барханах, точно таких же сугробах песка, как в Каракумах. Это парадокс пинских болот. Такое соседство сухих песчаных сугробов с заболоченной низиной встречается очень часто. На одном из таких холмов, среди вековых сосен, перед самой войной был вырыт резервный продовольственный склад. Капитан Строгов был одним из немногих в полку, кто знал об этом складе, и это подземное помещение стало надежным убежищем для оставшихся в живых бойцов его батальона.

Сюда и привел Ахмет полковника Стародуба. Сопровождавшим его автоматчикам и даже Сарбаеву пришлось остаться в молодом сосняке, там, где их остановил первый часовой. Ахмет, как бы извиняясь, объяснил, что капитан у них не только по фамилии Строгов, но и на самом деле очень строгий, любит порядок и дисциплину.

— Он приказал даже родного брата не приводить в расположение взвода, — смущенно пояснил Ахмет и тут же стал оправдывать своего командира: — Мы все погибли бы, если бы не слушались его.

Подземное убежище, в которое ввели полковника Стародуба, довольно ярко освещалось электролампочкой от аккумулятора. Но все равно Стародуб не сразу узнал своего лучшего комбата. Капитан Строгов, казалось, постарел на десяток лет. Только стал еще более подтянутым. А всегда румяное, цветущее лицо стало серым, как у шахтера, много лет проработавшего под землей. Строгов начал было рапортовать:

— Товарищ полковник!.. — но не выдержал, оторвал руку от козырька, шагнул вперед: — Павел Прокофьевич!.. — Обожженная порохом щека его стала еще более темной и подергивалась.

Стародуб обнял его, прижал к себе. И так, молча, они стояли несколько минут, в которые вспомнили и передумали, может быть, больше, чем за всю свою жизнь. Потом так же молча отстранились, Стародуб взял капитана за руку, крепко потряс ее и сказал:

— Сбылось твое изречение... — и, видя недоумение в суровых, немного раскосых темно-серых глазах капитана, Стародуб пояснил: — Помнишь, как поправил своего политрука роты? Он твердил: «Умри, но не пусти врага на родную землю!» А ты ему: «Дурень! Мертвого враг обойдет и двинется дальше. Нет, ты вывернись наизнанку, но выживи и убей врага!» — Стародуб доверительно доба-

вил: — Поверил я в тебя тогда на всю жизнь. И вот... Ну, ну, знакомь с отрядом: кто у тебя выжил, кто уцелел, с кем воюешь.

— Теперь я, как на самого себя, надеюсь на каждого из этих людей. — Капитан кивнул в сторону длинного стола, за которым бойцы чистили немецкие автоматы и винтовки. — Трое в дозоре.

— Откуда такие трофеи? — удивился Стародуб.

— Не в один день и не в одном бою, товарищ полковник, — ответил капитан. — Вот отдохнете с дороги, расскажу все подробно.

— Я не один. Распорядись, чтоб моих товарищей привели сюда, в тепло.

— Конечно же, Павел Прокофьевич. Сейчас пошлю дневального...

Еще в мирное время Стародуб при возвращении в свой полк после отлучки испытывал какое-то любопытство садовника, которому хочется поскорее обежать весь сад, взращенный его руками, осмотреть каждое деревце и порадоваться его прибавке в росте, а то и огорчиться, заметив трещину в стволе, сломанную ветку или внезапно напавшую болезнь. И, как садовник знает каждое свое деревцо, так Стародуб знал каждого командира, вплоть до отделенных, да и многих бойцов помнил в лицо...

И вот теперь перед ним должны были предстать все эти знакомые, после суровых испытаний, может быть, изменившиеся до неузнаваемости лица бойцов и командиров.

Из шестнадцати выстроившихся полукольцом красноармейцев только один оказался не раненым. Это был старшина Зарутдинов, всегда стоявший на левом фланге, как самый маленький ростом в полку. Пять лет знал Стародуб этого татарина всегда строго аккуратным, всегда веселым. К нему первому полковник и подошел.

— Что ж, Зарутдинов, в третий раз ты остался на сверхсрочную, и опять твоя невеста выйдет за другого,— крепко пожимая руку, сказал Стародуб, вспомнив, как, собираясь перед войной демобилизоваться, Зарутдинов сказал ему, что остался бы еще на сверхсрочную, да уж больно девушки стали нетерпеливыми: как задержался на годик-два, выскакивают замуж за другого. — Или на этот раз будет ждать? — спросил Стародуб, тепло глядя в глаза красноармейца.

— Теперь не боюсь, товарищ полковник! — весело и уверенно отчеканил Зарутдинов, с восхищением глядя в глаза командира. — Товарищ поэт Константин Симонов строгий приказ дал всем невестам.

Стародуб удивленно вскинул брови.

— «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди!» — процитировал старшина.

— По радио услышали? — спросил Стародуб. — Вот видите, вы лучше меня живете, стихи слушаете по радио, а мы даже последние известия включаем на самый тихий — питание экономим.

— У нас рация, товарищ полковник, — доложил капитан.

— Рация? — Стародуб левой рукой взялся за подбородок, как это делают только бородачи, привыкшие оглаживать бороду. — Неужели есть связь с нашими?

— Нет. Радист вместе с кодом подорвался гранатами, когда его землянку окружили немцы.

— Это Саша Зайцев? — спросил полковник и в печальном раздумье долго молчал. — Саша Зайцев... А ведь за месяц до войны у него родился сын. — Заложив руки за спину, он прошелся перед строем, потом оглянулся, пробежал глазами по землянке и тихо сказал: — Садитесь, товарищи, кто где может, вспомним, что пережили-перевидели, поговорим, как будем дальше воевать. Капитан, зови своих всех, а мои товарищи постоят на посту.

— Сейчас придут, товарищ командир, — ответил капитан и замялся. — Кроме одного, который в секрете. Его я сам меняю.

— Ты все такой же! Хорошо, очень хорошо! С тем потом познакомишь...

Зарутдинова капитан назначил разводящим, и тот увел трех бойцов Сарбаева на пост.

В землянке было много ящиков с боеприпасами и продуктами, в основном с консервами. Бойцы расселись на этих ящиках, и началась тихая, задушевная беседа боевых друзей, встретившихся после долгой разлуки.

С одним Стародуб говорил долго, подробно обо всем расспрашивал, с другим все выяснялось двумя-тремя фразами. Последним был высокий худой юноша с печальным лицом и внимательными глазами, над которыми свисала черная шевелюра с преждевременной сединой. Придя с дежурства, этот боец не нашел места на ящиках

и сел на высоком пороге. Стародуб указал ему место рядом с собой:

— Садитесь, Сергей Федорович. Поближе садитесь, товарищ музыкант.

— Минометчик, а не музыкант! — поправил Строгов.

— Путаешь, товарищ капитан, Сергей Федорович замечательный кларнетист, — настаивал на своем Стародуб.

Но капитан, тепло посмотрев на бойца, смущенно опустившего голову, впервые за время беседы улыбнулся, и на бледной щеке его наметилась ямочка.

— Переквалифицировался наш кларнетист, — добродушно пояснил он. — На «самоварной трубе» теперь играет. Это он так батальонный миномет называет. На этом инструменте он при мне ни разу не сфальшивил.

Стародуб видел когда-то, как моют золото. Труд этот и тяжелый, и длительный. Переворошить и промыть приходится горы песка, пока в горсти старателя соберется несколько тяжелых, горящих искринок нетленного металла. И уж в этой горстке — ни грязи, ни мусора, каждая крупинка — золото.

Такой безупречно чистой, испытанной в огне смертельных схваток с врагом представилась полковнику горстка боевых друзей капитана Строгова после того, как побеседовал с каждым, а потом с самим командиром наедине. Да, этот отряд жил по закону — один за всех, и все за одного.

Теперь полковник убедился, что поступил правильно, когда решил остаться действовать в тылу гитлеровцев. К тому же Строгов рассказал, что радист еще успел связаться со штабом армии и запросить, что делать их маленькой группе, оказавшейся в глубоком окружении. И Строгову было приказано действовать в тылу противника по-партизански — уничтожать вражеские коммуникации, взрывать склады, мосты, железнодорожные пути, истреблять отдельные воинские группы. Штаб обещал прислать человека с новым кодом. На следующем сеансе радиосвязи Строгов должен был получить точные координаты высадки десантника. Но сеанс не состоялся из-за гибели радиста.

Вечером Стародуб, Сарбаев и Строгов уселись за большим ящиком, поставили на него крохотную настольную лампочку и стали советоваться, как действовать совместно.

Капитан предлагал Стародубу остаться здесь и возглавить отряд. Но Стародуб, глядя на Сарбаева, ответил, что он со своим спасителем не расстанется никогда. Сарбаев встал на сторону капитана. Конечно же основная база, штаб да и знамя должны быть здесь, где и оружие посолиднее, и боеприпасов столько, что можно вести длительную оборону.

— Вы в армии командовали нами, командуйте и здесь. Мы вот устроим детей по селам — уже кое-где договорились, — и можете считать нас своим летучим отрядом. Нынче здесь, завтра там. Где взорвем, где сожжем, где просто перестреляем, — развивал свой план Сарбаев. — Есть землянка — хорошо. Потеряем — не пропадем. Здесь наших акмолинских метелей не бывает. Мне бы только опытного минера, чтоб помог капитану Орлову обучить моих ребят подрывному делу.

— Минера дам. А нам что же, советуешь отлеживаться, жиреть и телом, и совестью? — спросил капитан. — Хорошо же ты, соседушка, думаешь о нас! И все же ты прав насчет того, что основная база должна быть здесь. Но боюсь, что все мои ребята запросятся к тебе, к «летучему». Им ведь тоже хочется кружить орлами над станом врага.

Вопрос организации и взаимодействия партизанских отрядов был для всех настолько неясным, что проговорили до полуночи, но так ничего и не решили.

Наконец Строгов на правах хозяина жилья спросил, не утомились ли товарищи и не лечь ли спать. Но, услышав, что все равно теперь сразу не уснешь, предложил обсудить еще один вопрос. Получив согласие гостей, он кивнул дневальному и сказал:

— Приведи фотографа.

Дневальный вышел, а капитан доложил, что задержал одного шпиона, бродившего по селам под видом фотографа. В фотоателье на работе он действительно числится. Но главное его занятие — контроль над полицией.

— Самое интересное в его показаниях то, что хозяин фотоателье, некий Леончик Калина, состоит на службе в абвере, заведует группой русских переводчиков. Мать его живет в предместье областного центра. Леончик часто к ней приезжает. Вот мы и думаем: не взять ли Леончика? Останавливает нас только то, что нет кода и мы все равно его показаний не сможем передать нашим,

Дневальный ввел невысокого, но довольно полного, неповоротливого человека с хитро прищуренными глазами. Ему развязали руки и усадили перед столом из ящиков. Говорил этот человек охотно, быстро, часто повторяя уже сказанное, словно проверяя себя, так ли ведет речь.

Стародуб стал подробно его расспрашивать о жизни Леончика, о работе фотоателье, о клиентах. Особенно интересовался полковник военной клиентурой. Спрашивал, как платят немцы, приезжает ли в ателье большое начальство, или оно вызывает фотографов к себе.

Наконец полковник спросил фотографа, взял бы Леончик в свое ателье художника, чтобы тот рисовал портреты немцев и их приспешников.

— О-о! — Фотограф высоко поднял свои жиденькие желтые брови. — Тут Леончик взлетел бы выше бургомистра. Помню, как он избил одного мастера за то, что тот ретушью не угодил заказчику. А что там было ретушировать?! Сфотографировался сам помощник гебитскомиссара и потребовал сделать его на портрете более бравым. А сам что в высоту, что в ширину! Тут ретушируй не ретушируй, а жира не снимешь. Ну, а художник — совсем другое! Он может нарисовать как угодно. О-о, Леончик за такое дело ухватился бы...

Фотографа увели.

— По его доносу несколько полицейских были расстреляны,— резюмировал Стародуб.— Значит, это были не те полицейские, которых ненавидит народ. Приговор этому предателю может быть только один... А вот насчет хозяина ателье, даже если бы у нас была возможность передать его показания, я бы советовал не торопиться. Надо попробовать подослать к нему нашего художника. Как портретист он ему, безусловно, придется ко двору...

— Да, свой человек в областном центре нужен. Только жалко мне с Андреем расставаться, — тяжело вздохнул Сарбаев.

— Как думаешь, он справится? — спросил Стародуб, глядя на поникшего лейтенанта.

— Человек он довольно выдержанный, — ответил Сарбаев. — Думаю, что сумеет приспособиться.

— Договорились, — решил Стародуб. — Пришлешь Гака сюда. Проинструктируем, кое-что о Леончике узнаем от фотографа... Кстати, пусть и батальонный комиссар придет сюда с художником. — И, коротко рассказав капи-

тану Строгову о Чугуеве, полковник сказал, что комиссар здесь будет более полезным, чем в маленьком отряде. — Ну, а теперь, хозяин, устраивай спать.

В обратный путь Сарбаев собрался сразу же утром. Строгов дал ему подрывника Зота Курчумова, о котором в шутку говорили, что он «даже из хвороста делает мины».

— Он научит ваших ребят выплавлять тол из неразорвавшихся бомб и снарядов, — сказал капитан, — покажет несколько способов изготовления мин...

Но в это время вернулся связной Строгова, ежедневно ходивший в деревню, где у капитана были свои люди. Он сообщил, что в соседнем районе тоже скрывается группа бойцов и командиров, которые ищут своих. Они узнали о знамени и просят свести их с тем нашумевшим отрядом, что на бронетранспортере рейдирует.

— Да, нашумело наше знамя! — заметил капитан, благодарно кивнув Сарбаеву. — Были мои бойцы за железной дорогой, это в пятидесяти километрах отсюда, так там уже рассказывают, что по тылам целая дивизия гуляет под красным знаменем. Это было здорово, хотя и по-партизански!

Стародуб поинтересовался, кто командир группы.

— Старший лейтенант просил передать, — отвечал связной, — что его каждая собака в полку знала, потому что только у него борода, а половина правого уха на Халхин-Голе осталась, когда...

— Бараташвили! — не дав ему договорить, воскликнул Ахмет.

— Да, это он, старший лейтенант Бараташвили, — подтвердил Стародуб. — Человек-легенда. Его танк подожгли, машина сгорела, а он выполз, как говорили в полку, «обуглившийся». Из штаба самураев убежал средь бела дня: с третьего этажа спустился по окнам. В общем, от смерти он застрахован.

— Помню, в полку шутили, что это на него поэт смотрел, когда писал песню: «И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим!» — добавил капитан. — Он командовал учебной ротой. Разрешите сходить к нему, узнать о его планах? Может, у них с боеприпасами туго...

— Товарищ полковник, зачем же капитану? — взмолился Ахмет. — Ведь мы с лейтенантом Сарбаевым идем

в ту сторону. А главное — я с ним еще в полку на Халхин-Голе дружил.

— Что ж, можно и так, — согласился Стародуб, потому что капитан был здесь ему нужен. — Люди вы представительные, так что Бараташвили примет вас как равных, даже если он стал командиром грозного отряда.

Но Сарбаев опоздал. Придя в расположение отряда Бараташвили, он узнал, что вчера командир с шестью бойцами попали в руки полиции.

Сарбаев отправил Кастуся со строговским минером в свой лагерь, наказав Орлову сразу же организовать курсы минеров, а Чугуеву и Андрею Гаку явиться к полковнику. Сам же Сарбаев, собрав оставшихся в лагере Бараташвили партизан, решил во что бы то ни стало выручить их командира из полицейского застенка.

XXI

Комендант бродницкой полиции Шилевич вбежал в свой дом с полицаем, державшим автомат наизготовку. Остановился посреди комнаты — здоровый, разгоряченный быстрой ходьбой по морозу.

— Что тут за гость? — не очень приветливо спросил он человека, увлеченно игравшего в шахматы с его двенадцатилетним сыном.

Гость поправил очки в массивной роговой оправе, но промолчал, словно и не слышал вопроса.

«Кто же он такой?» — ломал голову Шилевич, перебирая в памяти всех знакомых горожан. А человек этот, сразу видно, городской. Лицо хотя и обветренное, но белое, интеллигентное, да и одет не по-деревенски — в темно-сером костюме, белой сорочке, при галстуке. На вешалке Шилевич заметил добротное пальто и шляпу.

— Шах! — с восторгом объявил мальчишка, тоже никакого внимания не обративший на отца.

— Я спрашиваю, кто вы такой? — уже раздраженно повторил комендант полиции и обратился к бледной, растерянной жене, стоявшей возле печки: — Ты передала, что пришел старый мой знакомый, а я что-то не признаю этого пана.

— Неужели не узнаете, пан комендант? — спросил гость, все еще не отрываясь от шахматной доски. —

В гебитскомиссариате мы с вами так хорошо беседовали...

— Что-то не припомню, — растерянно развел руками Шилевич.

— Мат! — вскрикнул мальчишка и подбежал к отцу: — Пап, у этого пана есть разряд по шахматам, а я его обыграл. Знаешь, как мне мальчишки позавидуют!

Гость наконец встал, представился паном Бурковским, служащим гебитскомиссариата, и довольно крепко для его щуплого телосложения пожал железную руку Шилевича.

— Нам поговорить надо с глазу на глаз, — сказал пан Бурковский тихо, но властно.

Хозяин кивнул жене, она взяла сына за руку и увела из комнаты, плотно закрыв за собою дверь. А полицаю Шилевич велел выйти и ждать возле дома.

— Да-да, постойте у калитки и посторонних, пожалуйста, в дом не пускайте, — попросил гость. — Дело у нас важное, государственное.

Полицай откозырял и вышел.

— Садитесь. Поговорим, — указал на стул гость тоном человека, привыкшего приказывать. — Мы действительно никогда с вами не встречались. Я сказал это только для посторонних...

«Гестапо!» — холодной змеей шевельнулось под сердцем Шилевича, и он сел, поспешно вспоминая все свои промахи. В том, что тайная полиция следит за его деятельностью, Шилевич не сомневался. Шеф полиции все время недоволен его работой, несмотря на то что и налог в районе собирался всегда быстро и молодежь для отправки в Германию Шилевич отмобилизовал одним из первых в гебите. Правда, ни продовольствие, ни люди в неметчину не попали. Хлеб сгорел в пакгаузе за день до погрузки в вагоны. Скот в лесу соседнего района отбили неизвестные вооруженные люди. А хлопцы и девчата разбежались уже в пути. У них оказалась ножовка, и они перепилили ею болты на дверях вагона.

Но при чем тут он, Шилевич? Все случилось за пределами его района. Разве только тот парень попался да сознался, что ножовку-то дал ему сам Шилевич... Были еще и другие огрехи, за которые гестапо не миловало...

— Я от Сергея Зимы, — как холодной водой окатил Шилевича гость. — Капитан Красной Армии.

Шилевич даже привстал. Но гость решительным жестом потребовал оставаться на месте.

«Провокация! — подумал Шилевич, продолжая верить в свою догадку, что все это провокация гестапо. — Хотят выведать, связан ли я с партизанами...»

— В ваши руки необъяснимым образом попал боевой командир Красной Армии с товарищами, — почти шепотом продолжал гость.

— Бараташвили?! — воскликнул комендант неожиданно громко и пугливо посмотрел за окно, где возле калитки стоял полицай.

— Не думаю, чтобы старший лейтенант добровольно сдался в плен...

— Эта паскуда аптекарь дал им снотворного, а потом позвал моих хлопцев. — И комендант беспомощно развел своими огромными руками. — Что мне было делать?

Капитан, придерживая двумя пальцами очки, недоверчиво посмотрел на коменданта:

— Что ж этот аптекарь, выслужиться захотел, разбогатеть?

— И то и другое! Надеется за каждого партизана получить обещанные в последнем приказе деньги.

— Читал, — кивнул капитан. — Пла́тите не очень дорого.

Комендант рассказал, что, когда в их районе появились партизаны, провизор переселился на хутор, стоявший возле дороги в город. В полиции решили, что он сочувствует партизанам. Установили наблюдение. Он и вправду сначала и днем и ночью пускал одиноких партизан и всяких беженцев. Некоторые беженцы так и не выходили потом из его дома. Неизвестно, куда он их девал. А когда пришел к нему целый отряд и кто-то, видно в шутку, назвал грузина Сергеем Зимой, тут уж провизор выставил на стол все, чем был богат. А в вино — крепкого снотворного. Их и свалило. Всех повязал, а сам на коня и — в полицию.

— Я бы их вам и отпустил, — закончил комендант.— Но этот прохвост еще и расписку взял за всех пойманных. И даже счет представил. Все, как в аптеке на весах!

— В город вы уже сообщили?

— Я обязан был, — виновато пожал плечами комендант. — Иначе он донес бы и на меня...

— За арестованными немцы приедут, или вы здесь сами должны с ними расправиться?

— Немцы боятся ехать в наш район! Теперь не очень-

то разъездишься. Вначале они охотно выезжали, стоило только сообщить по телефону, что в село приходили партизаны. А теперь убедились, что их выезды часто стали безвозвратными, так даже злятся, если просишь помощи. «Вы полиция, у вас оружие. Сами расправляйтесь с бандитами, если расплодили». Вот и сейчас требуют, чтобы я привез партизан для допроса. И даже не советуют снаряжать большой конвой. Считают, что если в дороге нападут партизаны, чтобы отбить своих, то они перебьют весь конвой, какой бы он не был.

— Вот как? Все же они вас жалеют.

— Лучше потерять пять, чем пятьдесят, сказал шеф по телефону и даже посоветовал послать самых неблагонадежных, — продолжал комендант. — Немцы после неудач под Москвой стали нам меньше доверять, но в то же время и заигрывают: паек увеличили, оружия подбросили, потому что свеженького теперь в полицию не заманишь. Дураков больше нет. Это вот мы попались... по молодости, по глупости...

— Так говорят все полицаи! — отмахнулся капитан.— Когда вы должны доставить в город арестованных?

— Сегодня к четырем. В час к комендатуре подойдет подвода и...

Капитан посмотрел на часы. Было двенадцать.

— Ясно! Аптекаря отправьте тоже с ними, за получением вознаграждения. Мы наградим его сами. — И, придвинув к себе шахматы, капитан закончил: — Ну и договорились. Этого полицая, — кивнул он за окно, — назначьте старшим конвойным. Мы его уберем с вашей дороги, чтобы не было свидетеля нашей встречи. Зовите его, пусть посидит здесь с вами, пока я уйду. А Володе передайте спасибо за хорошую партию. Он у вас молодец.

— Башковитый хлопец, — согласился Шилевич и с восхищением заметил: — Как-то совсем не по-партизански вы явились!

— Это почему же? — усмехнулся капитан.

— Полиция ведь ждет, что партизаны налетят, перебьют, сожгут. А вы в шахматы с сыном коменданта играете!

— Налететь-то мы могли бы. Вы знаете, что у нас есть для этого все.

— Ну, если на танках разгуливаете по районам, то...

— Но иногда лучше вот так — потихоньку, спокойно договориться и сделать что надо.

Сама операция по выручке попавших в беду партизан не отняла столько сил и времени, как подготовка к ней. Два конных полицая, скакавших впереди саней с кошевой, закрытой пологом, были убиты одиночными выстрелами. Двое других бросились в лес, но и они далеко не ушли. А провизор, сидевший на облучке перед кошевой, в которой лежали связанные пленные, начал отстреливаться и погнал лошадей. Его застрелили, хотя партизанам хотелось взять его живым, чтобы узнать, нет ли у него сообщников.

Перерезав веревки, которыми были связаны пленные, партизаны вместе с освобожденными убежали в лес. Среди заснеженных елей остановились и только тут рассмотрели друг друга и начали знакомиться.

Бараташвили был высокий, богатырски сложенный человек. Лицо его представляло сплошные шрамы от ожогов. Глядя на него, Джума невольно вспомнил, что этот человек выполз из танка «обуглившийся». Большая черная борода его, разделенная на две половины, развевалась на ветру, и казалось, она и сейчас еще дымится.

Узнав, что перед ним Сергей Зима, о котором грузин уже слышал, Бараташвили широко расставил руки, крепко обнял и расцеловал своего освободителя.

— Спасибо говорить тут мало! — гремел своим басищем грузин.

— Не меня благодари! — устало отирая лоб, сказал Джума. — Капитану Орлову ты обязан спасением.

— Не знаю такого, — смущенно ответил Бараташвили.

— Это теперь один из помощников твоего командира, полковника Стародуба.

— Погиб Стародуб! — возразил Бараташвили, недоуменно глядя в глаза Сарбаева. — Снаряд разорвался у входа в его блиндаж. Сам видел.

— А я сам вытащил его из-под кучи земли после того взрыва, — в тон ему сказал Джума.

Бараташвили схватил Сарбаева за плечи, тряхнул и, благодарно глядя в глаза, сказал тихо, но твердо, словно поклялся:

— Век родным братом будешь! Идем в мой лагерь, угощать буду. Потом пойдем к полковнику.

— Ни в твой, ни в наш лагерь мы сразу не пойдем, пока не убедимся, что нет погони, — охладил его пыл Сарбаев. — Вот зайдем подальше в лес, разведем костер и там попируем тем, что добыли мои ребята в чемодане провизора. Надеемся, что для себя он вез продукты, не отравленные снотворным.

Ночь застала партизан в глухом, нехоженом лесу.

Здесь, у костра, где решили и заночевать, Джума рассказал Георгию Бараташвили историю своей поездки на Кавказ.

Это случилось за год до войны. Джума приехал отдыхать в санаторий «Кобулети». Вечером он пошел в кафе, где играл джаз и пели грузинские песни. Он ничего не выпил из того, что взял, ничего не съел. Сидел и с восторгом слушал игру простых парней, наверное нигде не учившихся своему искусству, а разве только умевших подслушивать неистовые песни ветра в горах да рокот морского прибоя. Оркестр состоял всего лишь из трех неказистых на вид, старых, совсем незнакомых казаху инструментов. Однако играли парни так горячо, так страстно, что за душу брало.

Вдруг по кафе пронесся восторженный крик, все захлопали в ладоши.

— Реваз!

— Реваз пришел!

— Генацвале Реваз!

Музыканты встали и, потрясая инструментами, приветствовали подходившего к ним юношу, с лицом цвета каленого ореха и черной шевелюрой. Правый рукав его белой рубашки был воткнут внутрь под плечом.

«Чем же так прославился этот человек?» — подумал Джума.

Как только Реваз пожал руки музыкантам, они сели и заиграли что-то задушевное и волнующее. Кто-то выключил свет, оставив лишь за спиной буфетчицы чуть желтевшую электролампочку.

Реваз стал лицом к морю, которое по временам освещали вспышки пограничных прожекторов, и вдруг запел, протягивая руку к холодно плещущим волнам.

Слов Джума не понимал. Но ему показалось, что этот юноша не просто в гневе и тоске обращается к морю, а

сурово требует вернуть что-то, отнятое этой темной бушующей стихией.

«Видно, руку он в какой-то морской катастрофе потерял и об этом поет», — подумал Джума.

За соседним столиком кто-то уже всхлипывал, кто-то надрывно вздыхал, а сидевший с Джумой пожилой грузин тихо раскачивался и в восторге тянул:

— А-а-а, а-а-а, генацвале! А-а-а, генацвале!

Певец и музыка умолкли.

Грохотало, гремело и хлестало в гранитную твердыню набережной ночное смолянисто-черное море, переплескивалось через перила солеными брызгами, взлетавшими целыми каскадами огней.

А люди молчали.

И вдруг вместе с яркими электрическими огнями вспыхнули, всплеснулись, покрывая грохот морского прибоя, аплодисменты и возгласы восторга.

«Грузины умеют ценить талант! — пронеслось в голове Сарбаева, не замечавшего, что он стоит уже не возле своего столика, а рядом с музыкантами, в шумной толпе, и хлопает, и что-то кому-то восхищенно говорит. — Но зачем же ему прозябать в этом кафе?.. Почему он не в театре, не на виду у всех людей?»

Реваз спел еще две песни и ушел так же под бурю аплодисментов, как и пришел.

Наступил день отъезда из санатория. Был шторм, никто не купался. И только одна девушка уплыла в море, и ее голова в голубой резиновой шапочке изредка показывалась на гребне волны в полукилометре от берега. Джума подошел к морю, хотел по традиции бросить копейку, чтобы снова сюда вернуться. Людей на берегу было много. Они сидели на мелкой, как песок, голубоватой гальке и смотрели на море, куда уплыла девушка. Несмотря на непогоду, некоторые загорали, пользуясь солнцем, которое с трудом угадывалось за начинавшими расходиться облаками. И вдруг за очередным накатом высокой волны на берег выплеснулось:

— Помогите!

— Уплыла в такую коловерть, да еще и дурачится! — проворчала старушка, зло смотревшая туда, где скрылась голубая шапочка.

— Нет! Инка не может дурачиться! — вдруг соскочи-

ла с лежака девушка в сереньком платье. — Надо спасательную звать.

И опа побежала в сторону голубого домика, окруженного вытащенными на берег спасательными лодками. Там, выслушав ее, ударили в колокол. Но лодку на воду не стали спускать. Никого не нашлось, кто мог бы в такой шторм пуститься на шлюпке в море. Джума с досадой смотрел на море. Он, прекрасно плававший на родном Ишиме, здесь был бессилен даже в маленький шторм. И тут появился Реваз.

Крика о помощи больше не было, но голубая шапочка изредка появлялась на волне. Реваз окинул глазами берег. Джума догадался, что он ищет спасательный круг, но ничем ему помочь не мог. В хорошую погоду здесь можно было бы найти и резиновый круг, и надувную лодку. Но теперь ничего этого не было.

Реваз увидел девицу, лениво развалившуюся на резиновом матраце. Не раздумывая, он выхватил из-под нее матрац и, держа его за надувную трубку зубами, бросился в высокую, ревущую волну.

И опять неистовые крики восторга, как во время его пения:

— Реваз! Реваз! Реваз!

Джума долго потом хранил так и не брошенную в море копеечку, хранил в память о встрече с удивительным человеком, о котором вспомнил сейчас, увидев Георгия Бараташвили.

Когда Сарбаев закончил свой рассказ, Синьков горячо воскликнул:

— Это парень! С таким я бы в огонь и в воду!

— Ты можешь это сделать хоть сегодня, генацвале! — почему-то печально и тихо сказал Георгий. — Вот он, тот Реваз, мой старший брат. — И он кивнул на угрюмого человека, обросшего широкой черной бородой, похожей на корягу, вывороченную из болота.

— Так у него ж две руки! — Сарбаев вскочил и подошел к бородачу, молча лежавшему по другую сторону костра.

Грузин даже не шевельнулся. Джума понял, что у того вместо правой руки — протез. Растерялся. Ему хотелось как-то очень сердечно поприветствовать человека, о котором сам только что так восторженно рассказал. Но тот молчал.

— Садись, командир! — выручил его Бараташвили-младший. — Беседы у вас не получится. Брату теперь не до разговоров.

— Но как он очутился здесь? — развел руками Джума, возвращаясь на место.

— Вот и расскажу. — И младший Бараташвили кивнул старшему: — Пойди набери хворосту.

Тот молча ушел.

— Мы ведь мальчишками остались без отца и матери. У дяди росли, — начал свой рассказ Георгий. — Поэтому, когда Реваз собрался жениться на той самой девушке, о которой ты рассказал, он приехал ко мне за братским благословением. У нас, в Грузии, этот обычай еще крепко держится. Да тут и не в обычае только дело, любим мы друг друга. Ведь нас только двое детей было у отца.

Приехал он с невестой, той самой Инкой, о которой рассказывал Джума. Она была так прекрасна, что мои солдаты при встрече спотыкались. Свадьбу решили начать в городе близ нашей воинской части и закончить в Грузии. Всех друзей пригласил, сам Стародуб обещал быть с женой.

Свадьбу назначили на воскресенье, двадцать второго июня. Ну а в этот день, сами знаете, какая началась свадьба. Вечером начальник Смерша вызвал меня и спросил, что за связь у меня с подозрительным типом, которого в полдень задержали в расположении части. Этим подозрительным оказался Реваз. Он прорвался ко мне один. Инка погибла под развалинами разбомбленной гостиницы, где Реваз оставил ее, рано утром побежав на рынок за цветами.

Без цветов он к ней не приходил на свидание. А теперь и смотреть не может на цветы.

— А что у него с рукой случилось? — спросил Джума.

— Кошку спасал, упавшую с катера в море. Под винт попал. Тогда ему было двенадцать. Да голова у него и сейчас такая же горячая, неразумная. Вчера в комендатуре хотел дежурному полицейскому глотку зубами перегрызть, чтоб мы тем временем могли разбежаться. Хорошо, что мы вместе: где сдержу силой, где — словом. Он меня слушается. Признает командиром. Я вам рассказал все, чтоб вы его не расспрашивали. Он замок повесил себе на язык. Не до разговоров ему сейчас.

XXII

Отряд Георгия Бараташвили оборудовал под жилье дот, оставшийся невредимым со времени первой мировой войны. Здесь стояла жестяная печка, которую топили только ночью, чтобы дым не выдавал жилья. Это убежище находилось в непролазных зарослях. Вход в него был через узкую подземную траншею, выходившую к речке.

До войны местные жители об этом доте, конечно, знали. Но теперь в такие дебри не забирались: в траве осталось много случайных мин, да и немцы не разрешали ходить в лес. Всякого, кто попадался на пути из леса, обвиняли в связи с партизанами.

До ближайшего села было семь километров, но пока полиция здесь не бывала.

— Устроились вы, как барсуки! — оценил Сарбаев. — Только плохо, что и живете по-барсучьи, хуторком. Неужели не слышали о других партизанах?

— Мы знали даже о вас, — сознался Бараташвили и виновато добавил: — Да ведь не думали, что полковник с вами.

— С нами или нет, но одни вы пропали бы ни за грош.

— Да, это так! Признаюсь, мы боялись столкнуться с какими-нибудь самозванцами. Была тут пятерка мародеров-насильников. Выдавали себя за партизан. Мы их поймали и судили прямо в селе, народным судом.

— Я о них тоже слыхал, но не настиг, — сказал Сарбаев.

— А вот с вами... — Бараташвили тряхнул кулаками, — пойду хоть к черту в зубы. Берите в свой отряд.

— Зачем брать? — возразил Джума. — Важно быть душой вместе. Действовать заодно. Теперь нас три отряда. Целая бригада. Три командира. А один главный, полковник Стародуб. Он вроде комбрига.

— Что ж, и так верно, — согласился Бараташвили. — Хорошо это еще и тем, что, если твою базу обнаружат, ты можешь со своими людьми укрыться у меня. Мою продырявят, я попрошусь под твою крышу.

— Давай! Ко мне всегда прошу! — широким жестом пригласил Джума. — У меня теперь крыша надежная. Ни бомбы, ни снаряды, ни черти-дьяволы ей не страшны. — И он кивнул на небо.

— А что, у вас даже землянки нет? — удивился Бараташвили.

— Землянка есть. Но мы в ней отдыхаем только сутки. Три-четыре дня пробираемся на диверсию. А обратно и того больше, чтобы следов не оставить. Вот и получается, из десяти дней — девять под голубой крышей.

— И я согласен так жить. До самого конца войны — только так! — воскликнул Бараташвили.

Оставив одного бойца для связи Бараташвили с полковником, Сарбаев отправился в свой лагерь. Бараташвили сам взялся вывести их из этих дебрей — постороннему выбраться отсюда было нелегко.

Сначала шли по густому, труднопроходимому лозняку. На пути часто встречались дикие кабаны, с шумом и хорканьем убегавшие в болото. Не раз попадались лоси, удивленно косившиеся на непрошеных гостей. Один матерый сохач так и не сошел с дороги, по которой шли партизаны. Пришлось обойти его.

Из лозняка выбрались только к полудню, когда поднялся теплый ветер, быстро съевший снег на открытом месте. Здесь устроили большой привал, пообедали и распростились с Бараташвили.

Лесом, где снег еще держался, прошли с километр и услышали собачий лай. Пес залаял сначала несмело, потом все звонче, призывней и жалобней.

Березняк кончился, и открылось поле. Партизаны вышли на черную пашню и остановились, потрясенные увиденным. Четыре дома, несколько сараев и клунь, скирды сена, соломы — все, что могло гореть, было сожжено и теперь дымилось, дотлевало. Целой осталась только собачья конура, в которую, завидев людей, опять забился только что так призывно лаявший пес.

Хмуро, молча партизаны пошли на пожарище.

У первого дома, бревна которого уже осели и догорали огромным костром, остановились, и Сарбаев тихо, надломившимся голосом спросил:

— Товарищи, а не сожгли эти изверги и людей? Запах пепла какой-то дурманный.

Никто ни слова в ответ. Он молча пошел ко второму пепелищу, возле которого стояла деревянная собачья будка. Видно, до смерти напуганный всем, что произошло с хозяевами, пес забился в будку и жалобно поскуливал. Он, наверное, и теперь считал, что надвигается его неми-

нуемая гибель, но ничего не мог поделать, так как был на толстой цепи.

Тихо, призывно посвистывая, Сарбаев протянул руку. Пес ударил было хвостом в знак признательности, но снова боязливо заскулил и забился в угол конуры. Сарбаев отвязал цепь от кольца на будке. Позвал. Но пес не вылез.

— Ну ладно, ты потом поймешь, что пришли совсем другие, и вылезешь, — тяжело вздохнув, сказал Сарбаев и заметил кровь на спине собаки. — Э, да ты ранен... Игорь, дай ему хлеба!

Увидев хлеб, пес боязливо, дрожа всем телом, вылез из конуры, жадно схватил кусок и тут же скрылся в будке, показав окровавленный правый бок.

— Дружок, Дружок! — опять заговорил с ним Сарбаев.

— А разве его Дружком зовут? — удивился Кастусь.

— Не знаю. Но, наверное, можно и так, — ответил Сарбаев. — Видишь, опять хвостом застучал. — И, обращаясь ко всему отряду, сказал: — Думаю, что тут все ясно — люди уничтожены или же вывезены. Эти строители новой Европы даже в привязанную собаку стреляли.— И он показал след автоматной очереди, которой была прошита железная крыша конуры. — А в отчете напишут, что на каждый патрон досталось по партизану.

Вдруг в середине хутора раздался грохот и треск: рухнул обуглившийся дом, казалось уже совсем погасший. Черные бревна оседали и сильней дымили. В дыму, среди кучи обуглившихся бревен и досок поднималась высокая печная труба. И это наводило жуть.

Пес вылез из конуры и, жалобно скуля, лизнул Сарбаеву руку.

— Идем, Дружок, отсюда, — снимая с ошейника цепь, сказал Сарбаев.

Освободившись из неволи, пес черным лохматым клубком понесся вокруг догорающего дома. Тревожно принюхиваясь, он обежал его дважды и стремглав бросился к другому пепелищу. Оттуда дальше и дальше. Наконец его жалобный и в то же время призывный лай раздался где-то у лесной опушки. Лай был таким настойчивым, что Сарбаев, распорядившись, чтобы бойцы внимательно осмотрели каждое догорающее строение, ушел на этот лай. За ним пошел Синьков.

Пес стоял на снегу и, глядя в лес, нетерпеливо поску-

ливал и время от времени завывал, высоко поднимая голову. Увидев, что человек его понял, пес побежал дальше. Подойдя туда, где только что стоял Дружок, Сарбаев увидел следы женских ботинок и брызги крови, замерзшей на снегу.

— Игорь, не затаптывай след, — сказал Сарбаев и побежал рядом со следом. Но след ботинок кончился. Началась сплошная борозда в снегу, обильно политая кровью. Здесь женщина упала и больше не смогла подняться. Дальше она ползла. Но далеко ли она уползла? Дружок лает уже где-то в лесу. По его лаю не чувствуется, что он кого-то нашел. Он все так же нетерпеливо рвется вперед, но время от времени поджидает человека, в которого поверил, как в друга. Сам Дружок не бежит дальше. То ли боится, то ли понимает, что уползшему человеку нужна помощь тоже человека.

— Игорь, возвращайся. Сделайте носилки — и всем отрядом сюда! — распорядился Сарбаев, не останавливаясь, чтобы не терять времени: может, раненая истекает кровью и каждая минута стоит ей жизни.

Под ногами он увидел большую голубую пуговицу от женского пальто. Теперь сомнения не было, что ползла женщина. Это подтвердил и след окровавленных пальцев, глубоко продавленный в снегу, где пострадавшая, видно, еще пыталась встать на ноги. Сарбаев снова побежал. Крови на следе теперь было меньше. Но все чаще попадались глубокие проталины, где женщина, видно, лежала, отдыхая.

Хотелось закричать, окликнуть, чтобы знала, что к ней спешат на помощь. Но этого нельзя было делать: испугается, подумает, что погоня.

В одном месте на снегу была видна вмятина от котомки.

— Дура баба, ой дура! — сострадательно воскликнул Джума. — Она еще и барахлишко какое-то тащит. Что значит женщина...

Примерно через полкилометра он опять увидел след котомки. С тревогой посмотрев на запад, где по красному после заката небу валились черные, словно дым от пожара, тучи, Сарбаев прислушался и понял, что товарищи уже идут по его следу.

Но догнал его отряд только за лесом, который кончился болотом, усеянным кочкарником.

— Держитесь от меня подальше, — распорядился Сарбаев, — а то перепугаем человека.

И он снова побежал. В одном месте остановился. Здесь на снегу алело несколько раздавленных ягод клюквы. Следы пальцев, царапавших снег, наводили на мысль, что раненая сгребала клюкву и ела. На зеленой кочке увидел какую-то темно-красную тряпочку. Поднял клочок марли с завернутой в нее раздавленной клюквой. Это походило на жёванку, самодельную соску, какие в здешних деревнях дают детям. В тряпочку нажуют хлеба и сунут в рот. Ребенок чмокает, сосет.

«Неужели?..— Сарбаев даже остановился от страшной догадки.— Котомка — это ребенок? Грудной ребенок?!»

Сбросив на снег свой отяжелевший полушубок, подарок Анупрея, Сарбаев побежал изо всех сил.

Но повизгивание и лай пса все удалялись и удалялись.

— Да сколько же она может ползти! — воскликнул Сарбаев, глянув на запад, где стало совсем темно. — Ведь километров пять уже прошел!

И снова было болото, по которому женщина проползла сотню метров, а потом круто повернула и, выбравшись опять на твердое, поползла вдоль опушки леса.

В одном месте след вышел на пашню. Сарбаев обрадовался: значит, близко село и женщину уже, видимо, спасли, обогрели. Но кочковатая пашня кончилась, след опять ушел в лес. Впереди не было никаких признаков селения.

Взошла красная, словно озябшая, луна и озарила поляну тусклым тревожным светом, похожим на отблески далекого пожара. На поляне пес остановился и залился жалобным лаем. Сарбаев увидел что-то темное, возле чего стоял пес. А тот, нетерпеливо поскуливая, прибежал навстречу, лизнул руку, словно хотел этим сказать: «Нашел! Иди скорей!» — и опять убежал.

Освещенная косым лунным светом, на снегу неподвижно лежала женщина в короткой шубейке и светлой юбке. Рядом, прикрытая рукой, возвышалась ее котомка. Запыхавшийся Джума закричал, подбегая:

— Вы живы? — и чтоб женщина узнала в нем своего добавил: — Товарищ, вы живы?

Ответа не было. Но тут котомка под рукой вздрогнула, закачалась и запищала.

Джума вскрикнул, схватил эту живую котомку и на-

чал искать лицо существа, завернутого во что-то толстое, оледенелое.

Женщина вдруг простонала и перевернулась на спину.

— Живы! Обе живы! — закричал Сарбаев подбегавшим товарищам.

Он почему-то решил, что на руках у него девочка.

Тут же командир приказал развести костер, растянуть плащ-палатку.

Партизаны вскипятили воды и стали отпаивать сладким чаем сначала ребенка, а потом и мать. Из длинного пальто Солодова вырвали подкладку, обогрели ее и перепеленали младенца.

Хуже было с матерью. Она сказала, что у нее прострелены обе ноги и ранена левая рука. И потому она не могла держать ребенка в руках, а тащила на спине, привязывая эту живую котомку к себе. Жёванку из клюквы она сделала, когда от голода ребенок начал сильно кричать и мать боялась, что его услышат каратели. Молоко у нее пропало на пятый день войны, когда погиб муж.

Рассказав это, она надолго потеряла сознание.

Очнулась женщина только в хате, куда ее принесли партизаны. И сразу потянулась к ребенку:

— Алешенька!

Люди, к которым партизаны принесли пострадавшую, оказались своими. Хозяин — бывший весовщик колхоза. А хозяйка — доярка. Они пообещали выдать незнакомку за свою родственницу, болеющую тифом.

— Немцы тифозного боятся больше партизана. Ни за что в дом не зайдут, если узнают, что там тиф.

Ребенка напоили теплым молоком, и он блаженно уснул. А мать, лежавшая на большой деревянной кровати, подозвала к себе Сарбаева.

— Товарищ, вы, наверное, партизаны, — прерывисто, видно через силу, заговорила она. — Я скоро выздоровею, возьмите меня к себе. Хочу отомстить фашистам за мужа, за людей, сожженных на хуторе, за все, за все! Буду бить, стрелять, уничтожать их!

Боясь, что от нервного потрясения раненой станет хуже, Сарбаев поспешно пообещал наведываться к ней, а когда поправится, взять в отряд.

Хозяйка привела маленькую, худенькую женщину с медицинским баульчиком. Узнав, что это фельдшер, партизаны собрались уходить.

— Как ваша фамилия? — спросил Джума хозяина.

— Мы Ружняки, я Михась, а жонка Настя, — ответил хозяин и оделся, чтобы проводить партизан.

Сарбаев отказался от его услуг, но Михась шепнул, что хочет сообщить командиру что-то очень важное.

В лесу остановились, и Михась рассказал о событиях на хуторе Тынном, с которого уползла раненая.

Когда в соседнем районе появился партизанский отряд Сергея Зимы, гестаповцы решили, что это действует бывший секретарь райкома партии Зимин Всеволод Сергеевич. Начали охотиться за его семьей, чтобы найти через нее тропку к партизанам.

— Да только все равно у них ничего не вышло бы, — уверенно заключил Михась.

— Почему же? — спросил Сарбаев.

— Товарищ Зимин погиб в первой стычке с немцами на дороге к Пинску. Это я точно знаю, — ответил Михась.— А Сергей Зима — это кто-то другой. Люди говорят, будто бы он из чапаевцев.

«Как хочется народу, чтобы появились такие, как Чапаев, и громили захватчиков! — подумал Джума. — А мы еще сомневались, стоит ли оставаться в тылу врага...»

— Кто-то донес, что жена товарища Зимина живет с грудным ребенком на хуторе Тынном, — продолжал свой рассказ Михась. — Нагрянули каратели. Окружили хутор. А там почти в каждом доме жили беженцы — по две, по три семьи. Фашисты согнали всех женщин с грудными детьми в сарай и стали спрашивать, кто из них Зимина. Иуды, видно, не нашлось. Тогда их заперли. И с улицы начали стрелять по сараю из пулемета, чтоб страх навести. Что там творилось! — махнул рукой Михась.— Полицай, который это видел, на второй день убежал из дому и пропал, наверное к партизанам подался. Ну, а немцы открыли ворота сарая и снова свой вопрос: где тут Зимина? А оттуда только крик, стоны да проклятия раненых, окровавленных женщин.

Вечером гитлеровцы послали в сарай учительницу, которая знала немецкий. Сами они гнушались входить в сарай, заполненный ранеными женщинами и детьми. Учительница теперь тоже в нашем селе, лежит совсем больная. Рассказывает, что видела в сарае Зимину. Ее бабы загнали в самый угол и приказали молчать. Но, когда немцы открыли стрельбу по сараю, Зимина закрича-

ла: «Не убивайте невинных! Это я Зимина!» Хорошо, что за пальбой враги не услышали ее голоса — там кричали все. А бабы тут же ей рот платком заткнули, чтоб не выдавала себя. «Молчи, дура, постращают и перестанут!» В полночь подкопали стенку сарая и вытолкнули Зимину с ребенком. Да беда, что она была уже ранена.

Через несколько часов после побега Зиминой из сарая бабы позвали переводчицу, чтобы та сообщила немцам: Зиминой среди арестованных действительно нет. Но говорить было не с кем: немцы пьянствовали.

Еще ночь гитлеровцы продержали женщин взаперти, а утром облили керосином сарай и все, что могло гореть, — и подожгли. Крик горевших заживо доносился до соседнего села. Но оттуда и сейчас еще не пускают на пожарище.

— А эта, что у нас, и есть сама Екатерина Зимина, жена секретаря райкома. Я ее сразу узнал, — доверительно добавил Михась. — Только ж не мог я при своей жене об этом говорить. Бабам лучше не знать, кто она такая и откуда. Война — дело не бабье...

— Где теперь каратели, не знаете? — спросил Сарбаев.

— Почему ж не знать! — возразил Михась. — Мы следим за каждым их шагом. Случаем пойдут на наше село, то не станем дожидаться того, что они натворили на хуторе. У нас и дежурные выставлены. Один далеко за селом, другой около крайнего дома. Ударят в рельсу, сразу бабы с детьми — в лес, а мужики займут оборону. Правда, патронов маловато. — И он поскреб в затылке.

— Патронов дадим, — пообещал Сарбаев.

Михась благодарно кивнул и сообщил, что каратели обосновались в Стрельне.

— В Стрельне? — переспросил Джума, вспомнив, что на этой станции они действовали под видом «шабашников».

— По всем селам собирают для них сметану, яйца, свиней режут. Рождество Христово собираются праздновать эти головорезы. Ресторан задумали оборудовать, так из соседних районов мебель да ковры стаскивают.

— Сколько их в отряде, какое оружие, не знаете? — сурово насупившись, спросил Сарбаев.

— Их не так чтобы и много. Тридцать. Да командир с бабой. Переводчица чи полюбовница. Пулеметов у них четыре. Все ручные. Один огнемет, чтобы издали поджи-

гать. Они не дураки, куда попало не суются. В большой лес их не заманишь. А знали б вы, какую они придумали себе охрану в Стрельне! Грудными детьми защищались.

— Как это?! — с возмущением переспросил Сарбаев.

— Собрали со всего поселка несмышленышей и поместили в своем доме, на другой половине. А родителям объявили, что если хоть одна пуля залетит в окно, где ночуют эти живодеры, то в детскую они бросят гранату. Так вы ж сами догадываетесь, как отцы и матери тех деток охраняли местечко от партизан. Ночью пьяный попался бабьему патрулю, так его чуть не разорвали: бутылку в кармане приняли за гранату.

— Как же будет дальше с детьми? — с негодованием спросил Сарбаев.

— Да их уже забрали. Когда та банда ушла из поселка, люди повязали охрану, детей забрали и в лес подались. В Стрельне теперь много пустых домов.

Пожимая на прощание руку так не желавшего расставаться с партизанами человека, Джума пообещал принести ему патронов и вообще помогать.

Углубившись в лес, остановились отдохнуть и посоветоваться.

Карателей упускать нельзя. Все это понимали. Но как их взять? Надо провести разведку, чтобы узнать все об этих головорезах. В поселок едва ли удастся проникнуть даже Марии Степановне.

«До местечка, в котором поселилась Эля, далеко, — думал Джума. — Она здесь помочь не может. Нет, тут без Павла Прокофьевича ничего не решить. У него есть связь с подпольщиками...»

И Сарбаев решил с отрядом вернуться в партизанский лагерь Строгова.

XXIII

Была полночь. При свете березовой лучины, горевшей в открытой «буржуйке» специально для освещения, полковник Стародуб читал статью о партизанах, опубликованную в городской газете, издававшейся немцами на белорусском языке. Немцы мало-помалу отвыкли от слова «бандит». И в официальных документах и в прес-

се все чаще именовали народных мстителей партизанами. В этой статье действия партизан расценивались как древнерусский варварский способ ведения войны. Для наглядности приводилась фотография, на которой был изображен мало чем отличающийся от неандертальца волосатый человек, обвешанный оружием, с огромной говяжьей мосолыгой в зубах. Рассматривая этот нехитро сфабрикованный фотомонтаж и сравнивая изображенных на нем людей с аккуратными, подтянутыми бойцами капитана Строгова, полковник снисходительно ухмыльнулся.

Дочитать статью не удалось — вошел капитан Строгов с двумя бородачами.

— Этих товарищей привел связной Сарбаева. Сказал, что вы их знаете, товарищ полковник,— доложил капитан.

Сначала бородатые показались Стародубу незнакомыми, но потом он узнал в одном из них Кирилла Федоровича Грушовицкого. Обнялись как давние друзья. Гость представил своего спутника.

— Инструктор подпольного обкома партии, представитель белорусского штаба партизанского движения.

— Даже такие учреждения существуют в тылу врага?! — радостно воскликнул полковник, скромно назвав себя бойцом партизанского отряда, и с удовольствием повторил: — Штаб партизанского движения на территории, оккупированной противником! Такого в истории войн еще не бывало.

Протянув руку гостю, облечённому столь высокими полномочиями, полковник только теперь рассмотрел его суровое худое лицо с бледным шрамом от глаза до подбородка и вдруг отшатнулся от него, будто хотел рассмотреть издали, прежде чем поздороваться. Громко, с тревогой в голосе спросил:

— Прохоров?

— Да, Павел Прокофьевич. Тот самый, возвращенный вами к жизни батальонный комиссар Прохоров, — добродушно улыбаясь и поглаживая русую, в густой седине бороду, ответил гость, но шрам выдал его волнение — вздулся, стал розовым и заметно пульсировал.

— Но позвольте, как же это, Захар Филиппович? Такой скачок — из немецкого лагеря прямо в партизанский штаб...

— Не очень-то прямо, Павел Прокофьевич... Ох как это было не прямо, дорогой товарищ! Но ты нас сперва обогрей...

— Прости, пожалуйста, — смущенно сказал Стародуб, пожимая руку гостя, однако не обнял его так сердечно, как Грушовицкого.

Уловив кивок Стародуба, капитан Строгов приказал дневальному напоить гостей чаем, а сам помог им снять задубелые от мороза полушубки.

Уселись вокруг жарко нагревшейся печки. Батальонный комиссар не спеша погладил свою голову, на которой и приглаживать-то было нечего — морщинистую смуглую лысину окаймляла реденькая пепельная седина. Отогревшись чаем, от которого по всему жилью расходился запах ромашки, Прохоров рассказал, что в обкоме давно знали о подвигах отряда Сергея Зимы, о каком-то капитане, действовавшем в этом же районе. Но встретиться с ними никак не удавалось. Всем отрядам, расположенным на территории смежных областей — Полесской и Пинской, было дано задание установить связь с настоящим Сергеем Зимой, потому что под его именем стали мародерничать бандитские шайки.

— А вот теперь подпольщики, — гость благодарно кивнул на Кирилла Федоровича, — помогли найти и самого Сергея Зиму и его друзей.

Прохоров достал из кармана немецкую газету, от которой аккуратно был оторван угол для самокрутки, и сказал:

— Вот здесь код, переданный вам Сергеем Силаевичем Твердохлебовым.

— Ну, знаете! — изумленно вскинул руки Стародуб. — Вы мне такие загадки загадываете! Да где же он, тот Твердохлебов?!

— Ваш заместитель по политчасти жив-здоров и трудится в штабе партизанского движения. У вас радист есть?

— Человек-то такой есть, но нет кода.

— Позовите. Я передам ему код. Вернее, растолкую, как читать эту немецкую газету по-русски... Из-за этого я, собственно, и пришел. Штабу необходима постоянная связь с вами.

Капитан вызвал радиста. Прохоров передал ему газету, подробно растолковал, как ею пользоваться, чтобы

разгадать шифр, составленный из определенных букв, которые следовало переводить в цифры. Когда радист ушел с этой драгоценной газетой, Прохоров продолжал:

— В последнее время товарищ Твердохлебов ежедневно корил меня за то, что не могу связаться с вами.

— Но откуда он узнал, что я жив? —удивился Стародуб.

— Все от того же Кирилла Федоровича, — кивнул Прохоров в сторону Грушовицкого. — Впрочем, когда он давал мне этот код, было у нас опасение, что не поверите в такое стечение обстоятельств. Ведь с такой штукой могли и фашисты подослать своего агента. Вот я же вас нашел, нашли бы и они. И даже связного подстроили бы...

— Да, это так,— согласился Стародуб.— Тем более что последняя наша с вами встреча произошла, сами знаете, в каких сложных обстоятельствах.

— В этом-то и дело, — кивнул Прохоров. — Долго ломали мы голову с Сергеем Силаевичем, как убедить вас, что я не вражеский посланец. Один из руководителей предложил упростить дело — послать к вам другого товарища. Но тут товарищ Твердохлебов вспомнил, что у вас с ним есть пароль.

Стародуб опять с недоверием посмотрел на гостя, но, чтобы его не обидеть, ответил шуткой:

— Вот уж чего нэма, того нэма — как говорят украинцы.

— Только вы двое знаете этот пароль, а теперь и я.— Гость мягко улыбнулся.— Однажды, рано утром, к вам на квартиру пришел майор Твердохлебов. Вы сразу поняли, что он чем-то расстроен, и предложили до завтрака сыграть в шахматы. Игра началась. Но когда вы подняли королеву, намереваясь взять его фигуру, вас остановила боевая тревога. Вы встали, задели доску, и фигуры полетели. Вот сообщите майору Твердохлебову, какую фигуру вы намеревались снять королевой и где она стояла. Он поймет, что радируете вы, а вы узнаете его...

Стародуб с благодарностью протянул руку гостю. И теперь уже откровенно рассказал о делах отряда, сегодня утром пополнившегося еще одной группой кадровых бойцов под командой старшего лейтенанта Бараташвили.

— Так вы, Павел Прокофьевич, свяжитесь первый

раз при мне с Твердохлебовым, а то вдруг радист чего-нибудь не разберет в коде. А я пока сосну. Подъем, — он посмотрел на свои часы, — в шесть. Но если радист чего-то не поймет — будите! — И, прикорнув в уголке на мешках из-под продуктов, сразу же заснул.

К рассвету радист установил связь с Твердохлебовым. Стародуб, волнуясь так, словно возвращался на родину, стал ждать ответа. И удивился, когда вместо деловых указаний, какие должен давать штаб, пошли сообщения о его семье, об успехах сыновей, об их просьбе написать письмецо. В радиограмме даже подчеркивалось, чтобы письмо было передано через Прохорова, у которого есть воздушная связь с Большой землей.

На первый раз Твердохлебов не давал никаких указаний. В заключение только погрозился все же обыграть при встрече Стародуба.

— Все такой же! — воскликнул Стародуб. — Может месяцами носить в голове шахматную задачу! Но как он разыскал моих? Связь у него с центром есть, это понятно. Да разве в Москве теперь мало своих дел! Ах спасибо тебе, Сергей, за весточку о моих мальчишках.

Думая о сыновьях, Павел Прокофьевич представлял их подростками, какими видел четыре года назад.

Егорке было тогда четырнадцать. Младший на два года Максим был выше ростом и такой худой, что его прозвали гадким утенком. Мать постоянно переживала, что мало ест, не поправляется. Отец же считал, что развивается он нормально, но много энергии его уходит в рост и дела, которых у Максима было вечно невпроворот. Егор знал только учебу и тир, к которому пристрастился с десяти лет. А у меньшего — и рыбалка, и авиамоделизм, и художественная самодеятельность, и каждый день еще что-нибудь новое. Этот хотел постичь все, что видит впервые...

И вот теперь эти мальчишки, по сообщению Твердохлебова, защищали Ленинград. Старший был снайпером и уже носил орден. А младший тушил пожары да сбрасывал зажигательные бомбы с крыш.

Утром представитель штаба рассказал о первых опытах формирования партизанских соединений. Расспросив о каждом из трех отрядов, он порекомендовал объединить их в бригаду, в которой отряды действуют самостоятельно.

Так возник первый приказ по партизанской бригаде, которую назвали гордым именем «За Родину!»

Командиром бригады назначался полковник Стародуб. Комиссаром Прохоров рекомендовал Кирилла Федоровича Грушовицкого, бывшего секретаря райкома партии.

Павел Прокофьевич принял это предложение с радостью: в присутствии Грушовицкого он чувствовал себя увереннее.

На должность начальника штаба Стародуб предложил Чугуева и пожалел, что не мог сейчас представить его: батальонный комиссар с группой бойцов повел Андрея Гака на секретное задание, план которого будет разработан на месте, после тщательной разведки.

В этом же приказе были утверждены командиры отрядов — лейтенант Сарбаев, капитан Строгов и старший лейтенант Бараташвили. В каждом отряде особо выделялись группы подрывников.

Когда решались эти вопросы, явился Сарбаев и сообщил о сожженных заживо женщинах с детьми. Это потрясло даже представителей обкома, знавших уже немало о злодеяниях фашистов.

Джума предложил немедленно организовать из трех отрядов сильную боевую группу и уничтожить карателей.

— Во-первых, разденься, выпей чаю,— успокаивал Сарбаева полковник. — Мы тут уже узаконили твой степной обычай, а ты его нарушаешь. Такую операцию надо серьезно готовить.

— Если будем долго думать, немцы смоются или еще натворят дел почище чем на хуторе! — неохотно раздеваясь, возражал Сарбаев.

— Прощать карателям такие злодеяния ни в коем случае нельзя! — жестко говорил полковник, шагая из угла в угол. — Им надо дать понять, что за истребление советских людей партизаны будут мстить жестоко и беспощадно. Однако бросаться очертя голову по каждому следу убийц и поджигателей — это значит нести неоправданные потери. Фашистов нужно истреблять наверняка, без лишних жертв. Так что отдыхай, товарищ командир, и спокойно обсудим этот вопрос, посоветуемся с товарищами, у которых есть уже опыт в таких делах. А пока познакомься с товарищем... — Стародуб пристально посмотрел на Сарбаева, потом на Прохорова, словно глазами сводил их. — Неужели не узнал, Джума?

Джума смотрел на седобородого гостя, одетого в новую форму батальонного комиссара, и молчал. Свекольно-красный рубец от глаза до подбородка на лице этого человека был знаком ему. Но где он его видел, не мог припомнить.

Гость огорченно улыбнулся:

— Если бы я вернул ему лейтенантскую форму, сразу узнал бы.

— Товарищ батальонный комиссар! — радостно воскликнул Джума и растерялся, не зная, как ему быть: доложиться как положено или поздороваться за руку, по-дружески, как с человеком, с которым судьба сроднила его навсегда.

Выручил его сам Прохоров. Он положил руки на плечи Сарбаеву и растроганно сказал:

— Спасибо тебе, человечище! Ты спас тогда не только меня... И не представляешь, как я рад, что вижу тебя живым, да еще и с громким именем — Сергей Зима. А как по-настоящему?

— Джумабай Сарбаев, — ответил Джума и в свою очередь спросил, как же удалось комиссару тогда уйти из лагеря.

— Вот теперь обо всем и расскажу, — усаживая Сарбаева рядом с собой на ящик, ответил Прохоров.

— А я в вашей форме натерпелся и от своих, и от чужих, — с веселой улыбкой заговорил Джума. — Наши корят: чего вырядился не по чину; полицаи, глядя на следы шпал, бесятся: а, большевистский комиссар!

— Зато мне повезло. Я в твоем тесноватом костюмчике сошел за молодого, вышел из лагеря и даже стал командиром сформированного немцами взвода. Из тридцати двое оказались все-таки настоящими добровольцами, готовыми служить гитлеровцам. Мы их расстреляли и ушли в лес. Такая же группа, сформированная немцами в соседнем лагере, тоже организовалась в партизанский отряд и успешно действует в районе Барановичей... Боевое крещение мы приняли возле станции Здолбунов при встрече с немецкой автоколонной, перевозившей солдат. Пятеро наших погибло. Зато из сотни гитлеровцев ни одного не отпустили живьем. От них узнали, где находится склад боеприпасов, как охраняется. Той же ночью на двух грузовиках вывезли часть оружия в лес, а остальное подожгли, — тут Прохоров лукаво покосился на Гру-

шовицкого. — На этом и погорели. Оказывается, мы выкрали оружие, за которым давно охотились подпольщики. Ну, а всякое воровство, как известно, кончается приводом. Кирилл Федорович привел и меня на расправу в подпольный обком. Вот там я и встретился с товарищем Твердохлебовым, — кивнул Прохоров Стародубу. — Оттуда уж я на свободу не вышел, остался при штабе партизанского движения, который начинал формироваться.

— А ваш взвод? — спросил Джума.

— Теперь это отряд особого назначения, — ответил Прохоров.

По сути, отряда, как такового, не существовало. Многие из командиров этого взвода знали немецкий язык и теперь выполняли специальные поручения партизанского командования — почти все работали в немецких учреждениях. Но Прохоров в эти подробности не вдавался и стал расспрашивать Сарбаева о событии на хуторе, о его планах разгрома карательного отряда.

Беседа затянулась до утра. Решили уничтожить гитлеровцев в их логове. Главную роль в этой операции возложили на Реваза Бараташвили, давно рвавшегося на большое дело.

Деревянная церковь, в которой отец Илья прослужил десяток лет, сгорела в самом начале войны. Убедившись, что другого прихода теперь получить невозможно, поп обратился к новой власти с просьбой как-то устроить его жизнь. С этой целью он и переехал в Стрельню, где его никто не знал и не мог упрекнуть в том, что священник занялся мирскими делами. С работой долго ничего не получалось. Наконец шеф железнодорожной полиции, которому здесь было подчинено все, предложил бывшему священнику открыть ресторан и отдал ему в дар от рейха добротное каменное здание бывшего детдома. Кухня там была устроена по новейшему образцу. Большой зал с готовой эстрадой. Много отдельных комнат, которые можно оборудовать под номера гостиницы. С жителей поселка были собраны деньги для развертывания дела. Поселковый староста сам нашел администратора, человека, настолько хорошо знающего свое дело, что через две недели ресторан был торжественно открыт.

Не везло хозяину нового заведения только с истопни-

ками. За осень двое убежали к партизанам. Чего доброго, власти спросят: у тебя ресторан или курсы красных диверсантов? Хорошо хоть, не дознались, что Тихон, последний истопник, в барабане, оставленном музыкантом на сцене, спрятал пачку листовок, а во время облавы еще и пригрозил хозяину наганом. Беда с этими работниками...

Вот почему Илья Данилыч так обрадовался, когда в истопники пришел к нему наниматься парень без одной руки. Подсыпать угля, выгрести шлак он может и одной рукой. Да и все он, видать, умеет делать левой. Зато уж в партизаны такой не пойдет.

Правда, с первого знакомства смутило Илью Данилыча то, что парень-то этот басурман — черный, бородатый, страшный с виду.

Ну, а узнав, что вовсе он не басурман, а грузин, хозяин совсем успокоился. Грузия и Армения на много веков раньше Руси приняли веру Христову, это бывший поп знал еще со времени учебы в духовной семинарии. Ну и слава богу, он послал-таки надежного человека. К тому же большой платы работник не запросил, заодно согласился топить и дом хозяина, стоявший через дорогу от ресторана, да и не возражал жить в каморке около прихожей. Так что истопник невольно будет и сторожить своего хозяина. А время теперь такое, что лишний мужчина в доме совсем не помеха. Не смутило хозяина и то, что у Реваза не оказалось никаких документов, кроме советского паспорта.

— Отчего до сих пор не выхлопотал себе аусвайса? — спросил хозяин и успокоился, когда услышал, что парень жил на таком глухом хуторе, где и вообще не нужны никакие документы. — Ну это поправимо, бумагу я на тебя заведу.

Чтобы убедиться, что это сам бог послал доброго человека, Илья Данилыч попросил нового истопника перекреститься на икону, висевшую у него в переднем углу.

Страдальчески приложил парень левую руку к сердцу и чуть не со слезами вымолвил:

— Рад бы, хозяин, да чем?

— Ах, да-да! — спохватился Илья Данилович: ведь левой рукой не крестятся, а правой у этого человека нету. И он спросил, куда же парень дел свою руку.

Реваз рассказал правду, как это случилось.

— Господь простит твою добрую душу, — проникшись к нему не только сочувствием, но и симпатией, сказал хозяин, — мысленно молись, он все равно услышит.

После беседы Илья Данилыч предложил работнику помыться.

Реваз чувствовал, что хозяин еще колеблется, верить ли версии о потере руки из-за кошки: может, ее оторвало на войне. Поэтому он охотно принял приглашение вымыться, вполне уверенный, что этот хитрый попик найдет способ посмотреть на его «хвостик», как он называл болтавшийся под плечом кусок мяса. И уж конечно поймет, что рука потеряна не в этом году.

Хозяин вошел в ванную с большим полотенцем и стареньким, но чистым бельем, которое жертвовал своему работнику. И тут он разрешил сразу два вопроса: и насчет руки, и насчет магометанства.

— Все в порядке, видно, и правда грузин, — сообщил он жене.

Осмотрев свое жилье, Реваз потрогал железную койку с постелью из двух детских матрацев. Постоял возле маленького почерневшего от времени стола, накрытого тоже детской простынкой. Переставил стул, рассчитанный на дошкольников. И сел у небольшого, словно задымленного окна, за которым слышался шум города, торопливо готовившегося к комендантскому часу. Горожане спешили завершить свои дневные дела и к семи вернуться домой, вернуться во что бы то ни стало.

Люди, на которых он смотрел из окна, показались ему жалкими, беспомощными и запуганными. Людей было много. Но не было среди них самого дорогого для Реваза человека, того, от которого исходили все его радости, свет и тепло его жизни. И самое страшное, непоправимое и несправедливое, что нигде уже нет этого человека...

Реваз хотел вынуть из кармана крохотную фотографию Инки. Однако не сделал этого, потому что мысленно видел ее более ясно, чем на этой карточке в двенадцать квадратных сантиметров.

Я могилу милой искал,
От людей ушел далеко...

Реваз поймал себя на том, что запел. Впервые запел после гибели Инки. Но это пение было стоном его души.

В это местечко, где после сожжения хутора располо-

жился карательный отряд, Реваз Бараташвили пришел, чтобы отомстить, страшно отомстить врагам за свое растоптанное счастье. О себе Реваз теперь не думал. Небо с гибелью Инки померкло для него.

Вспоминая наказ Стародуба, Реваз впервые в жизни решил, что на этот раз его действия не будут поспешными, что он не бросится очертя голову на первого же фашиста. Нет! Он будет искать случай сделать такое, что, как огромный кувшин холодной воды, сразу утолит его жажду мести. Правы были полковник и Георгий, что взяли с него клятву — не посоветовавшись с ними, не предпринимать ни одного акта диверсии, даже если дело будет казаться совершенно безопасным. Живя у хозяина ресторана, он должен найти способ и сообщить командиру, как уничтожить сразу всю шайку карателей. Истребить всех до одного. А это можно сделать, только хорошо подготовившись.

«Пока что ты должен только вживаться, всматриваться! — вспоминал он напутствие комбрига Стародуба.— Может быть, удастся сблизиться с кем-нибудь из полицейских...»

Но даже при таком напутствии, которое сковывало его по рукам и ногам, Реваз считал, что ему повезло, когда получил это задание. Сначала ведь его оставили было помощником радиста. А тут пришел Сарбаев с таким важным сообщением, что начальство закрылось в маленьком отсеке подземелья и просовещалось часа два. Потом вызвали его, Реваза.

И брат, и полковник, и те двое, кажется из центра, — все смотрели на Реваза с надеждой, будто только он мог выручить их из неминуемой беды.

Но вместо какого-то сверхважного задания комбриг предложил ему пойти в станционный поселок, который он показал на карте, и там поработать истопником в ресторане.

На вопрос Реваза, какое дадут ему оружие, комбриг ответил:

— Терпение — вместо автомата. Зоркость — вместо гранаты, — и уже проще объяснил, что его задача — притвориться обиженным Советской властью и вживаться в окружающую обстановку. — Придется даже ходить в церковь. Связной придет к вам именно туда. Это самое удобное место для встречи. О пароле договоритесь с бра-

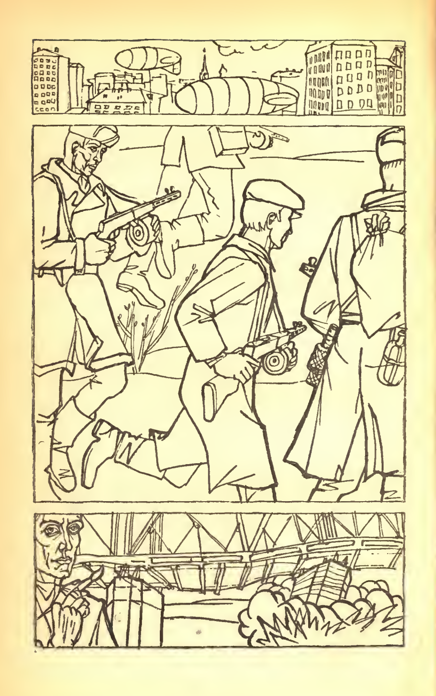
том. Вся организация дела возлагается на Бараташвили-младшего.

И вот он один в этой мрачной компатенке, один в чужом непривычном городе со своими неотвязными, жгущими душу думами.

За окном послышалось злобное картавое покрикиванье, шлепанье по булыжной мостовой. Реваз открыл одну створку окна, выглянул и вздрогнул от омерзения: с песней, состоявшей из каких-то диких выкриков, шел взвод немецких автоматчиков, прибывших на отдых. Реваз пересчитал их и пристальным взглядом проводил до самых ворот на противоположной стороне улицы. Ворота раскрылись сами. Проглотили солдат. И закрылись так же сами по себе.

«Хотел бы и я так вот их захлопнуть! — подумал Реваз и нашел в себе силы пошутить: — Но вживайся. Балда, верный работник попа! Вживайся, влезай в чужую шкуру!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



XXIV

За месяц партизанская бригада полковника Стародуба выросла вдвое. Каждый день один из трех ее отрядов совершал какую-нибудь вылазку против немцев на железной дороге, на шоссе или в населенном пункте. Там уничтожат поезд с военной техникой или живой силой врага, здесь взорвут мост или отобьют обоз с товарами, увозимыми в Германию. Ни днем ни ночью не давали покоя захватчикам народные мстители.

Сегодня комбриг вернулся из отряда «Сулико». Вместе с подрывниками Георгия Бараташвили он ходил на железную дорогу. Был пущен под откос эшелон с немецкими офицерами, ехавшими на фронт. Вагоны с разбегу полезли через паровоз, замыкающий товарный вагон взорвался, и все вокруг загорелось. Так что в живых гитлеровцев осталось не много, да и те уже не вояки...

Но и всего этого кажется мало. Хочется, чтобы бригада совершила что-то значительное, более ощутимое.

«Может быть, засланному в областной центр художнику удастся обнаружить военный склад? — думал Стародуб, отогревая руки возле потухшей печки. — Может, удастся взорвать мост на пути к Гомелю? И тогда надолго остановится движение поездов по этой магистрали».

Последняя искорка в открытой печке, перед тем как угаснуть, вспыхнула ярко-красным, выхватив из темноты фигуры спящих на нарах Чугуева и Грушовицкого.

«Джума из этой искорки, пожалуй, развел бы костер, — подумал Стародуб, — а мне придется начинать со спички».

И только он это подумал, скрипнула дверь. Через порог переступил часовой и доложил, что прибыл командир отряда «Смерть фашизму!» лейтенант Сарбаев.

— Что случилось? Веди его! — Стародуб ощупью взял с шестка сухие щепки и зажег. Поставил в печурке три щепки шалашиком, и они, ярко вспыхнув, сразу осветили помещение до самого порога.

Электричество теперь включали только в исключительных случаях днем, когда нельзя было топить печку, чтобы дымом не обнаружить подземного жилья.

Сарбаев влетел разгоряченный, несмотря на сильный мороз. Сбросив полушубок у порога, подсел к печке и

стал докладывать шепотом: Стародуб попросил не будить комиссара и начштаба, которые тоже вернулись из далекого похода с отрядом капитана Строгова.

В местечко, где пристроилась Эля, прибыл на отдых немец, военный инженер, строитель какого-то военного укрепления. Так поняла Эля из разговоров с бургомистром, который целую неделю готовился к приезду столь важного гостя. Инженер — заядлый охотник и выбрал эту глушь для охоты на лосей и кабанов. С ним солидная охрана. Правда, одеты эти охранники егерями.

В первый день инженер и на самом деле отправился на охоту. Но партизаны, возвращавшиеся с задания, случайно наткнулись на этих охотников и в стычке добыли три автомата, ручной пулемет и пять дробовиков. Вот уже целую неделю охотник и носа не кажет в лес. Сидит в доме бургомистра, пьет коньяк и слушает игру Эли. Она хотела его увлечь на лыжную прогулку и завести в партизанскую зону или на хутор Анупрея. Но он на прогулку не идет, отшучивается. Говорит, что ехал охотиться на сохатого, а неожиданно сам попал в плен к лесной красавице. Клянется, что полюбил Элю, и просит ехать с ним в Германию.

— По-моему, надо его прикончить, товарищ комбриг, пока он Элю не увез силой, — запальчиво закончил свой доклад Сарбаев.

— Нет, дружище, — не задумываясь, возразил Стародуб. — Он нужен живым.

— Зачем он нам?

— Если он действительно строил военные укрепления, то ведь это бесценный «язык» для нашей разведки.

— Эх т-ы-ы! — спохватился Джума. — Не додумал! Никак не привыкну к тому, что у нас теперь есть связь с Большой землей.

— Элю конечно же надо оттуда увести. Но прежде пусть она поможет нам взять этого охотника. Он не уезжает?

— Эля сказала, что он все еще надеется сходить на охоту.

— А как с подругой Эли? — спросил комбриг.

— Все получилось, как предположил товарищ Чугуев, — ответил Джума и подробно рассказал об операции по устройству Сони на станции Стрельпя, где теперь живет Реваз.

Чугуев был прав, когда сказал, что Поздняков обрадуется просьбе Сони переселить ее на станцию и там развернуть торговлю товарами Позднякова. Самым выгодным для него в этой операции было то, что Эля оставалась одна, и бургомистр считал, что это сокращает путь к сближению с этой строптивой девчонкой. Он все настойчивее ухаживал за Элей. А приехавшего немецкого инженера готов был сжить со света от ревности.

— А где теперь Соня работает? — спросил Стародуб.

— Стрелочницей, — ответил Сарбаев. — К железнодорожным рабочим немцы относятся лучше, чем к другим, даже паек у них побольше, потому что, когда участились взрывы на дорогах и репрессии против железнодорожников, наши люди стали бояться идти на эту работу. К тому же Ревазу очень удобно с Соней встречаться на станции. А главное, что и после операции в ресторане она на железной дороте нам пригодится...

— Ну что ж, ты и родился, видно, партизаном, — сказал Стародуб, добродушно улыбаясь. — Давай закуси и сосни часок. А проснутся товарищи, — он кивнул в сторону нар, — все хорошенько обмозгуем.

— Да у меня, товарищ комбриг, еще одна неприятность.

И Джума рассказал об исчезновении Вологодца. Василий с местными ребятами, Гаврюшей и Федей, устраивали детей по селам. Но из последнего похода Вологодец не вернулся. Заболел и остался в доме одной молодой вдовушки до выздоровления. Та приютила его в потайном чуланчике. После выздоровления Вологодец не пришел в лагерь. Разведчикам, посланным узнать, в чем дело, вдовушка ответила, что Василий за неделю выздоровел и ушел восвояси. А от соседей партизаны узнали, что Василия схватила полиция.

— Это действительно неприятность, — нахмурился комбриг. — Человек-то он не очень крепкий. Не выдержит пыток...

— Предаст, как пить дать предаст! — без всяких околичностей сказал Джума. — Я уж и посты усилил, и со связными в окрестных деревнях договорился, чтобы нам сообщили, если пойдут полицаи в лес большим отрядом.

— Об Эле Вологодец знает? — спросил Стародуб.

— К счастью, нет.

— Сюда не приходил?

— Нет.

— Ну, тогда ложись спи, что-нибудь придумаем.

Кадровый сапер Зот Курчумов, которого капитан Строгов командировал в отряд Сарбаева, досконально знал устройство множества немецких и наших мин и зарядов, а также десятки способов уничтожения вражеских объектов. За несколько дней Курчумов обучил четырех партизан Сарбаева выплавлять тол из авиабомб и снарядов, делать мины, изготовлять термитные шарики, зажигательные липучки, которые бросали на цистерны с бензином во время движения поезда.

Лучше всех в группе науку Зота Курчумова перенял Анатолий Солодов. Ему капитан Орлов передал все свое нехитрое хозяйство, а сам занялся разведкой, в которую обстоятельства втягивали его с каждым днем все больше.

Солодов стал руководителем четверки минеров и среди подрывников бригады считался самым удачливым. Уравновешенный, терпеливый и расчетливый, Анатолий никогда не приступал к минированию дороги после первого сообщения разведчиков. Сам все проверит. Прислушается. И скорее пойдет на риск, чем согласится ставить мину, когда поезд еще далеко и неизвестно, с грузом он или порожняк. С каждой вылазкой он делал свое дело все увереннен и чище.

Но вот при возвращении с последнего задания ему не повезло — оторвалась подошва правого сапога. Деревень на пути по болотистому району не встретилось, переобуться было не во что. Он привязал подошву веревкой и кое-как добрел, но снегу в сапог набилось, и Солодов обморозил пальцы.

Пострадавшим занялась Мария Степановна.

Но что было делать с сапогом, похожим на крокодила, широко разинувшего зубастую пасть?

Командир сказал, что придется Солодову отсиживаться в землянке, пока не достанут трофейной обуви.

— Жди! — вознегодовал минер. — У меня сорок пятенький! Когда вы фрица с такой ногой разуете?

Мелким ремонтом одежды и обуви занимался Авдейчик со своими друзьями Колей и Люсей, которые наотрез отказались уходить от партизан. Когда последнюю груп-

пу детей Вологодец повел в село, эти трое спрятались в лесу, и нашли их только на вторые сутки окоченевшими до немоты. В благодарность за то, что партизаны оставили их в лагере, дети стали помогать отряду всем, что было им под силу. У возвратившихся из похода партизан они тут же отбирали все мокрое и сушили. Люся даже штопала одежду и пришивала пуговицы, которые на партизанской одежде почему-то плохо держались.

За развалившийся сапог все же взялся Авдейчик. Он долго вертел его в руках, потом положил сушить. Среди заготовленных осенью дров нашел кусок свежей березы, отпилил от нее колесико и наделал шпилек — маленьких деревянных гвоздиков. Потом отрезал полено длиной в подошву порвавшегося сапога, топориком обрубил и начал выстругивать ножом. Никто из взрослых не обращал внимания на занятие мальчишки. А он, сидя возле печки, строгал да строгал. Прервал свою работу, лишь когда в землянке все улеглись и погасла лучина.

Чуть свет мальчонка встал, затопил печку. Это было его постоянной обязанностью. И пока все еще спали, он выстрогал колодку для сапога Солодова.

До сих пор Авдейчик стеснялся признаться, что отец его был сапожником, потому что часто слышал, как взрослые вместо бранных слов говорят: «У, сапожник!» Авдейчику эта ругань казалась самой неприятной. Ну, а теперь было не до обиды: лучший минер отряда остался босым. Нужно было раскрыть свою тайну, показать, чему научился у отца.

После завтрака, когда партизаны, как всегда, вышли в лес на боевую подготовку, Авдейчик сделал шило из гвоздя, отточенного на камне, и принялся за сапог минера.

Только во время ужина партизаны поняли, что Авдейчик занимался делом. Окруженный своими друзьями, он сидел возле печурки и при свете лучины вколачивал в подошву сапога деревянные шпильки.

Самым же трудным оказалось вытащить колодку из сапога, когда он был окончательно починен. Но уж в этом Авдейчику помог сам Солодов, ходивший по комнате с забинтованной ногой. Авдейчик только инструктировал, как это делается. А когда наконец колодка была вытащена и сапог не развалился, как многие того боялись, партизаны даже закричали «ура» и принялись качать мальчишку.

Починенный сапог стал событием дня, не меньшим, чем пущенный под откос эшелон. Командир об этом так и сказал, обратившись к мальчику по фамилии:

— Спасибо, товарищ Сухнев!

Мальчишка встал, в волнении облизывая губы.

— Ты возвратил партизана в боевой строй, — продолжал Сарбаев. — Так что подвиг, который он совершит в новом походе, будет и твоим подвигом. Будем и тебя считать партизаном.

— А Колю? — как-то испуганно спросил Авдейчик. — Он помогал мне очень много.

— Подумаем и насчет Коли. Отложим этот вопрос до нового вашего подвига.

Так было положено начало сапожной мастерской, без которой партизаны жить не могли. А во всяком деле лиха беда начало. Вскоре в мастерской Авдейчика появились и «лапка», и настоящие гвозди. Анупрей передал им воску для дратвы. Ребята занялись большим, важным делом. Но тут доктору пришлось вмешаться в их распорядок дня. Авдейчик и Коля были такими усердными, что, если их не выгонишь, могли просидеть за работой с утра до вечера. А здоровьишко-то у них было неважное. Приходилось время от времени выпроваживать их побегать, поиграть в снежки.

Только что ж это была за игра! Вскрикнуть нельзя. Взвизгнуть — боже упаси! А как может девочка обойтись без визга? Люсю ударят снежком, она забудется и завизжит. Но тут же прикроет ротик рукой, сожмется в комочек и стоит виноватая, ждет, что ребята начнут ругать или загонят в землянку: как можно визжать — в лесу далеко слышно!

Но ведь очень трудно «жить шепотом». Особенно детям...

Калиниха с первых дней войны воспрянула духом.

Раньше ее мало кто и замечал в селе. Так и звали Рябой Калинихой. А теперь ее узнали все. Тот идет выменять щепотку соли, тот сахарину для ребенка. О сахаре теперь в селе и не мечтали. И все у Калинихи было: сын доставлял из города.

Пристроился ее Леончик где-то еще выше, чем в полиции или гестапо. Слово какое-то, что и не выговоришь.

Аблер какой-то или абвер, шут его знает! Да и неважно, как оно называется. Главное, что он там за старшего над всеми русскими. И всегда может что-нибудь выменять у немцев на яйца, масло или сало. Только ж должность — дело не надежное, сегодня она высокая, а завтра никакой. А деньги всегда остаются силой, особенно если они золотые. И Калиниха неустанно помогала сыну пополнять кубышку. Она уговорила его кое-что припрятывать так, чтобы даже Вера, жена его, не знала. «Случится в городе беда, сюда забежишь, будет на черный день. За деньги все можно», — поучала она сына, который и сам-то не плошал.

Был он, этот Леончик Калина, щупленький, угрюмый, но цепкий на глаз и удачливый на руку. Он все видел, что плохо лежит, и умел переложить в свой карман. Село, в котором жила Калиниха, было, по сути, предместьем областного центра. Партизаны сюда пока, бог миловал, не добирались, поэтому Леончик приезжал домой аккуратно каждое воскресенье. Возила его всегда одна и та же большая крытая машина, похожая на собачник, на окнах — железные решетки. Отдавал матери то, что раздобыл за неделю, забирал все, что припасла она. Целовал ее в лоб всегда сухими, тонкими, синеватыми и холодными губами и уезжал — «пока светло».

Но сегодня Леончик задержался дома. Его заинтересовал портрет матери, неожиданно появившийся в доме. Он был выполнен цветными карандашами на оборотной стороне портрета Сталина, который Калиниха не выбросила, а только сняла со стенки на второй день войны.

Сыну, который стал ярым врагом всего советского, она объяснила, что просто-напросто пожалела хорошую бумагу. А сама думала о другом. Оставила она портрет на всякий случай. Вдруг все повернется по-старому. Тут Калиниха и покажет свою преданность Советской власти. Соседи пожгли портреты вождей — испугались немцев. А вот Калиниха, хоть и рябая недотепа, а сохранила образ «дорогого ей вождя». Да еще и добавит кому следует, что это сын ей строго-настрого приказал не уничтожать портрета, потому что верил в «нашу» победу. О, Калиниха это сумеет!..

Узнав, что тот, кто нарисовал портрет, живет у соседки, что он из заключенных, освобожденных немцами, Леончик решил поговорить с ним.

До войны Леончик работал фотографом в захудалой мастерской. Кое-как сводил концы с концами, да еще и терпел вечные попреки клиентов за неудачные фотографии. А теперь, пользуясь своим положением, завладел лучшим фотоателье в центре города. Сам, конечно, не фотографирует. В его «собственном» ателье работает десять лучших мастеров города. Двое сидят только на увеличении портретов с фотографий. Один ездит по деревням, собирает заказы. Чуть ли не из каждого дома кто-нибудь пропал в войну. А в семье хотят видеть его портрет и не жалеют денег, которые, впрочем, перестали быть деньгами. Теперь соль, мыло, яйца и масло — вот деньги. Соль и мыло — крупные. А яйца, масло — мелкая разменная монета — медячки.

Но главные клиенты фотоателье — это сами немцы и полицейские. Что немцы — понятно. Каждому хочется сфотографироваться таким, каким он стал в Рюсьлянде, и послать своим родным. Но почему так любят фотографироваться полицаи, этого Леончик не понимал. И главное, что фотографировались они, как правило, в каких-то грозных наполеоновских позах. А платили с барской щедростью, не то что немцы, которые высчитывают всегда до пфеннига.

Увидев портрет матери, искусно выполненный рукой художника, Леончик и подумал, что неплохо было бы привлечь этого мастера в фотоателье. Он посадил бы его на заказы только самых имущих да немецких главарей, потому что стоить такой портрет будет гораздо дороже фотографии.

Дело тут не только в деньгах. На этом можно построить карьеру — вся новоявленная знать будет рваться в ателье Леончика. Все начальство города готовится сейчас к пятидесятилетию начальника областного абвера. До юбилея еще месяц, а они мечутся, изворачиваются: что купить, что потянуть где-нибудь в музее для подарка? А он, Леончик, просто-напросто выставит в банкетном зале портрет именинника. И дешево, и лихо!

Художник оказался каким-то запуганным, обросшим и оборванным, как последний бродяга. В разговоре он все время подставлял левое ухо и, крепко сцепив губы, глубокомысленно, подолгу молчал после каждой фразы. В общем, как и многие художники (в представлении Леончика), этот был тоже «не от мира сего». Но это как

раз и хорошо. Уж такой не свяжется ни с городскими подпольщиками, ни с лесными партизанами. Куда ему!

Решив так про себя, Леончик предложил художнику работать в фотоателье, а жить в его доме на полном обеспечении. И это конечно же было не от щедрости! По вечерам Леончик обычно задерживался на работе. Собственно говоря, вечером его переводческая работа в абвере только и начиналась. А дома оставалась совсем еще юная и очень красивая жена, за которой нужен был глаз да глаз. Этим недремлющим оком и будет художник. С виду он отнюдь не такой, чтоб жена могла на него польститься. Сам же он побоится переступать запретную черту, зная, кем является его хозяин. Дом Леончик отхватил себе восьмикомнатный, с готовой обстановкой. На чердаке есть комната с окном во всю стену, там художник сможет работать в любое время суток.

Художник думал тупо и долго.

Сарбаев не узнал бы сейчас Андрея Гака. Сумрачный, ушедший в себя, будто чем-то подавленный, Андрей теперь казался намного старше своих лет.

Видя, что владелец фотоателье ждет ответа, Андрей подставил руку к левому уху и спросил испуганно, а не угонят ли его в Германию или опять в тюрьму. И выложил свои бумаги: письмо матери из Киева, справку об освобождении из барановичской тюрьмы, добытую Элей.

— За что сидел? — живо спросил Леончик.

— За анекдот.

— А мать где живет в Киеве? — И он поднес к глазам конверт. — Прорезная улица — это далеко от Крещатика?

— Самый и есть Крещатик.

— Фюу-у! — Леончик протяжно присвистнул и полез в карман. Достал несколько немецких марок и подал, печально покачав головой. — Приедем в город, сразу пойдешь в церковь и закажешь большой молебен. Мать у каждого одна. И всем она дорога...

Художник взял деньги, но непонимающе развел руками и спросил, почему он должен заказывать молебен.

— Крещатик большевики взорвали при отступлении. Ничего живого не оставили. Где уж там матери уцелеть...

Художник низко свесил голову и замолчал, теперь, казалось, насовсем. Наконец как-то угрожающе процедил:

— И все равно весной, как закончится война, пойду в Киев. Найду мать и хоть похороню по-христиански!

— Весной я тебе сам куплю билет в мягкий вагон — и поезжай. А зиму поработаешь. Договорились? — Леончик, как заправский торгаш, хлопнул по руке, которую художник и не протянул, просто она лежала у него на колене.

Трудным был путь Андрея Гака в город, оккупированный фашистами. Но и он был пройден. Началась новая жизнь, полная напряжения всех сил, постоянной тревоги, в тесном соседстве с врагами.

XXV

Перед командирами отрядов комбриг поставил задачу всеми способами добывать ему местные газеты, выходившие на русском и белорусском языках. Читал он эти газеты прежде всего сам и другим советовал изучать по ним жизнь на оккупированной территории. Сегодня на совещании командиров отрядов он прочел объявление в областной газете о наборе женщин на работу в учреждения, обслуживающие немцев, — столовые, бани, прачечные. В объявлении подчеркивалось, что матерям с маленькими детьми выдается дополнительный паек.

— У фашистов стало модным загораживаться от партизан детьми русских матерей, — заметил Чугуев. — Где же нам взять такую женщину? Это уж по твоей части, начальник разведки, — обратился Евгений Тихонович к капитану Орлову.

Поправив очки, заместитель комбрига по разведке очень спокойно, уверенно сказал:

— Есть женщина, которую можно послать в помощь немецким служакам, раз уж им так трудно самим подбирать надежные медицинские кадры. Она в деревне, выздоравливает после ранения.

— Это жена секретаря райкома Зимина? —уточнил комбриг.— А не рано ей? Да и ребенок уж очень мал...

— Недавно мы там были, она уже ходит. Рвется в отряд. Хочет мстить за мужа и сожженных женщин с детьми. Оставаться ей в этом районе опасно. Мальчонку хозяева обещают до окончания войны держать у себя под видом внука.

— Но надо все же узнать человека, — заметил всегда осторожный Строгов.

— Я узнал о ней все, когда искал, — сказал Сарбаев. — Кровавый след по болоту — ее боевая характеристика.

В штабе бригады осталось всего лишь три бланка немецких документов, добытых Элей. Один из них заполнили на жительницу станции Здолбунов Серафиму Владимировну Сомову, жену столяра, вместе с детьми погибшего в доме, разбитом бомбой.

Теперь многое списывали на бомбежку первых дней войны. Зимина, нанимаясь на работу с этими документами, должна будет заявить, что у нее есть ребенок, что заберет его из деревни сразу же, как немного обживется. И уж будет стараться на новом месте заслужить жилье.

Из штаба, после совещания, Джума и Георгий вышли вместе. Джума чувствовал, что Георгий хочет с ним о чем-то поговорить, и потому молчал в ожидании. И Георгий заговорил сразу же, когда миновали заставу.

— Джума, это не та, которую ты любишь?

— Да что ты! — смутился Сарбаев. — Кого я могу тут любить?

— Все говорят, что любишь. Ее зовут Эля?

— Нет. Эля другая. — И Джума безнадежно махнул рукой. — Я, признаться тебе, думаю о ней день и ночь. Да что толку. Зачем я ей такой?

— Такой? Какой «такой»! — вспыхнул Бараташвили. — Вся округа кричит: Сергей Зима! Немцы десять тысяч платили, теперь в десять раз повысили цену за голову такого-сякого Сергея Зимы. Э-э!

— Увидел бы ты ее, сам понял бы, что я ей не пара...

— Почему не пара? Кто сказал, не пара!

— Что ты! — огорченно хмыкнул Джума. — У нее и лицо, и фигура, и походка... Да что говорить, я реалист. Все вижу. Все понимаю.

— Все понимаю! — передразнил его Бараташвили. — Ни чертова шайтана ты не понимаешь! Ты видишь, какой я длинный? Это в маму. А отец был коротенький, круглый, как переспелая тыква, лицо черное, будто сроду не умывался. А пойдут плясать — у-у-у, это была картина! Она в белом. Высокая, чернобровая, строгая, как богиня. Плывет по кругу, словно белый парус по горному озеру. А отец вокруг нее этаким кривоногим чертом носится. Земля гудит! А саблей что он вытворял... И я

уверен, что ни один самый знатный красавец не смел глянуть на маму так, чтоб это отцу не нравилось. Они и погибли оба сразу, только потому что друг за друга были готовы в огонь и в воду.

Видя, что слова о гибели родителей задели товарища за душу, Георгий рассказал, что отец его бросился в горящий дом соседа спасать детей, а мать схватила ведра с водой и — следом за ним. Детей они спасли, а сами выскочить не успели — обрушился потолок.

— Георгий, какая у вас с братом тяжелая судьба!

— Да, с пеленок — борьба за жизнь! — вздохнул Бараташвили. — Ну, так ты не падай духом. Я тебе в этом деле первый друг и сват. Только бы скорей войне конец...

— Не зря же у нас говорят: «Самое большое счастье — это верный друг». — Джума снизу вверх смотрел в глаза Бараташвили, смотрел благодарно, преданно.

Отвертеться Эле не удалось — инженер Кинстлер увозил ее с собой. Она поняла это сразу же, когда утром за нею приехали два полицейских на тройке вороных лошадей, запряженных в красивые сани, в которых ездил только бургомистр.

Вчера через Ивана Эля сообщила партизанам, что инженер сегодня уезжает. Но она и не предполагала, что немец и ее, как чемодан, как свою собственную вещь, прихватит с собой. Он поговаривал, что ей опасно оставаться в этой лесной глуши, что она здесь одичает. А она только отшучивалась. И вот они, полицейские!

Войдя в дом, знакомый ей полицай вежливо поздоровался. Повесив котиковую шубку, поставил белые фетровые валенки и сказал, чтоб одевалась потеплее, так как до города два часа езды, а на дворе мороз. И уже с порога добавил, что на сборы у нее только полчаса. Дверь захлопнулась.

Эля онемела. От неожиданности ее охватил озноб. Она села там, где стояла, возле печки, и не могла даже рукой шевельнуть.

Джума, дети, партизанский лагерь — все это оставалось теперь где-то позади саней, на которых ее увозили в чужой, постылый край, на лютую каторгу...

Нет, ни за что!

Эля заметалась по комнате, брала какие-то вещи, бросала, не в состоянии сосредоточиться, решить, что же делать.

В последнюю встречу Джума уговаривал ее вернуться в отряд, она отказалась, потому что еще не закончена была операция с инженером.

И вот она в западне. Главное, что партизаны не знают о решении инженера увезти ее сегодня же. Если бы можно было дать знать Ивану. Но как ему сообщить? В сенях полицаи.

Бежать в окно, через сад, там кусты сирени, может, полицаи не заметят.

Накинув шубу, Эля бросилась к окну. Дрожащими руками с трудом открыла нижний крючок, но до верхнего не могла дотянуться. Подставила стул, открыла окно. В лицо пахнул морозный воздух свободы. Слыша, как затрещала силой открываемая дверь, вскочила на подоконник. Но тут вбежали полицейские, с двух сторон схватили ее за руки и поволокли в сани.

— Ишь что задумала, красуля! Нет, нам свои головы дороже...

В санях был огромный тулуп с башлыком. Полицаи закутали Элю в него. Хлестнули коней — сани помчались.

Возле городской управы к Эле подсел инженер Кинстлер. Положил под ноги свое двуствольное ружье и поднял над головой девушки башлык, защитивший ее от ветра. Он был элегантный, веселый и казался счастливым.

Вперед выехало двое саней, в которых сидели «егеря», вооруженные автоматами. На первых санях стоял ручной пулемет.

Сани тронулись, и Эля мысленно распростилась с белым светом.

«Свои же и убьют заодно с фашистами, — подумала она и в отчаянье решила: — Ну и пусть! Вон какую шайку врагов выведу на расправу!..»

Она стала мерзнуть и дрожала, несмотря на то что немец старательно закутал ее в тулуп.

Сани инженера Кинстлера ехали третьими. Их окружали всадники с автоматами, по два с каждой стороны. Но за местечком, по знаку инженера, всадники ускакали в сторону от дороги, видимо на разведку. Эле показалось, что инженер не боится и даже не думает о

возможном нападении партизан — так он был весел и счастлив. По просьбе Эли он немного раскутал ее, чтобы ей можно было смотреть по сторонам, и тут же заметил, как дрожит пленница.

— Вы замерзли? — спросил он по-немецки и сам же ответил отрицательно: — О, девушки перед венцом всегда плачут или дрожат. О да!

«В петлю и то я скорее согласилась бы, чем с тобой под венец!» — подумала Эля.

Она все внимательней озиралась по сторонам и решила, что, как только дорога войдет в густой лес, она выскочит из душной шубы и побежит. Пусть стреляют вдогонку.

Конных разведчиков не стало видно, они умчались вперед. Тройка, подгоняемая кнутом, скакала все быстрей. Вмиг проскочили хутор, стоявший в перелеске. Сюда Эля иногда приходила для встречи со связным. За хутором дорога спускалась вниз, в большой лес. Здесь инженер как-то поутих, перешел на шепот, словно таился от возницы.

Зато Эля, увидев лес, сразу пришла в себя и поняла, как она подводит боевых товарищей. Зная о сегодняшнем отъезде инженера, партизаны ждут его в засаде, а она сорвет всю операцию: увидят ее и не станут стрелять, чтобы случайно не убить свою. Надо снова закутаться, чтобы не помешать партизанам. Начнется стрельба, она опустится на дно кошевы и, может, останется жива. И Эля по-немецки, жалобно сказала, что ей холодно.

Немец тут же снова укутал ее, оставив в огромном тулупе только маленькую отдушину, чтобы видеть розовые, чуть подрагивающие губы. Он толкнул в спину возницу, которым был полицай-автоматчик, и приказал гнать еще сильней.

Полицай, все время помахивающий кнутом, стал нахлестывать лошадей, и они подняли копытами такую метель, что инженеру пришлось свою пленницу закутать совсем, а самому отвернуться и натянуть шапку с ушами. Эля теперь ничего не видела, только слышала, как гудит и посвистывает снежный вихрь.

Но вдруг одновременно раздались взрыв и несколько выстрелов. Бешено заржали кони. Вихрь утих. Сани вильнули так, что чуть не перевернулись, и остановились. Эля хотела выглянуть, узнать, что произошло. Но после

выстрела на нее спереди навалилось что-то тяжелое. А потом эта тяжесть повалила ее на бок, опрокинула на дно глубокой кошевы. И она не только подняться, шевельнуться не могла.

Гранатой партизаны уничтожили первые пароконные сани, где сидели автоматчики и пулеметчик. Убитые кони и перевернувшиеся изуродованные розвальни загородили дорогу. Вторые и третьи сани, на которых возницы были перебиты из автоматов, с разбегу налетели на первые, столкнулись, сцепились. Ехавшие на розвальнях четыре немца соскочили на дорогу и с поднятыми руками направились навстречу партизанам, выходившим из-за окутанных снегом елок.

Один партизан спросил по-немецки, где инженер. Передний немец кивнул на третьи сани, где убитый возница прикрыл своим разметавшимся тулупом все, что было на санях.

Двое партизан бросились к этим саням, выхватили из кошевы немца, одетого в теплый охотничий костюм, и унесли в кустарник.

— Тулуп заберите! — приказал Сарбаев партизанам.

Но те не успели вернуться: сани расцепились, и перепуганная тройка лошадей, круто развернув сани, так что с них слетел убитый возница, ускакала вдоль дороги, по снежной целине.

— Тулуп! — закричал высокий партизан, которому было приказано забрать тулуп. Он вскинул винтовку.

— Не стреляй! — строгим окриком остановил его Джума. — Казах не может стрелять в коня!

Если бы он знал, кого эти вороные красавцы уносили в санях!

Когда раздался взрыв, Эля поняла, что напали партизаны. Но тут ее придавило и повалило на дно кошевы. Она думала, что это инженер прячет ее от выстрелов. Так и лежала не в силах ни вздохнуть, ни шевельнуться, пока лошади не рванули с дороги и то, что давило на нее сверху, куда-то свалилось. Эля выбралась из тулупа, и ее обдал снежный вихрь. Кони мчались по бездорожью, сани трясло и бросало так, что каждый миг они могли перевернуться. Первым желанием Эли было выскочить из кошевы и бежать в лес. Но, оглянувшись, она увидела четырех всадников, скакавших по дороге почти следом за тройкой. Это были те полицейские, которые приезжали

за нею домой, а потом были высланы вперед. Теперь выбрасываться из саней было бессмысленно. Увидят, схватят и увезут.

Управлять сразу тремя лошадьми Эле никогда не приходилось. Но тут ей пришла в голову отчаянная мысль: взять вожжи и направить тройку в лес. Однако вожжей на санях не было, они, видимо, оборвались. В ногах ей мешало ружье инженера. Схватив его, Эля стала помахивать, как палкой, подгоняя лошадей, которые и так неслись, словно преследуемые стаей волков.

Раздался выстрел, и правая пристяжная упала. Коренник и вторая пристяжная закружились на месте, запутались в сбруе убитой лошади и остановились, взбудораженно похрапывая и дрожа. Оглянувшись, Эля поняла, что стрелял полицейский, скакавший впереди других: он еще держал свою винтовку на весу.

Выскочив из саней с ружьем в руке, Эля побежала по снегу в еловый лесок, до которого здесь было с полсотни метров. Но тотчас же услышала тяжелый топот и надсадное сопенье приближающегося коня. Оглянулась и обомлела. Всадник был уже в нескольких метрах от нее, но все еще нахлестывал своего коня. Винтовка его висела за плечом. Другие полицаи уже спокойно подъезжали к саням, возле которых рвались и шарахались запутавшиеся кони.

Стрелять из охотничьего ружья Эля не умела. Но, не задумываясь над тем, что делает, и даже не зная, заряжено ли ружье, оттянула сразу оба курка двустволки и, наставив ружье на преследователя, нажала спусковой крючок. Раздался выстрел. Она промахнулась, и полицай со всего размаха ударил ее плетью по голове. Она упала...

Полицейские надеялись всю вину за случившееся свалить на эту «явную партизанку». Но в гестапо рассудили по-своему — посадили всех.

Дело об исчезновении военного инженера должен был вести особоуполномоченный самого шефа гестапо.

XXVI

Встреча Стародуба с инженером состоялась на хуторе, далеко от партизанского лагеря.

Кинстлер не очень верил, что партизаны могут сохранить ему жизнь, но старался рассказать все, что знает,

чтобы заслужить благосклонность командира, человека благоразумного, каким ему казался Стародуб. Между прочим, он вспомнил и о работе своего коллеги, неподалеку строящего аэродром. Вспомнил об этом мимоходом, а оказалось, что партизанам это было дороже всех его предыдущих показаний. Увидев, как оживился партизанский командир, когда услышал о строительстве аэродрома, Кинстлер рассказал, что строительство идет в строгом секрете силами военнопленных, которых потом конечно же уничтожат.

Услышав о судьбе пленных строителей, партизан из отряда «Сулико», переводивший показания немца, добавил от себя, что инженер сказал об этом как о чем-то очень привычном и обыденном для него.

— На это мы сейчас вынуждены не обращать внимания, — заметил Стародуб. — Этот инженер нас не интересует сам по себе, нам нужны сведения о военных объектах, которые он строил или инспектировал. Если, конечно, вы правильно его поняли.

— Он дважды повторил, что часто бывал в комиссиях, принимавших военные новостройки.

— Если это так, то он очень нужный для нашей разведки человек. Его необходимо в полном здравии доставить в штаб, — решил Стародуб.

Опасно было задерживаться на хуторе, к которому вели следы партизан, похитивших инженера. Поэтому, как только немец дал подробное описание строящегося аэродрома, его с группой партизан отправили в областной штаб.

Уверенный, что Эля сразу же, как только выехал инженер, ушла из местечка, Сарбаев послал за нею в условленное место Синькова и двух партизан, чтобы привели ее в штаб. Теперь она будет переводчицей в бригаде. Может, сама и запишет показания военного инженера.

Джуме конечно же хотелось самому убедиться, что Эля благополучно выбралась из местечка, но он должен был руководить операцией по задержанию инженера. А когда инженер был взят и дал первые показания об аэродроме, надо было, воспользовавшись начинавшейся метелью, освободить обреченных на верную гибель военнопленных, о которых рассказал Кинстлер, и заодно уничтожить все, что там построено. Сарбаев со своим отря-

дом и несколькими бойцами капитана Строгова, которых привел комиссар бригады Грушовицкий, отправился на строящийся аэродром.

Комбригу можно было возвращаться в штаб — начавшаяся утром поземка разыгрывалась в метелицу, быстро заносившую следы. И все же Стародуб считал, что лучше пока в лагерь не идти. Поиски инженера будут, конечно, очень активными, и лишняя осторожность не помешает. Да и правы бойцы, переделавшие пословицу: «На буран надейся, а к дому следа не оставляй». Поэтому, отправив Сарбаева на аэродром, Стародуб с небольшой группой бойцов пошел к ближайшей железной дороге, подходы к которой давно собирался осмотреть.

Сидеть на одном месте, да еще без дела, Реваз не мог по самой своей натуре, кипучей и неугомонной. И все же он не делал ничего того, что хотел бы делать, когда вокруг свирепствуют фашисты. Он топил печи, сторожил дом хозяина, выполнял мелкие поручения хозяйки, которая все больше им помыкала. Он все терпел. И чувствовал, что, если бы ему пообещали: «Ты уничтожишь сотню фашистов, но для этого должен без движения, как затонувшее бревно, пролежать целый год на одном боку, чтобы превратиться в мощную бомбу и потом взорваться», он пролежал бы! Три года пролежал бы, чтобы уничтожить не сотню, а целую дивизию! Однако же нельзя три года! Нельзя год! Даже полгода нельзя разрешать этим извергам хозяйничать на советской земле!

Может быть, полковник, да и брат чего-то не додумали, чего-то не учли? Ведь оттуда, из землянки, не видно, что здесь творится каждый день, каждый час. Вот сейчас гнали по улице больше сотни девушек и парней. Реваз стоял у раскрытого окна и считал. Только считал да скрипел зубами. А ведь мог этими же зубами перегрызть горло одному из конвоиров, отнять у него автомат, убить двоих-троих, может, погибнуть вместе с ними, но молодежи дать возможность бежать. Ведь этих девушек и парней угоняли в Германию, в рабство!

— В рабство! — Реваз нахмурился до боли в глазах и долго не мог побороть в себе приступа ненависти. Болели скулы. Синел кулак.

Чтоб успокоиться, взять себя в руки, Реваз выбежал во двор, схватил огромную лопату и, прижав черенок под мышкой, а цепкими пальцами своей единственной руки держа внизу, у самого совка, начал с яростью бросать в подвал под домом хозяина привезенный вчера уголь. Тонну угля он перебросал в подвал за два часа. И это одной рукой! Сердито, резким движением руки смахнул пот со лба и швырнул лопату в подвал.

Не знал он, что хозяин и хозяйка смотрели в окно, любовались его работой и благодарили своего милостивого бога, ниспославшего такого усердного работника... Они и не подозревали, какой бог послал им этого истопника! Этим богом был тот самый Тихон, что убежал отсюда со всей семьей и друзьями. Он организовал партизанский отряд из городской молодежи и громил теперь фашистов. Свою должность истопника он «продал», как шутили партизаны, Сергею Зиме за секрет мины без взрывателя...

Реваз аккуратно ходил в церковь на все богослужения. Хозяин думал, что это от кротости юноша слушается его. А на самом деле Реваз обязан был туда ходить, хотя бы до первой встречи со связным. Сначала он тяготился долгим и бесцельным стоянием в маленькой, довольно обшарпанной церквушке. А потом стал рассматривать необычайно красивую внутреннюю отделку церкви, роспись, иконы, среди которых немало было просто картин на библейские темы. Видно было, что здесь потрудились когда-то люди, горячо любившие искусство.

Каждый раз Бараташвили становился на новом месте и рассматривал то, что было рядом с ним, перед глазами. Сегодня он стоял почти у двери, завершая свой обход этого своеобразного музея. Здесь его нечаянно толкнула бедно, по-деревенски одетая женщина, которая истово крестилась и бормотала молитву. Обычно он к молитвам не прислушивался. Но тут не мог не расслышать, что эта богомолка громко, со вздохом повторяла: «Господи помилуй!» А тише, но очень внятно твердила: «Генацвале, генацвале, генацвале!»

Это была она, долгожданная связная! Услышав слова пароля, Реваз даже вздрогнул. Но, взяв себя в руки, остановился рядом с богомолкой, возле которой больше никого не было. И она, еще громче восклицая: «Господи помилуй!» — сказала дважды: «Завтра приходи на станцию. Будет Георгий».

Это был весь пароль. Теперь можно было довериться «богомолке», и Реваз, сделав постное лицо, остановился за ее спиной и стал смотреть на попа, читавшего проповедь, а сам слушал, что скажет связная.

— Встречи пока только здесь,— вперемешку с покаянными вздохами да словами молитвы говорила связная. — Меня зови Соней. При необходимости найдешь меня на станции. Я работаю стрелочницей. Если что, выдавай себя за ухажера.

— У меня есть важные сведения, — начал было Реваз.

— Здесь никогда ничего не будешь мне говорить. — И она опять запричитала слова молитвы, потому что приближался дьяк с чашей для пожертвований.

Связная положила в чашу несколько пфеннигов и, когда дьяк ушел, продолжала:

— Для перевозки угля завтра возьмешь автомашину на торговой базе. Шофер Степан Горох. — Она назвала номер машины и сказала, чтобы подошел к машине, никого ни о чем не расспрашивая. — Подойдешь, Степан сам тебя спросит, что везти. Скажешь, антрацит. Вот и все. С углем тебе дадут тол. Спрячешь его под кучей угля в котельной ресторана до особого указания...

Ревазу хотелось плясать: наконец-то намечается дело, коли дают взрывчатку. Но приходилось сдерживать свои чувства, продолжать свой путь степенно, как и подобает в храме божьем.

Переступив порог дежурного помещения гестапо, Эля почувствовала себя словно бы оторванной от земли, падающей в бездну. Но вот до слуха ее донеслись слова лейтенанта-гестаповца, который принял ее от полицаев и привел сюда:

— Смотри, Курт, не приставай к ней. Это невеста важного военного инженера.

Эля очнулась и только теперь по-настоящему увидела сидящего за черным письменным столом офицера с черепом на фуражке.

— Жаль, жаль,— ответил офицер, видимо дежурный.— А отчего на прекрасном лице невесты такой синяк?

— Потом все узнаешь, — бросил лейтенант.

Не зная, что девушка владеет немецким, они говорили тихо, но откровенно.

— К шефу можно?

— Он тебя ждет. Красавицу пока оставь здесь.

Лейтенант скрылся за массивной, обитой черным дерматином дверью.

Присев на стул, указанный дежурным офицером, Эля почувствовала себя воскресающей к жизни. Короткий разговор гестаповцев послужил спасительной ниточкой, за которую девушка тут же ухватилась и стала мысленно составлять планы дальнейших действий.

Если они хоть немного верят, что она невеста видного немецкого военного инженера, то надо заставить их поверить в это до конца. Только роль невесты может спасти ее от гибели. В крайнем случае, повезут в Германию, а по дороге можно будет бежать.

Как только приняла такое решение, на душе сразу стало спокойнее, вернулось сознание своей силы. Теперь надо играть, играть, как на сцене...

Не успела она толком обдумать свою роль, как черная дверь, словно от взрыва, распахнулась и из комнаты выскочил невысокий, круглый, задыхающийся от полноты немец. Позвякивая орденами, он вихрем промчался к выходу и загремел по деревянным ступенькам.

— Взорвана комендатура, — сообщил дежурному выскочивший из кабинета шефа лейтенант. — Будут дела...— И, кивнув Эле, чтоб следовала за ним, повел ее по длинному коридору.

В конце коридора он открыл дверь, жестом предложил войти и тут же дверь захлопнул.

Эля удивилась, очутившись не в камере пыток, какой ее себе представляла, а в обыкновенной комнате с тахтой и письменным столом. На окнах белые решетки и шторы.

«Может, и правда верят, что я невеста», — подумала она, подойдя к окну, и почему-то вцепилась в толстые, холодные прутья решетки, видимо совсем недавно покрашенной белилами, в которые слишком много добавили синьки.

Эля поймала себя на мысли, что думает не о самом важном для нее в этот момент, а о белилах, о синьке, о кленовом прутике, раскачивавшемся за окном. Осознав это, она вдруг разрыдалась горько, безутешно.

Полночь. Метель все больше лютует, набирает силы. Начинается буран — та самая непогода, в которую, как говорят, добрый хозяин и пса не выгонит из дому.

И потому, видно, немцы, охранявшие барак, где живут военнопленные, строящие аэродром, не выходят из будок. Их две, по обе стороны барака. В добрую пору часовые ходят целыми ночами вокруг дома. Лишь изредка сходятся на одном и том же углу покурить или поболтать. Но сегодня охранники сидят в своих будках съежившись, как псы в конуре. Сегодня даже их не выгонит хозяин из будок. Не выгонит по двум причинам. Во-первых, командир отделения охраны сам носа не высунет в такую завируху. Во-вторых, он принял меры, чтобы и сам, и его солдаты могли быть в эту ночь застрахованы от всяких неприятностей. Военнопленные, видно, чувствуют, что ждет их после окончания секретного строительства, и все время рвутся к побегу. Охранять барак приходится не от внешнего врага — партизанам здесь делать нечего. Враг, которого больше всего боится командир отделения Штарке, находится там, внутри барака. Но сегодня хитрый Штарке сделал так, чтоб пленные сами не захотели бежать. На ночь он их раздел догола, одежду запер в кладовке, а им оставил по одному тонкому одеялу на двоих. Куда побежишь нагишом в такой холод? Штарке завел будильник на час, когда менять караул, и спал преспокойно.

Подремывали и часовые в будках. Но ветер не давал уснуть. Впереди барака, на будущем летном поле, ветер наметал сплошные сугробы снега. А за бараком, где высокой хмурой стеной подступил густой сосновый бор, ветер гудел, рокотал, словно канонада, а по временам набрасывался сверху, раскачивал верхушки деревьев и сыпал густой колкой порошей. Эти порывы ветра часто вместе со снегом бросали на будку обломки сучьев, и тогда часовому казалось, что кто-то колотит палкой по крыше и стенкам, выгоняет оттуда, как чужого, забравшегося не в свою будку пса. Но и к этому привык немец, как и ко многому другому в этой непонятной, враждебно ощетинившейся стране.

«Проклятая зима, невыносимая!» — кутаясь и стукаясь головой о сотрясаемую ветром будку, думает один часовой.

«Проклятая, дикая страна!» — вздрагивает в это время от холода другой,

Зато Кастусь идет нараспашку. Лицо и грудь, исхлестанные колючей метелью, разгорелись. Снег тает, как только прикоснется к разгоряченному телу.

Любит Кастусь бродить по родному лесу.

И до войны, бывало, уйдет из дому в самую лютую непогоду, целый день бродит по лесу, а к вечеру возвращается весь мокрый, тащит какую-нибудь березину для полоза или готовую дугу, выгнутую самой природой, а то и просто какую-нибудь несуразную загогулину приволочет. Съест чугунок картошки с квашеной капустой или с молоком и весь вечер потом возится с этой загогулиной — там что-то отпилит, там сучочек выбьет, там ковырнет ножом,— повесит на стену, и, глядишь, бесформенная загогулина ожила, птицей полетела или обернулась диким зверьком, бегущим по лесу.

Комиссар Грушовицкий, сам человек закаленный и крепкий, сказал, когда остановились передохнуть:

— Сусанин, ты бы все-таки застегнулся.

— Это мне и мама всегда твердила: застегнись, застегнись, — блаженно поглаживая грудь, отвечал Кастусь. — А я верхние пуговицы откусывал, чтоб не мешали.

— Простудиться можешь, — стоял на своем комиссар.

— А дышать чем? Грудь должна дышать, когда идешь быстро. Я бы ни за что не смог быть конем.

— Почему же именно конем?

— Ходить в хомуте, чтоб вся грудь была зажата...

— Вот почему ты так лютуешь на фашистов, — кивнул Грушовицкий, глядя на лицо парня, освещенное слабой вспышкой спички. Лицо показалось более красным и горячим, чем сам огонек загоревшейся цигарки. — Да, хомут они хотят надеть на нас вечный, такой, чтоб уж и снять было невозможно. Этого они очень хотят.

Подходили бойцы, никак не поспевавшие за Кастусем.

— Ну, леший, не зря сказал про тебя отец, что ты с перекалом! — тяжело отдуваясь, без обиды, а наоборот, с какой-то гордостью сказал Сарбаев, приведший отряд.

Кастусь посмеивался и продолжал разговор, начатый с комиссаром:

— Я бы не вытерпел у немцев и одного дня. Мне там было бы душно.

— Да, то совсем другой народ. Немец не пойдет вот

так, грудь нараспашку, — заметил Грушовицкий.— Он застегнется на все пуговицы, как его приучили с детства.

С грохотом упало дерево, поваленное бурей. У Кастуся это вызвало бурный восторг:

— Вот здорово! Как из дальнобойного орудия!

— Чему ты радуешься? — удивился Синьков.

— В такой шум подобраться можно куда угодно...

Очередным порывом ветра будку тряхнуло, и часовой очнулся. Открыл глаза, схватился за винтовку. Дверь будки была раскрыта настежь, и на пороге стоял человек, запорошенный снегом с ног до головы, так что нельзя было понять, какого цвета и какой формы на нем одежда, одно было видно совершенно ясно — на груди у этого снежного человека висел русский автомат, на котором лежали озябшие, покрасневшие руки.

Наверное, эти руки не станут сейчас шутить, понял немец и поднял свои спрятанные в меховые рукавицы задрожавшие ладошки.

— Ich habe fünf Kinder! — вдруг скороговоркой, несколько раз подряд повторил он.

Стоявший в дверях Синьков спросил подошедшего комиссара, который уже вел второго часового: что лопочет этот немец?

— Он говорит, что у него пятеро детей! — пояснил Грушовицкий, немного освоивший язык оккупантов.

Подошедший в это время Сарбаев выругался:

— Черт нам послал таких плодовитых. У того шестеро. У этого пятеро.

— Что, с остальными уже справились? — удивился комиссар такой веселости командира отряда.

— Да, и все прикидываются многодетными, — ответил Сарбаев.

— Бьют на нашу гуманность!

— Пусть помогут пленным одеться, — сказал Сарбаев. — С ними потом разберемся...

Значение слов «пусть помогут одеться» комиссар понял, когда вошел в барак, где при свете керосиновых коптилок совершенно голые люди столпились перед столом, за которым обезоруженные немцы во главе с ефрейтором выдавали одежду.

— Голые в метель не убегут,— пояснил уже одевшийся в старую, потрепанную красноармейскую форму бородатый мужчина. Он отрекомендовался Александром

Раздольским, командиром группы пленных, готовивших побег.

— А, очень кстати! — обрадованно пожал ему руку Сарбаев. — Вот вы как командир и подскажете, что тут следует взорвать или сжечь, чтобы законсервировать работу.

— Подземное бензохранилище можно пустить на воздух. Там еще и взрывчатка осталась. Собирались для бомбоубежища взрывом котлован делать.

Подошел второй пленный, худой, высокий, еле державшийся на ногах.

— Это мой заместитель, Федор Зоркий, бывший политрук роты, — представил высокого Раздольский.

— Товарищ командир, — слабым, но решительным голосом обратился Зоркий к Сарбаеву. — Раз уж мы оказались на свободе, то строить здесь фашистам больше ничего не дадим.

— Что вы предлагаете? — спросил Сарбаев.

Раздольский увел всех в угол, где горела лампа и никого уже не было на прикрытых прелой соломой нарах.

— Мы не будем говорить вам пустых слов благодарности, — с волнением заговорил Раздольский. — Увидите, что вашу помощь мы оценим делом!

— А особенно это поймут немцы,— сжимая кулаки, сказал Зоркий. — Кстати, они не такие ягнята, какими прикидываются, — кивнул он в сторону немцев, весело и любезно раздававших одежду пленным. — Это бывшие эсэсовцы, попавшие сюда в наказание. В охране есть только один порядочный человек. С этим не знаю что и делать...

— Да чего о них говорить! — с досадой отмахнулся Раздольский. — Дайте нам только винтовки, что вы взяли у немцев. Мы останемся здесь. Утром встретим автомашину, в которой приезжают прораб или техник с охраной. Обычно их приезжает человек десять — двенадцать. Добудем еще оружия. И уж тогда все тут законсервируем как положено! — Раздольский закончил свою речь таким решительным жестом, что было ясно, как это будет сделано.

— Товарищ комиссар, отдадим все немецкое оружие и несколько гранат из наших запасов? — сказал Сарбаев. — Пусть товарищи сразу становятся на ноги.

Грушовицкий кивнул согласно.

— Ну, если так, — обрадовался Раздольский, — тогда возьмите у нас лишнюю взрывчатку, вам она нужней.

— Не плохо бы! — ответил Сарбаев, думая о том, что попутно можно сходить на железную дорогу. — Ну, а немца, которого считаете добрым человеком, все же покажите, — попросил он Зоркого.

Через несколько минут явился высокий, изможденный, словно только что выписавшийся из больницы немец в золоченых очках.

Стукнув каблуками своих огромных сапог, он отрапортовал:

— Иоганн Гутман!

Сарбаев удивленно посмотрел на стесанную до половины белесую бровь и сразу вспомнил лагерь для военнопленных, под Волковском, и немца, показавшего ему и Стародубу дорогу за сарай, откуда можно было бежать.

«Нет, это случайное совпадение!» — подумал он и стал особенно пристально рассматривать немца.

Бледно-голубые, словно выцветшие усталые глаза, веки подпухшие, от длинного заостренного носа до подбородка — глубокие страдальческие морщины.

— Спроси, где он был до этой стройки, — попросил Сарбаев Раздольского.

Поговорив с немцем, Раздольский перевел, что тот был в охране лагеря военнопленных, да проштрафился — отдавал свой паек русским пленным. Его судили, хотели расстрелять, но потом послали в штрафной батальон, который отправили вот сюда.

— Спроси, почему он такой худой, не болен ли.

Выслушав немца, даже Раздольский разволновался. Посылая на эту стройку, Гутмана предупредили, что по окончании работ охрана должна расстрелять всех пленных, чтобы скрыть тайну военного объекта. И только тем он и другие штрафники могут искупить свою вину перед рейхом. Вот почему он такой худой: он не может ни есть, ни спать, все думает о предстоящем истреблении русских пленных.

— И последний вопрос: где находится лагерь, в котором Иоганн Гутман работал до прибытия сюда? — закусив от волнения верхнюю губу, Джума притихшим, словно сорвавшимся голосом обратился к Раздольскому.

Когда немец назвал Волковск, Сарбаев, не дожидаясь перевода, обнял его по-братски и за руку подвел к Зоркому.

— Ты прав, это действительно человек! Он спас меня и моего командира в лагере. Показал пролом в сарае, через который мы убежали. — И, обратившись к Раздольскому, Сарбаев заметил ему: — А ты говоришь, все они одинаковые...

Раздольский усадил немца против себя и заговорил с ним мягче, спокойнее. Спросил, не помнит ли он Сарбаева, думая, что солдат обязательно воспользуется возможностью реабилитировать себя. Но вопреки ожиданиям Гутман сознался, что этого русского офицера не помнит, так как это был не единственный случай помощи военнопленным. Он печально покачал головой:

— Все, что я сделал для пленных, слишком мизерно, чтобы искупить вину немцев перед человечеством. Так что поступайте со мною, как со всеми.

— Мы боремся только с нашими врагами! — возразил Сарбаев. — Мы можем отпустить вас на свободу, можем взять с собой.

— А эти люди, которых я должен был расстрелять, куда пойдут? — виновато глядя в глаза Сарбаева, спросил Гутман.

— Они будут сражаться с фашистами! — сухо ответил Раздольский.

Немец заявил, что хочет быть с ними и будет счастлив, если окажется им полезным.

Раздольский и Зоркий переглянулись и попросили у Сарбаева разрешения оставить немца у себя.

— Он поможет нам провести операцию по встрече прораба с охраной.

Сарбаев крепко пожал немцу руку и сказал:

— До свиданья, геноссе Гутман!

— О-о! Свиданье, товарищ! Свиданье! — закивал немец, и лицо его стало бледнее обычного, а из-под очков скатилась на щеку слеза.

Договорившись с Раздольским о месте и времени встречи, Сарбаев повел свой отряд к железной дороге, пока метель заметала следы.

«Метель для партизана, что светлый денек для косаря, — говаривал Синьков. — Лови каждый час, каждую минуту...»

Партизаны радовались за людей, вырванных из фашистского плена. Каждый понимал, что освободить сотню советских людей, обреченных на гибель, было куда важнее, чем уничтожить целый батальон фашистских головорезов: освобожденные отомстят сторицей и за себя и за многих других.

И бойцы отряда Раздольского на следующее же утро это доказали. Немцы в это утро приехали на двух машинах. В первом крытом грузовике, как всегда, — обычная бригада. Во втором привезли еще восемнадцать солдат охраны. К полудню должны были пригнать вторую партию пленных, чтобы ускорить работу по окончанию строительства аэродрома.

Вдоль барака, как и обычно, прохаживались часовые. У входа в конторку начальство встречал Иоганн Гутман. Обе машины въехали на территорию стройки и остановились возле барака. Солдаты новой охраны вылезли из машины и построились для получения указаний. Вышел из своей машины и прораб. Он тут же придрался к Гутману: барак обставили щитами, предназначенными для ограды.

Вытянувшись в струнку, Гутман доложил, что защищались от метели. Барак, мол, пронизывало холодом.

Прораб приказал немедленно щиты возвратить туда, где они лежали вчера.

Но тут все двадцать щитов сами оторвались от стен, и на немцев, группами стоявших в пяти-шести метрах от стенки, дружно бросились вчерашние военнопленные. Немцы подняли стрельбу. Но ярость придала бывшим узникам такую силу, что их ничто не могло остановить. Некоторые бросились прямо на автоматы, прикрывая собою товарищей, чтобы дать им возможность обезоружить врагов. Схватка закончилась быстро. Только прораб успел назвать Гутмана предателем и застрелил его.

Иоганн Гутман был похоронен вместе с тремя пленными красноармейцами, погибшими в схватке с фашистами.

Бойцы Раздольского взорвали на аэродроме все, что было построено ими, и ушли.

Хотя метель кончилась и теперь нельзя было уйти, не оставив следа, но людей Раздольского это не остановило. Важно было потеплее одеться и запастись продуктами. Нужна была новая встреча с немцами, чтобы в бою до-

быть оружие всем. И отряд двинулся к ближайшему местечку, где был полицейский участок и небольшой немецкий гарнизон.

XXVII

— Джина выпустили из бутылки! — такими словами Сарбаев начал свой доклад комбригу об освобождении военнопленных, строивших аэродром.

Он коротко и как бы между прочим рассказал о том, что ящиком взрывчатки, взятым на стройке, пущен под откос немецкий эшелон с техникой. Но очень подробно и с радостью сообщил о начале боевых действий нового отряда.

Возвращаясь из «попутной» диверсии на железной дороге, Сарбаев узнал от жителей деревень, мимо которых проходили, что новый отряд в самых неожиданных местах наводит на немцев ужас. Бойцы Раздольского напали на взвод жандармов, который занимался сбором хлеба, скота и теплой одежды в трех районах. Отряд полностью вооружился и оделся в немецкое.

— Мы назначили место встречи. Они, конечно, охотно к нам присоединятся. Но где им жить? — закончил свой доклад Сарбаев.

— Думаю, что такие люди не пропадут, — выразил мнение всех капитан Строгов. — Однако помочь им надо. У нас есть запасная база.

— Вот как? — удивился Стародуб. — А почему о ней молчал?

— Да нет, товарищ комбриг, я не таил, — улыбнулся Строгов. — Запасной базой мы называем домик лесника километрах в двадцати отсюда. Там огромный, довольно добротный сарай. В нем, если соорудить печку, то при большой беде можно жить. У нас есть еще одна «буржуйка». Надо будет, и эту отдадим. — Он кивнул на раскаленную жестяную печку. — А себе тут из глины слепим.

— Неплохо, — сказал комбриг, оценивая прежде всего эту готовность капитана помочь товарищам. — Что ж, если Раздольский согласен присоединиться к нашей бригаде, ведите его, будем знакомиться, наметим совместный план действий.

Павел Прокофьевич видел, что, закончив доклад, Сарбаев чего-то ждет теперь от него самого. Стародуб знал,

чего он ждет. Поэтому, как только остались вдвоем, рассказал об Эле.

Услышав, что Элю схватили немцы и увезли в областной центр, Джума вскочил. Но полковник, дружески положив ему руку на плечо, усадил на место.

— Не горячись. Подумаем.

— Что тут думать! В городе гарнизон большой, гестапо, жандармерия, полиция, какая-то военная школа и еще черт знает что!

— Хорошо уже то, что ты это знаешь. Но вспомни остров на болоте. Выхода не было, а выбрались.

Джума сел, низко свесив голову, избегая взгляда полковника.

— Из застенка гестапо не выберешься...

— Надо привлечь к этому делу бургомистра, у которого Эля работала, — сказал полковник.

— Возле его местечка мы похитили инженера, значит, он у немцев теперь на подозрении, — не соглашаясь с таким планом, заметил Джума.

— Вот пусть отметает это подозрение и от себя, и от Эли, раз ее увозили как невесту. Тут ему надо подсказать, что, если он сам не пойдет в гестапо, его все равно вызовут. А тогда будет хуже. Человек он богатый, но мы ему что-нибудь еще добавим из трофейных драгоценностей в подарок немцам.

— Клюнут ли на это в гестапо?

— Об этом был разговор с Иваном, твоим связным. Он рассказал, в каких отношениях Поздняков с немецким начальством. Везде у него, оказывается, связи, всех он задобрил, со всеми какие-то сделки. Даже шефа гестапо одаривал мехами. Надо постараться встретиться с ним где-нибудь за пределами его местечка.

— Спасибо, Павел Прокофьевич, что вы взялись за это дело.

— За что благодаришь! Эля — наш боевой товарищ, она была на переднем крае, и оставить в беде мы ее не можем, — сказал Стародуб. — Я понимаю, отдыхать сейчас ты не станешь. Вот поешь, суп мой еще не остыл.— И он поставил перед Сарбаевым котелок. — Бери своих орлов и отправляйся. Сам с бургомистром встретишься. Если надо будет и мне поговорить с ним, я готов. Но учти, за ним сейчас могут следить немецкие агенты. Судя по всему, этот Поздняков — человек, преданный только

своему идеалу — обогащению. Для немцев он стараться особенно не будет. Так что, если вопрос встанет о его жизни и помощи нам, едва ли он выберет смерть за оккупантов.

— Если бы еще выделить небольшую группу, чтобы дорогу взять под контроль,— несмело сказал Джума, считая, что это уж слишком для спасения одного человека.

— Дорогу из города еще с вечера оседлал отряд Бараташвили. Карателей он не пропустит!

— Выходит, вы уже наполовину подготовили операцию, — благодарно посмотрел Сарбаев на полковника.

— Операцию мы провели бы, даже если бы ты не вернулся, — ответил Стародуб. — Поскорее свяжись с Бараташвили. Но только не вздумайте идти напролом. Это бессмысленно.

Андрей Гак рисовал с фотокарточки портрет матери капитана Сердюка, служившего в батальоне, который стоял неподалеку от областного центра. Батальон был сформирован из сынков белоэмигрантов, всю сознательную жизнь проживших в Европе и ничего толком не знавших о России. Капитан, по словам Леончика, открывал этим «волчатам» глаза на современную Россию. Зачем это нужно «волчатам», которых скорее можно было назвать волкодавами, Андрей догадывался. По тому, как они шиковали, было не трудно понять, что это будущие шпионы, провокаторы, диверсанты, которых пошлют к партизанам или за линию фронта.

Капитан был выгодным клиентом: он платил коньяком, икрой и прочими деликатесами. Поэтому хозяин ателье приказал Андрею как можно дольше тянуть с его заказом.

Самому же Андрею капитан казался человеком более интересным для партизан, чем шеф гестапо, заказ которого Леончик считал главным и срочным.

Услышав скрип двери на террасе, Андрей решил, что идет хозяин, и быстро убрал с мольберта портрет матери капитана, а поставил широкий подрамник с карандашным наброском лица разжиревшей немки и заносчиво поднятой головы подростка с челкой, прикрывающей правый глаз, одетого в форму гитлерюгенда.

Дрожащей от волнения рукой Андрей взял фотокарточку, с которой рисовал картину, и продолжал работу. Но волнения его оказались напрасными: вошел не хозяин, а сосед, Гераська. Этому было все равно, над чем работает художник, лишь бы поглазеть. Если бы не скрипучая дверь, то Андрей и не услышал бы, когда появился этот непрошеный зритель. Он ходил бесшумно, как кошка. И обувь-то подобрал себе подходящую для такой ходьбы — войлочные ботинки на резине. Чем-то враждебным веяло от этого человека. Даже при немцах Андрей не ощущал той оледеняющей скованности, какую неизменно наводил этот с виду безобидный, всегда пьяненький забулдыга.

Леончик сам познакомил своего работника с этим типом. В глаза хвалил его, называл хранителем покоя мирных жителей. А как только Гераська ушел, растолковал Андрею, как себя вести при этом человеке. Он не скрывал, что это тайный полицай, относился к нему высокомерно и в то же время побаивался. Боялся, конечно, не за себя, а за художника — прибыльного работника.

— Не скрывай, что ты восточник. Это я ему сказал. Только веди себя так, чтоб Гераська считал тебя обиженным Советами, — поучал Леончик. — И не прячься от него. Обязан он за тобой следить. Понимаешь? Ты с ним разговаривай, рассказывай что-нибудь веселое. Только о жизни заключенных не пытайся брехать. В тюрьме ты не бывал. Я это давно понял. — Видя, что Андрей хочет возразить, Леончик успокоил его: — Но ты зря боялся сказать, что был красноармейцем. Вон их сколько, покалеченных, живет по селам. О тюрьме он будет особо расспрашивать, но ты увиливай от этого.

— Я был в барановичской тюрьме,— настаивал на своем Андрей, но не стал объяснять, что попал туда уже в войну, вместе с тяжелоранеными, варварски угнанными в плен.

— Ну, если был, то рассказывай только о том, что знаешь.

Помня эти наставления, Андрей и сегодня — уже в который раз! — по навязчивой просьбе Гераськи начал рассказывать о порядках в барановичской тюрьме. Он только раз повернулся к незваному гостю, чтобы поздороваться. А уж потом говорил, не глядя на его пупырчатую, с красным носом физиономию. Рисовал и рассказы-

вал. А Гераська поддакивал, переспрашивал, уточнял. Он делал это каждый раз, и одинаково, из чего Андрей заключил, что перед ним дурак дураком. Но видно, в полиции такие тоже нужны, умные на такое дело не очень-то идут. Одно заметное качество было у этого доносчика: он был терпеливым и усидчивым. Часами просиживал на табуретке за спиной Андрея и все о чем-нибудь расспрашивал, выматывал душу.

Узнав, что Андрей скоро должен идти обедать, Гераська посмотрел на часы и сказал, что с удовольствием посидит, поучится «малевать», а потом поведет художника к себе в гости, музыку слушать. У него много трофейных пластинок. Там и пообедают.

Услышав о трофейных пластинках, Андрей сразу подумал, что это, очевидно, какие-то фривольные немецкие песенки, в которых он ничего не понимает. И пока рисовал, ломал голову, как надо себя вести, когда этот вислогубый тип будет заводить патефон.

Войдя в большую, богато обставленную квартиру, Гераська приоткрыл дверь в кухню и крикнул кому-то:

— Нам шнапсу и огурчиков!

Гостя он провел через две комнаты и остановился только в третьей, где на столе, заваленном пластинками, стоял патефон. Широким жестом Гераська предложил Андрею выбирать пластинки, а сам завел ту, что уже стояла на патефоне.

Все обернулось неожиданной для Андрея стороной. Трофейными, оказывается, Гераська называл советские пластинки.

Горячей волной хлестнуло Андрею под сердце, когда на всю комнату вдруг раздался задорный голос:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

Но Андрей сумел подавить охватившее его волнение и, скривившись, как от зубной боли, сказал:

— Что, у тебя нету чего-нибудь более интересного — цыганского романса или нашей, тюремной?!

Андрей чувствовал, что Гераська впился в его лицо своими коршуньими глазами, когда завел пластинку о партизанах, но вовремя отвернулся, чтобы выбрать что-то «более интересное». Взгляд его упал на пластинку, на которой была записана одна из его любимейших песен —

«Есть на Волге утес». Сейчас его больше всего волновала в ней одна строфа:

Если есть на Руси хоть один человек,
Кто б с корыстью житейской не знался,
Кто б свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался,
Тот пусть смело идет,
На утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет,
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

«Не понять этому подонку смысла этих строк!» — с презрением подумал Андрей, поставил пластинку молча, не обращая внимания на полицая, которому угрюмая красивая женщина, одетая в черное шелковое платье, принесла на подносе закуску и вино. Молча расставив все на столе, она мягко, словно кошка, ушла.

Такой закуски даже у своего хозяина Андрей не видывал. И еще больше возненавидел он Гераську. Но тем не менее вынужден был сесть с ним за стол.

Меняли пластинки. Пили одну за другой рюмки противного, непривычного для Андрея шнапса. И все громче говорили о женщинах, о которых Андрей ничего еще не знал и пользовался ходячими, общеизвестными понятиями.

Хозяин заметно пьянел. А гость только разгорался. Гераська видел, как залихватски опрокинул себе в рот первую рюмку его гость, и радовался: «Накачаю, язычок развяжется...»

Но Андрей первой стопкой только сбил его с толку. Потом он начал выплескивать противное зелье в огромную кадку с фикусом, стоявшую на полу у него за спиной. Он с самого начала удачно выбрал это место и, пользуясь моментом, когда хозяин менял пластинку, шнапс выплескивал, а наливал воды в свою рюмку. Сам же он и предложил после третьей рюмки перейти на стаканы, чтобы скорее отвязаться от «гостеприимного хозяина».

Через какой-нибудь час, поблагодарив потерявшего дар речи и осоловевшего хозяина, Андрей ушел.

Молча и угрюмо провожали его тускло-черные и какие-то бесконечно усталые глаза женщины в черном.

«Что ее привело к этому типу?» — с горечью подумал Андрей, мысленно называя женщину черной кошкой.

— Маляр, куда ты девался! — набросился Леончик, как только Андрей переступил порог дома. — Через пять минут приедет шеф гестапо, сам Фельзинг!

Андрей внутренне вздрогнул. Он уже третий день слышал о том, что шеф гестапо хочет посмотреть, как идет работа над его заказом, и невольно боялся этой встречи.

— Идем в мастерскую. — И, пристально глянув в глаза, Леончик спросил: — Ты был у Гераськи? Он тебя заставил пить?

— Да.

— Ладно. Выполнишь заказ шефа, договоримся с полицией, чтоб этому балбесу приказали оставить тебя в покое. Иди в мастерскую. Я встречу шефа. Если потребуешься, позову... Стой! — Леончик с ног до головы ощупал своего работника подозрительным взглядом и достал ему из гардероба новый темно-серый костюм.

Андрей взял костюм и направился было с ним наверх. Но Леончик потребовал переодеться здесь, у него на виду.

— Ты оружием у этого мокрогубого типа не обзавелся? — И хозяин ощупал сброшенную Андреем одежду.

— Так вы могли меня просто обыскать, зачем переодеваться? — с досадой сказал Андрей, застегивая широковатые в поясе брюки.

— Переодеваю не для этого! Ты должен выглядеть солидным художником, а не каким-то мазилой!

— Даже самые солидные работают в стареньком, чтобы не испачкать...

За окном хлопнула дверца бесшумно подкатившего «опеля».

— Наверх! — оборвал Андрея хозяин и, согнувшись, вылетел встречать грозного клиента.

Толстый, приземистый и кривоногий немец с бульдожьим зеленовато-смуглым лицом не вошел, а ворвался в мастерскую художника. И как бульдог, сорвавшийся с цепи, сразу пробежал по всем углам, все осмотрел, все обнюхал.

Андрею показалось, что гестаповец именно принюхивается, а не только присматривается.

Может, не зря говорил о нем Леончик, что шеф по запаху находит в доме оружие. Однако сейчас он, видимо, искал не само оружие, а тех, кто мог с ним где-то притаиться.

Заложив руки за спину, сильно склонившись вперед, верткий, колченогий, каких Андрей еще не видывал, немец наконец заглянул в каморку, где хранились пустые банки из-под малярных красок, оставшихся после ремонта дома. Остановившись на середине комнаты и глядя в окно, начинавшееся от пола и кончавшееся под потолком, а в длину занимавшее почти всю стену, он спросил бесшумно следовавшего за ним Леончика и переводчицу, белолицую, преждевременно раздобревшую девицу, кто живет в доме, что стоит против этого окна. И, лишь услышав, что там квартира шефа полиции и что она охраняется, обернулся к художнику, пронзил его ледянистыми глазами человека, привыкшего только уничтожать, и что-то быстро, словно выстрелил, сказал так, что Андрей не уловил ни одного немецкого слова. Девица монотонно, в нос перевела:

— Не хватает еще, чтобы шефа гестапо рисовал партизан!

Леончик побледнел и уверенно заявил, что художник хороший человек, что он увлечен только искусством.

Не слушая переводчицу, шеф в упор посмотрел на художника до остекленения выкатившимися глазами и злобно выкрикнул что-то еще более неразборчивое, даже кулак поднял.

Переводчица так же безразлично прогундосила вопрос, что означают эти клетки на фотографии семьи шефа гестапо.

Андрей приподнял с фотокарточки, лежавшей на столе, сетку из тончайшей проволоки и, кивнув на полотно, на котором в такой же сетке уже были карандашом сделаны наброски лиц жены и сына гестаповца, объяснил, что клетки эти нужны для соблюдения пропорций: все портреты увеличиваются именно так. Этот способ принят во всех странах, в том числе и в Германии.

— Даже в мастерской художника моя семья не должна быть за решеткой! — прокричал шеф, отчего у художника мороз пошел по спине.

— На других фотокарточках я просто наношу клетки мягким карандашом, а потом стираю. А на вашей не стал чертить, вечер провозился с этой металлической сеткой, чтобы не портить фотокарточки, — с трудом сдерживая волнение, сказал Андрей.

Шеф только посопел носом да скрипнул зубами.

Сначала Андрей подумал, что скрипит он от злобы. А потом понял, что у него искусственная челюсть. Даже показалось, что, сжав свои скрипучие челюсти, шеф както подобрел, отвисшие и подергивающиеся желваки изобразили нечто вроде улыбки, этакого звериного довольства.

«Наверное, вот так же радуется тигр, когда смотрит на своих преуспевающих зверят», — подумал Андрей и быстро отвел взгляд от лица, на которое вообще боялся смотреть.

— Гуть! — удовлетворенно клацнул челюстью шеф.

Он сказал не «гут», а именно «гуть».

И опять пробарабанил что-то очень непонятное.

Пухлая блондинка перевела:

— Лица удивительно похожи. Особенно сын. Лучше чем на фото. Хорошо, если так будет и в красках.

— Не всегда в красках получается лучше, — ответил Андрей. — Может, сделать черно-белую картину? Будет как старинная гравюра по металлу.

— Найн! — возразил шеф и объяснил, что переделывать поздно: через семь дней едет человек, с которым он обещал передать эту картину домой.

Шеф ушел, вернее, исчез так же быстро, как и появился.

Леончик мячиком скатился по лестнице впереди него. Не спеша ушла только переводчица. На пороге она задержалась и, приторно улыбаясь Андрею, помахала рукой с пухлыми белыми пальцами.

— Ну и ариец! — хмыкнул Андрей, стоя посреди мастерской под впечатлением встречи с колченогим немцем, облеченным высшей властью в области. — Кривую саблю ему в руки — и с натуры пиши турецкого янычара.

Машина во дворе урчала, но почему-то не уезжала. И вдруг вверх по лестнице снова дробно застучали женские каблучки. Решив, что это Вера, жена хозяина, Андрей взял карандаш и подошел к мольберту.

— Андрюша! — услышал он приторно-ласковое.

Вздрогнул. Оглянулся.

Это была переводчица. Она подбежала к нему с распростертыми объятиями, так, будто была его самой желанной. Обдав какими-то дурманящими духами, она крепко обняла его и поцеловала жадно, бесстыдно.

— Что вы! — отшатнулся от нее Андрей. — Да он нас обоих!..

— Он там! — махнула пренебрежительно девица и тут же, взглянув в зеркало, поправила краску на губах. — Он послал меня сказать, какой цвет волос у сына и у этой рыжей коровы.

— Идите скорее вниз, умоляю вас! — подкладкой фуражки вытирая губы, просил Андрей.

— Простите! — бросила она. — Вы такой чистый... Я знаю, знаю, после этого борова меня полюбить нельзя. Но что я могу поделать! Что я могу... — и убежала. Уже за порогом она сказала, что лицо жены шефа надо сделать цвета утренней зари. — Хотя не верю, что у этой коровы может быть хороший цвет лица!

Андрей устало опустился на стул. Руки его омертвели. Кисть выпала. «Ну и попал!..» И вдруг плюнул — со злостью, с омерзением. Плюнул так, словно хотел, чтобы вместе с плевком отлетели и его губы, обцелованные, облизанные похотливым ртом переводчицы, из которого по-мужски разило водочным перегаром.

Вспомнилась картина: Иосиф, оставляющий свои одежды и убегающий от царицы-насильницы.

«Ну и попал, как в зверинец!» — сокрушенно думал Андрей. Янычары, шпики, похотливые развратницы... А где же настоящее дело, то, ради чего он с таким трудом пробирался в это ателье?

Старик Чугуев целую неделю не спал, все «водил» его вокруг ателье. А теперь Андрей сам дни и ночи работает с нервами, натянутыми как струна. Что можно сделать для родины, для победы, рисуя портреты врагов и разжиревших домочадцев?

На этот вопрос отвечал ему голос полковника Стародуба, напутствовавшего его перед отправкой на задание: «Терпение! Терпение. И еще раз терпение».

XXVIII

Фельзинга начальство считало безупречно преданным фюреру. Да и сам он в этом был уверен. Областной центр, в который Фельзинг получил назначение начальником гестапо, был небольшим, но стоял на важной железнодорожной магистрали, и в обстановке партизанской борьбы, которая все нарастала, работа гестапо здесь была очень заметной. Фельзингу было трудно, очень трудно. Но он работал не жалея сил, уверенный, что потом, при деле-

же завоеванного, его не забудут. Однако на потом он надеялся только в первые месяцы войны. С течением времени заметил, что другие, даже высоко стоящие над ним чиновники рейха, ничего не откладывают на потом, а пользуются жизнью прежде всего сегодня. А уж когда выяснилось, что «блицкриг» оказался мыльным пузырем, что армия фюрера под Москвой увязла, и все больше стали задумываться о том, с чем же придется возвращаться назад, Фельзинг стал пристальней присматриваться ко всему, что близко лежит.

Вот почему он с таким радушием принял бургомистра Позднякова, который, прежде чем обратиться к руководителю гестапо со своей просьбой о невесте Кинстлера, передал ему «забытый» инженером золотой кулон с бриллиантом. Вручая эту вещь без свидетелей, Поздняков подчеркнул, что, кроме него, никто не знает об этой «безделице», которая может «пригодиться следствию».

По-немецки бургомистр говорил очень медленно, с натугой. Каждое слово он подолгу искал в своей памяти и выдавал его таким, каким, видимо, запомнил из словаря, — не признавая ни спряжений глаголов, ни склонений существительных, уж не говоря о согласованиях. И все равно, после того как в руке Позднякова сверкнул драгоценный камень, шеф гестапо решил провести беседу один на один, без переводчика.

Как бы в похвалу инженеру Кинстлеру, Поздняков назвал цену кулона. Услышав астрономическую цифру, шеф только хмыкнул и тут же положил соблазнительную драгоценность в сейф, для чего не поленился встать и пройти через весь кабинет.

Долго, во всех подробностях Фельзинг расспрашивал об охоте инженера, о его ухаживаниях за полькой. Особенно интересовался, как впервые познакомился немецкий инженер с русской подданной. Фельзинг хотел узнать, не подослана ли эта девушка партизанами для заманивания военного инженера.

— О нет! — заверил Поздняков. — Ведь она появилась задолго до прибытия к нам господина Кинстлера. А о его прибытии я узнал из ваших уст всего лишь за пару дней. Увидел господин инженер эту девушку случайно, когда она играла на рояле. — Тут Поздняков скептически склонил голову набок и выразил свое сомнение по поводу серьезности намерения инженера жениться на Эле.

— Представьте себе, что он хотел именно жениться,— как-то с сожалением ответил шеф. — Это совершенно точно.

Поздняков и сам в этом не сомневался, потому что первым прочел письмо к матери, отправленное Кинстлером из местечка. В этом письме немец готовил мать к тому, что привезет ей невестку не чистокровную арийку. Поздняков это знал, но хотел услышать, что об этом думает шеф гестапо. От ответа Фельзинга зависел весь ход дальнейших действий Позднякова. Услышав положительный ответ о намерениях инженера, Поздняков только руками развел:

— В любви много непостижимого. Тут я не очень компетентен.

Поздняков старался казаться значительно проще, наивнее, чем он есть: он давно заметил, что немецкое начальство любит, чтобы люди другой нации чувствовали превосходство арийцев.

Несколько раз шеф возвращался к вопросу, почему невеста осталась, а жениха партизаны увели. И каждый раз, внимательно выслушав предположения бургомистра, гестаповец высказывал свою точку зрения, прямо противоположную. Это был его излюбленный метод проверки подозрительных людей. Наконец он сам же сделал вывод, что если бы девушка была партизанским агентом, то партизаны не оставили бы ее на произвол судьбы. Они убили возницу, сидевшего на виду, и забрали инженера, которого тоже видели. А о том, что в санях, закутанная в шубу, ехала еще какая-то девушка, они конечно же не знали.

Поздняков искренне удивился этому выводу шефа гестапо и спросил, зачем же ее тогда держать взаперти.

— Во-первых, она не под арестом, — ответил шеф, закуривая сигарету, — во-вторых, мы обязаны ее беречь, чтоб не случилось того, что с господином инженером.

За время беседы Фельзинг ничем не выказал своего недовольства бургомистром за то, что в черте его района произошло столь неприятное событие, хотя имел полное основание строго с него взыскать. Он мог бы прямо обвинить его в том, что его секретарша подстроила эту катастрофу. Но это он еще успеет сделать. Важно напасть на след партизан, если эта девушка все же была с ними связана.

Из первой же беседы с Элей Фельзинг понял, что если девушка и была подослана партизанами, то теперь не сможет указать к ним дорогу: после столь серьезной операции и провала агента партизаны не останутся в прежнем лагере, если он у них даже был. А вообще-то Фельзинг давно пришел к выводу, что у партизан нет постоянного местожительства. Конечно же, скорее удалось бы напасть на их след, если бы создать видимость ее полной реабилитации, отпустить и установить за нею неусыпное наблюдение. Тем более что от бургомистра можно будет еще кое-что заполучить. Он, этот скользкий червяк, видимо, и сам от девушки без ума и пойдет ради нее на любые расходы... Пока что надо из него выкачать все, что можно, а там... Дело инженера серьезное, запутанное, и виновниками могут оказаться самые неожиданные люди, даже этот бургомистр...

Видя, что раздумье шефа гестапо слишком затянулось, Поздняков, с трудом превозмогая страх, заговорил о том, что даже временное проживание в здании, принадлежащем гестапо, видимо, угнетающе действует на невесту господина инженера. Он стал просить перевести ее в офицерскую гостиницу, которая тоже охраняется.

— Это связано с большими расходами, господин бургомистр, — ответил шеф, словно не догадываясь, зачем именно в этот момент Поздняков полез во внутренний карман своего пиджака.

— Все расходы, герр шеф, я беру на себя! — С этими словами Поздняков положил на стол солидную пачку долларов.

Фельзинг, качнув головой, ухмыльнулся:

— У вас, господин бургомистр, все экзотическое, начиная с мехов, кончая деньгами. Гестапо может поинтересоваться, где вы все это берете?

— От гестапо у меня нет и не может быть никаких секретов, герр шеф! — с готовностью ответил Поздняков.— С момента освобождения моего города от большевиков я получил возможность вернуться к профессии отца, который до тридцать девятого года был крупнейшим коммерсантом Бреста. На сбережениях, оставленных отцом в швейцарском банке, я теперь и разворачиваю свою торговую фирму. Ведь в великой Германии частная инициатива не возбраняется?

— О, конечно же, конечно! Насчет интереса гестапо я, безусловно, пошутил,— относя доллары в сейф, уже совсем подобревшим голосом отвечал шеф.

От глаз Позднякова не скрылось, что на ходу шеф бегло пересчитал доллары и, видимо, остался очень довольным суммой.

Возвратившись от сейфа к столу, шеф спросил, а как же он, бургомистр, не боится ездить по той дороге, на которой случилось такое с инженером.

— Приходится рядиться под простого мужичка.— И Поздняков кивнул на окно.— Посмотрите, на чем я к вам приехал.

Шеф увидел на противоположной стороне улицы лошаденку, запряженную в розвальни, на которых, кроме сена и каких-то мешков, ничего не было. Лошадка от долгого стояния заиндевела и казалась голубовато-седой.

— Гуть! — Посмотрев на часы, Фельзинг встал.— Вашу сотрудницу сегодня же устроим в самый комфортабельный номер гостиницы.

— Господин шеф, а не могу ли я видеть хоть на минутку свою бывшую сотрудницу? — робко спросил Поздняков.

Фельзинг вспомнил о синяке на виске Эли, рассказал, как он появился, пообещал жестоко наказать виновника-полицая и приказал привести ее сюда.

Эля вошла неузнаваемо бледная, с черным кровоподтеком на виске. Она обреченно посмотрела на бургомистра и остановилась у порога.

— Эля! — бросился к ней Поздняков и, поцеловав руку, с возмущением, патетически воскликнул: — Но ведь он мог вас убить! Кто это был, скажите мне.— Пользуясь тем, что стоит спиной к Фельзингу, который в это время говорил по телефону, он выразительно моргнул: мол, отвечай.

И пока она коротко и неохотно перечисляла приметы ударившего ее полицая, он одними губами дважды сказал по-русски:

— Вы любите инженера! Любите! Только это вас спасет.

Он подвел Элю к столу шефа и усадил в кресло, где только что сидел сам.

— Господин шеф обещал строго наказать подлеца, поднявшего руку на невесту столь высокопоставленного ин-

женера! — с пафосом сказал Поздняков. А обращаясь к Эле, добавил: — Вас здесь не считают в чем-то виноватой, и находились вы в этом помещении только для вашей безопасности. Сейчас вас переведут в гостиницу, где вы будете пользоваться всеми благами, как и положено невесте заслуженного человека.

Эля давно поняла, зачем Поздняков так настойчиво подчеркивает, что она невеста Кинстлера, но не могла об этом дать знать Позднякову. Наконец она решилась на то, что было противно всему ее существу, но необходимо в ее безвыходном положении, подала руку своему бывшему начальнику и взволнованно сказала:

— Вы милый, замечательный человек, только вам я обязана знакомством с Максом! Помогите, помогите мне найти его!

«Поняла!» — обрадовался Поздняков, но развел руками и печально сказал:

— Я тут бессилен. Будем надеяться на всемогущество нашего дорогого шефа, — и, повернувшись к Фельзингу, молитвенно сложил на груди руки.

Легкость и непринужденность, с которыми Эля говорила по-немецки, располагала к доверию, и все же шеф гестапо взвешивал каждое слово сидевших перед ним людей, отмечая про себя каждое их движение. Поэтому и речь, и жесты бургомистра казались ему несколько переигранными, нарочитыми. Уж очень он старался помочь красавице...

Когда Эля уходила, Фельзинг посмотрел ей вслед и подумал, что инженер, да и этот коротенький плюгавчик бургомистр, не зря потеряли покой: что и говорить, девушка необыкновенной, царственной красоты...

Возвращался Поздняков не по шоссе, чтоб не попасть к партизанам, которые выкрали инженера, — поехал по проселку. Дальше, но надежнее. Так он оправдывался бы при встрече с немцами или служащими у них. А на самом же деле на проселке у него была назначена встреча с Синьковым. Точного места ему не назвали. А дали маршрут, по которому должен возвращаться после разговора в гестапо. И вот уже на закате солнца среди леса его окликнули. Он остановил коня и стал пересупонивать хомут. Это он делал на случай, если попадется кто-то из

деревенских на дороге. Занимаясь своим делом и не глядя на елку, за которой стоял Синьков, Поздняков передал содержание всего разговора с шефом гестапо.

— О Соне ничего не спрашивал шеф? — спросил Синьков.

— Она-то при чем? — ответил Поздняков. — Они скорее меня обвинят, чем кого-то другого. Перестану подносить, сразу и упекут. А скоро и подносить-то будет нечего.

— Об этом не беспокойтесь. Приманку найдем. Только будьте осторожны в городе.

— Скорей бы все это кончилось! — отчаянно проговорил бургомистр. — Нервы не выдержат!

— За жизнь надо бороться! — ответил Синьков. — Продолжайте любезничать с шефом, завтра же отвезите ему какую-нибудь драгоценность и узнайте, где теперь Эля. Если в гостинице,— как охраняется. Вы должны о ней знать все, если хотите сохранить свою жизнь!

Отпустив бургомистра, Фельзинг тут же вызвал следователя, занимавшегося делом инженера Кинстлера.

Следователь изложил свою точку зрения на дело, из которой было ясно, что он подозревает невесту похищенного инженера в связи с партизанами лишь по той причине, что она стреляла в полицейского.

— То, что она стреляла в скачущего на нее с нагайкой всадника, говорит лишь в ее пользу, — положив свою пухлую короткопалую руку на стол, возразил следователю шеф. — Она приняла его за партизана и боялась попасть в плен.

— Господин штурмбанфюрер, но ведь всадник был в форме полицейского, — начал было следователь.

— Форма сейчас ничего не значит, партизаны имеют любую форму, — перебил его Фельзинг. — Да в страхе и вы едва ли разглядели бы форму нападающего на вас всадника.

Следователь согласился, что шеф прав, и тут же исполнил его приказание — договорился по телефону с хозяином гостиницы, затем привел Элю.

На этот раз Эля отказалась сесть и, отчужденно посмотрев на шефа гестапо, спросила, где ее Макс.

Фельзинг подошел к ней, легко взял под локоть и

любезно подвел к креслу. Девушка села и вдруг разрыдалась. Немец поставил перед ней позолоченное блюдце, на котором лежала плитка шоколада.

— Значит, вы уже не надеетесь его найти?! — с гневом и презрением вскрикнула она, не обратив никакого внимания на угощение. — Конечно! Легче расправиться с беззащитной девушкой... — Тут она откинула за ухо свой черный локон, прикрывавший синяк на виске. — Это сделать легче, чем найти где-то в глухом лесу партизанскую берлогу, куда утащили моего Макса!

Шеф стал ее успокаивать, сообщил, что уже готов для нее номер в гостинице, где она будет обеспечена всем необходимым, пока идут усиленные поиски ее жениха.

Радость подкатила к сердцу девушки горячей волной: значит, она не арестована! Значит, ей верят! И она решила вести свою роль до конца. Встав, гордая и непреклонная, она громче, чем полагалось, воскликнула:

— Нет! Никаких гостиниц! Пошлите меня на фронт!

Горячность девушки Фельзингу даже понравилась. Кто знает, может, в ней и в самом деле течет капля арийской крови? Он вспомнил, что отец ее по документам — немец. Может, и так. Иначе откуда же столько воинственности? Настоящая валькирия!

— Если вы так полны решимости служить рейху, мы вам и здесь найдем дело, достойное вашего патриотизма.

— Здесь мне делать нечего! Я не стану с нагайкой гоняться за женщинами да детьми! — категорически возразила Эля, постепенно успокаиваясь и возвращая своему голосу уверенность. — Я хочу мстить! Мстить там, на фронте!

Фельзинг вкрадчиво сказал, что мстить можно и здесь.

— За это? — все так же строптиво Эля показала на свой синяк. — Мстить бандиту, одетому в форму полицейского? Это мелко.

— Мстить партизанам, — сказал шеф и пристально, словно добирался до самой души, стал смотреть в глаза девушки и ждать ответа.

— Что ж, если мужчины не справились, пойдут девушки! — горько усмехнувшись, ответила Эля, чувствуя, что предельно устала, что катастрофически ослабевает та внутренняя пружина, которую она завела в себе силой воли, когда по знаку Позднякова поняла, что спасти ее может только роль влюбленной в инженера Кинстлера.

Усталость, видимо, была очень заметной, потому что и Фельзинг сказал:

— Идите в гостиницу. Отдохните, успокойтесь. А потом побеседуем. Сюда вам больше приходить не следует. Я сам вас навещу. — Все так же любезно взяв под локоть, шеф вывел из кабинета девушку и приказал одному из сидевших в приемной офицеров проводить ее до гостиницы и обеспечить полную безопасность.

Возвратившись в кабинет, он устало сел на свое место, кивнув следователю на кресло.

— Итак! — Пристукнув рукой по столу, он стал говорить, словно диктовал приказ: — Бургомистра берите. Девушке дайте полную свободу в пределах города: не попытается ли уйти? Но!..

— Понятно, господин штурмбанфюрер: не оставлять ее без наблюдения ни на секунду!

— Предложите ей работу, на которой она могла бы оказать помощь партизанам, о чем-то предупредить их. И следите, не клюнет ли на эту приманку, как говорят рыболовы. Все ясно?

— Понимаю, господин штурмбанфюрер. А бургомистра прикажете брать на месте или вызвать? — спросил следователь, боясь услышать приказ — «на месте».

Ехать в партизанскую зону следователь смертельно боялся.

Ответ последовал совершенно неожиданный:

— В лесу. Устройте нападение партизан на бургомистра, когда поедет к нам. Отряд организуйте из пятишести наших автоматчиков. А командиром возьмите русского. И пусть сразу же там допросят. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Это гениально! — воскликнул следователь. — Я немножко задумывался над тем, почему бургомистр так часто ездит в город, а ни разу не попался партизанам.

— Когда это «немножко» возникает в вашей голове, докладывайте мне!

— Слушаюсь, господин штурмбанфюрер!

— Если бургомистр поедет к нам по заданию партизан, он признается в этом другим партизанам, чтоб его не задерживали...

— О, тут можно ухватиться за длинную ниточку и добраться до самого клубка, — обрадовался следователь.

— Не загадывайте! Ваш командир отряда должен не

поверить бургомистру, что тот послан партизанами, потребует в доказательство свести его с лесовиками. Ну, а уж тут надо только оперативно запросить нашу поддержку. Пожалуй, возьмите для связи рацию. А мы где-нибудь неподалеку от вашей засады будем держать специальный отряд. Выполняйте!

Щелкнув каблуками, следователь повернулся, чтобы уйти. Но шеф остановил его.

— И еще одно. Это задание вам лично. — Фельзинг многозначительно поднял указательный палец. — После окончания этой операции произведете самый тщательный обыск в кабинете, на квартире и у близких бургомистра Позднякова. Надо будет изъять все, что может представлять какую-то ценность для рейха.

Бургомистр, хозяин целого района, к тому же самый состоятельный в округе человек, пробирался по лесу в крестьянской одежде с котомкой за плечами, в которой, как и положено деревенскому мужику, только горбушка хлеба, шмат сала да луковица.

А что делать? Отправься он в этот путь открыто, на санях, да еще под охраной полиции, шеф гестапо сразу же спросит: «Что, и партизан задарил? Ездишь туда-сюда — и не трогают?»

Конечно, Поздняков рад был бы жить под крылышком у немцев, так чтобы их не бояться и прятаться только от партизан. Всегда один страх лучше двух.

С немцами Позднякову вообще попутнее. Вот ведь при них он сразу стал на виду, а в будущем надеялся еще и разбогатеть. Польские паны столько лет хозяйничали на Полесье, да так и оставили его болотной глушью, не построили ни одного промышленного предприятия. А какой лесокомбинат можно здесь развернуть! Поздняков начал бы с мебельной фабрики... Да вот поди ж ты... Эти новые хозяева Европы, которых разбили под Москвой, и сами поговаривают, что раз с ходу не покорили русских, то как бы не пришлось им восвояси драпать назад. А тут еще Англия ввязалась. Непонятно, с какой стати англичане стали помогать красным?.. Разве ж не ясно, что если большевикам дать окрепнуть, то они, чего доброго, по всей Европе наставят своих красных флажков? «А что тогда мне? Куда деваться? Нет, я правильно сделал, что согла-

сился выручить невесту инженера. До поры, до времени придется угождать этим лесным оборванцам».

Поздняков уже убедился, что оборванцами, бродячими немцы называют партизан лишь для разжигания ненависти к ним.

Но Позднякову искренне хотелось их так называть, не лежала к ним душа. А задание их выполнял только из страха за свою жизнь сейчас и в будущем. Ведь если он сумеет вырвать их девушку из рук гестапо, он у большевиков, если они победят, станет героем. Как только начнут немцы отступать, он бросит свое бургомистерство и переживет где-нибудь тихонько, пока фронт откатится. С золотишком и при Советах можно устроиться. Конечно, не тот разворот. Но жить можно... Самое главное, найти надежное место для ценностей, когда немцы станут отступать и как граблями будут все за собою загребать.

Эти размышления Позднякова прервал неожиданный окрик:

— Стой, дядя! Куда путь держишь?

Лес кончился. Совсем недалеко была окраина города. И бургомистр уже перестал было бояться «чужих» партизан, которые могли остановить его в лесу и чего доброго найти и документы, и дорогой браслет, который он нес шефу гестапо, чтобы добиться свидания с Элей. И вот тебе на! Его остановили два совсем незнакомых партизана. Оба с русскими автоматами, на шапках алые ленточки. Сперва Поздняков дрогнул, но потом обернулся на окрик и, добродушно улыбаясь, спросил:

— Что, хлопцы? Дорогу ищете?

— Дороги мы знаем лучше твоего, — ответил ему высокий, в черной кубанке набекрень. — А ты, дядя, откуда и куда?

Поздняков изложил давно придуманную на такой случай версию. Но его, кажется, и не слушали. Не успел он закончить свое объяснение, как тот, что говорил с ним, кивнул усатому напарнику:

— Обыскать!

— Слушаюсь, товарищ командир! — ответил усатый и, перевесив автомат за плечо, начал ощупывать задержанного.

Поздняков стоял ни жив, ни мертв.

Что делать? Когда он прошлый раз шел в город этим же лесом, его провожал Синьков со своими бойцами до

самой опушки. Партизаны тоже боялись, чтобы бургомистр не нарвался на «чужих» партизан. А сегодня Синьков остался в лесу, на половине пути, считая, что «чужих» партизан тут не может быть. И вот они, «чужие»!

Холодные проворные руки обыскивали быстро и, как показалось Позднякову, очень умело. Документы его, зашитые в борт пальто, тут же были найдены. А потом опытные руки нащупали и спрятанный браслет в пушистой шапке-ушанке.

— А-а, важная птица! — зловеще процедил сквозь зубы командир, рассмотрев документы. — Бургомистр!

И он так свирепо глянул в глаза Позднякова, что тому стало холодно.

— Что, какую-нибудь артисточку приютил, а потом ограбил и отдал полиции? — подбоченившись, с издевкой говорил командир. — Где же иначе достал бы такую дорогую вещичку!

— Товарищ командир, чего с ним возиться! Пристрелить его, и только! — направляя на бургомистра автомат, предложил второй.

— Не марай рук! — возразил командир. — Зови ребят, пусть выведут его на дорогу и там повесят на дереве, у всех на виду. Да пусть напишут на дощечке, что так будет со всяким прихвостнем фашистов за то, что грабят и уничтожают советских людей.

— Слушаюсь, товарищ командир!

— Товарищ командир! Това... — взмолился было Поздняков, решивший открыться, кто он на самом деле и куда шел.

— Серый волк тебе товарищ! — грубо оборвал его командир. — Исполняйте, товарищ Савельев!

Тот, кого назвали Савельевым, дулом автомата толкнул бургомистра в плечо:

— Вперед!

И вдруг Поздняков, повернувшись к лесу, приставил ладони ко рту и закричал во весь голос:

— Синьков! Товарищ Синьков! Убивают!

— Рехнулся со страху! Веди! — махнул командир партизану.

— Товарищ командир! Товарищ командир! Не рехнулся я! Нет! Нет! — упав на колени, завопил Поздняков.— Только выслушайте. Я связной. Я шел по особому заданию партизан. У них командиром товарищ Синьков. Вот

только жаль, если не услышит. Они километрах в двух отсюда. Пошлите к ним своего партизана, они все подтвердят...

Командир недоверчиво, но все же слушал. И Поздняков рассказал все о своей связи с партизанами. Об Эле он сказал так, как приказал Синьков: она невеста захваченного немецкого инженера, немец изъявил согласие дать показания об известных ему военных объектах лишь при условии, что партизаны вернут его невесту. Потому-то партизаны любой ценой решили выручить девушку, и вот он, бургомистр Поздняков, уже второй раз шел в город по их заданию...

Выслушав исповедь бургомистра, «командир» приказал увести его и ушел к группе таких же, как и сам «партизан», стоявших в заснеженном ельнике. Там он продиктовал радисту свое донесение в гестапо. Через некоторое время он получил указание вернуться с бургомистром в город.

Шеф гестапо решил, что надо устроить засаду на том месте, где бургомистр по возвращении из города обязан был дать отчет пославшим его партизанам.

Так и сделали. Возвратившись в местечко, Поздняков, как только стемнело, пошел на встречу с партизанами. За ним следовали одетые в маскхалаты автоматчики. Но там, где условились с Синьковым о встрече, партизан не оказалось. Немцы облавой прошли всю околицу. И, решив, что бургомистр их обманул, вернулись в местечко.

Дом, в котором жил Поздняков, перерыли и забрали все, что представляло хоть какую-нибудь ценность. Да и его самого увезли...

Операция с ряжеными полицаями так понравилась Фельзингу, что он тут же создал несколько отрядов лжепартизан и послал в самые подозрительные деревни.

XXIX

Сегодня Андрею Гаку повезло. Хозяйка ушла к матери, жившей на другом конце города, и он тут же включил радиоприемник, стоявший в прихожей, поймал Москву.

В последних известиях самым важным было то, что возле Старой Руссы попала в окружение вся шестнадцатая немецкая армия. Красная Армия с каждым днем сжимает кольцо и уничтожает фашистов.

Андрей этому обрадовался и в то же время расстроился, что сам-то еще ничего не сделал для победы. Продолжать работу над портретом немки с сыном он не мог. Все это казалось ему никчемным. И когда Леончик приехал на обед и привез капитана Сердюка, Андрей даже обрадовался.

— Богомаз, как много времени нужно тебе для окончания заказа господина капитана? — спросил Леончик и, будто не сам приказывал «тянуть резину», стал упрекать его в медлительности. — Может, в перерывах между работой над заказом господина штурмбанфюрера, — явно для Сердюка называя шефа гестапо полным титулом, продолжал хозяин, — закончишь и эту работу? Я через пять минут вернусь, ты тут покумекай и потом скажешь мне.

Гак уже знал, сколько длились эти пять минут. Сейчас хозяин выпьет, пообедает, потом поспит полчаса и только после этого снова уедет на работу, чтобы вернуться лишь на рассвете.

Андрей поставил на мольберт заказ Сердюка. Взял в руки хорошо исполненную фотокарточку матери капитана, изменившего Родине, и стал сравнивать с картиной. Думал он в это время о своей родной матери, мысленно говорил с ней: «Не бойся, мама! За меня тебе не придется краснеть. Я никогда не встану на путь этого выродка. Никогда...»

Но вслух сказал:

— У вас хоть фотокарточка матери осталась, а у меня ничего, абсолютно ничего! Вот обещает хозяин отпустить на развалины Киева. Но что я там найду, не знаю.

Как только Андрей заговорил о матери, капитан встал и крупными шагами начал ходить по комнате. Восемь шагов туда, восемь обратно. Андрей умолк, а тот все ходил и ходил.

— И все же у вас положение лучше моего, — вдруг сказал капитан, сел рядом, взял фотокарточку в руки, бережно положил на большую ладонь своей отнюдь не рабочей руки и стал смотреть на нее так, словно видел впервые. — У вас нету ее — и все. Тут уж ничего не попишешь! А у меня жива. Всю жизнь будет ждать. А не увидимся. Никогда. Никогда! — он почти закричал и в тревоге глянул на дверь.

— За дверью ничего не слышно, я для тепла обил ее войлоком, — поняв его беспокойство, сказал Андрей.

— Даже письма не смогу написать, чтоб не скомпрометировать ее и братьев!

— Да почему же? — наигранно удивился Андрей. — Наоборот, вы явитесь перед нею героем, победителем, а братьям придется прятаться по норам, если они служат там. И теперь это будет скоро, коли уж Москва пала.

— Идиот! — вскочил капитан. — Ты что, со своего чердака носа не высовываешь на свет божий? — И он тихо, чтоб все же не услышали за дверью, со злобой сказал: — Пала Москва! Ха! Наполеон был не чета этому... — он не договорил, зыркнул на дверь.—А чем кончил?..—И опять вернулся к фотографии. — Она у меня учительница. Добрая, но и строгая. Вот и здесь, видишь, с каким упреком смотрит на меня. Скажи, художник, а ты не сможешь сделать так, чтоб меньше было этого упрека в ее глазах?

— Зачем это вам? — вырвалось у Андрея, и он тут же пожалел о сказанном, ведь и так все ясно: совесть мучила предателя.

— Я повешу портрет над койкой в казарме. И она всегда будет вот так, с укором, смотреть на меня? Нет! Я не выдержу. Постарайся, чтоб взгляд ее был помягче. Ну, такой, будто ждет она меня.

— Постараюсь. — А немного подумав, добавил: — Но
Качнул головой художник и пробурчал:
как бы не нарушить сходства. Ведь я не видел ее глаз улыбающимися, добрыми. Не знаю, какими они бывают, когда она в хорошем настроении.

— Постарайся, художник,— хлопнув себя по коленям и встав, попросил капитан. — С хозяином я уже расплатился. Но и тебе... Вот возьми, — и он протянул пачку рейхсмарок.

— Нет, нет! — отшатнулся Андрей. — Вся плата идет только хозяину!

Капитан посмотрел на него презрительно, скривив тонкие бледные губы.

— С помощью твоей кисти Леончик не только богатеет, но и карьеру себе делает! — И, спохватившись, что сказал лишку, весело закончил: — Впрочем, на войне у каждого своя судьба. Одни наживаются, другие проживаются. Ну, так ты ускоришь это дело? — Дружески подмигнув, он тихо добавил: — Ты хозяину всего не рассказывай, поболтали мы с тобой, душу отвели, а ему этого не нужно знать.

— Да чего мне с ним откровенничать! — сказал Андрей, а подумал о том, что нытье капитана, пожалуй, не менее опасно поцелуя переводчицы шефа гестапо.

Попробуй узнай, он действительно раскаивается, сожалеет о своем предательстве или выпытывает.

— Если у вас есть еще время, посидите, я дорисую глаза, — сказал Андрей капитану.

Тот охотно уселся в старое соломенное кресло, стоявшее у окна за спиной художника.

Капитан Сердюк был прав — мать на картине Андрея Гака смотрела с еще большим гневом, чем на фотографии. И получилось это потому, что, работая над портретом, художник не мог освободиться от мысли, что картина будет висеть в комнате изменника Родины. Мать будет все время смотреть на своего сына, переметнувшегося в стан врага. И естественно, что на ее лице художник изобразил выражение не только гнева, но даже презрения. Лишь в складках губ сквозь горькую обиду чуть пробивалось материнское горе.

Андрей был расстроен: чего доброго, капитан наговорит хозяину, что художник сделал это умышленно и получился не просто портрет матери Сердюка, а картина, изображающая советскую мать вообще, мать, гневно обличающую изменников Родины.

— Она смотрит на меня с презрением, — выдавил из себя капитан, долго и молча смотревший на портрет матери, на котором художник делал последние исправления.

— Да мне что, — Андрей хладнокровно развел руками. — Я могу изобразить ее улыбающейся. — Я богомаз!..

— Нет уж... — тяжело вздохнул капитан. — Чему тут улыбаться?..

Он встал, прошелся по мастерской, не отрывая глаз от картины.

— Слушай, художник, мне нельзя будет повесить этот портрет в комнате! — воскликнул он в отчаянии. И, кося глаза, снова прошелся мимо картины. — Куда ни пойду, она смотрит на меня, и, чем дальше от картины ухожу, тем взгляд ее более гневен.

Андрей промолчал, в душе радуясь такому воздействию картины.

— Гитлеровский «Тайфун» провалился! — почти закричал капитан.

Андрей не знал, что такое «Тайфун», и спросил об этом.

— Так называли гитлеровские вояки операцию по взятию Москвы. От тайфуна осталась жиденькая поземка, да и то она теперь метет в задницу немцам, потому что драпают от Москвы в обратную сторону. Скоро передовые части будут свой чай пить из этих вот болот...

— Да ну, выдумываете! — отвернулся Андрей, дрожащей рукой подбирая краску.

Пока капитан рассказывал о «Тайфуне», об эшелонах раненых немцев, возвращающихся домой, о цинковых гробах генералов, Андрей дорисовал глаза матери. Холодный блеск ее гневных очей он заменил теплой искринкой, где-то что-то снял, что-то добавил. Выражение лица сразу изменилось.

— Хотите, пририсую ей распростертые руки — и получится «Мать зовет сына»? — лукаво предложил Андрей.

Капитан остановился возле портрета. Долго смотрел молча. Потом облегченно сказал:

— Теперь то, что надо.

И рассказал, каким он был в детстве упрямым. Все делал наоборот. Если мать за что-нибудь осуждала, он обязательно делал ей наперекор. Но стоило похвалить, в лепешку разбивался.

— Ну, сейчас хвалить нас матерям не за что, это я понимаю... — тяжело вздохнув, сказал капитан и вдруг спросил с какой-то глухой болью в голосе: — А как ты думаешь, художник, простила бы мне мать, если бы я вот так все бросил и вернулся?..

Андрей пожал плечами:

— Откуда мне знать!

— Но ты же психолог.

Гак повернулся к капитану и, глядя в упор, вместо ответа спросил:

— Какая мать станет мстить сыну, да еще когда он в беде?

И оба умолкли, чувствуя, что разговор вышел за пределы того, о чем можно было говорить в это ненадежное время...

Андрей дорисовывал портрет. Капитан ходил из угла в угол и курил, курил.

Когда картина была готова, художник сказал, что через два дня она высохнет и ее можно будет забрать.

— Ты мне прочистил мозги. Спасибо! Всю жизнь буду помнить...

«Зайдет в гестапо и все расскажет», — подумал Андрей. Но чтобы не давать страху овладеть собой, заговорил о другом:

— Вы любите подледную рыбалку?

— Очень! — как-то вдруг проснув, ответил тот, — но в этом году еще не пробовал...

— В воскресенье утром приходите на протоку к развалинам замка. Я нарисую вас с удочкой.

Капитан в знак согласия приложил руку к козырьку и ушел.

Андрей посмотрел на часы, висевшие над дверью. Было два. В четыре он будет в бане, встретится с кассиршей и все расскажет о Сердюке, о котором она уже кое-что от него слышала. Пусть сообщит капитану Орлову о свидании на рыбалке. Может, тот кого пришлет для беседы с Сердюком.

Вскоре после ухода капитана в мастерскую поднялся Леончик, как всегда, после дневного сна веселый, верткий и говорливый.

— Ну что, богомаз?

Андрей промолчал. Это было обычное обращение хозяина. Он только при немцах относился к нему с подчеркнутым уважением — набивал цену своему ателье.

— Смотри, чтобы заказ шефа сделал вовремя и на «отлично». От этого зависит все наше будущее — и твое, и мое. — Он по привычке погрозил пальцем. — Если ты это сделаешь, шеф закажет такой портрет... Ого! Тогда мы с тобой высоко взлетим. Вот уж тогда-то, не дожидаясь весны, я тебе сразу куплю билет в Киев. Понял?

— Угу.

За это «угу» хозяин осудительно покачал головой. Ему казалось, что художник настолько тупоумен, что не понимает, о чем с ним говорят.

— Ну, а как с капитаном?

— Портрет готов. Сохнет.

— Там он опять кое-что принес, Верочка тебя угостит. Да не забывай, сразу говори мне, если кто приходил в дом, особенно к Вере. Понял? — И он опять предупредительно помахал пальцем.

Андрей только кивнул в знак того, что все понял.

— После заката солнца ни на какие звонки, ни на какие стуки дверь не открывать. К двери подходи только сам. Веру не подпускай. Она может открыть, и не тому, кто нужен в моем доме...

Леончик не договаривал, но Андрей понимал, какого посетителя боится муж молодой, насильно захваченной красавицы. Андрей уже знал, что Вера попала сюда из лагеря для девушек, увозимых в Германию.

— Мне теперь каждый день придется ездить на Стрельню и возвращаться по ночам.

— Перешли на другую работу?

— Да нет. На другую с этой работы не переходят, — убитым голосом сказал Леончик. — Шеф там обосновался давно. А теперь и наш отдел переселяет поближе. У него работы прибавилось, когда прошляпили зимнюю кампанию. У них там на фронте не ладится, а мы тут отдувайся, — сетовал Леончик, подпираемый душевной необходимостью с кем-то поделиться своими переживаниями.

Андрей обрадовался: «Выходит, что начальник областного абвера находится не здесь, а на Стрельне! Надо и об этом сказать сегодня связной».

— Значит, война затянется? — как можно угрюмее спросил Андрей. — К весне что же, Урал не возьмут?

— Ну и стратег ты у меня! — снисходительно улыбнулся хозяин. — Впрочем, это и хорошо. Ну ладно, малюй. Малюй! — Стоя на пороге, хозяин хитро щурился и тихо, словно боялся, что его подслушают, говорил: — А переводчицу бойся больше, чем шефа. Она умеет залезть в душу и выпотрошить не хуже самого заядлого гестаповца.

Андрей внутренне вздрогнул, вспомнив ее похотливый поцелуй. Но внешне спокойно спросил, сколько же ей платят, что так старается.

— Ты думаешь, все на свете делается за плату? — глянув на своего работника свысока, сказал хозяин. — Она мстит Советам за то, что разорили отца, когда пришли в тридцать девятом. Отец ее владел самыми крупными магазинами во Львове и Бресте. В общем, мое дело предупредить тебя. Она знаешь какая!.. Приласкает — и забудешь самого себя.

«Нет уж, я на ее ласки не польщусь!» — подумал Андрей вслед уходящему Леончику.

Подбирая краски, он с тоской вспоминал о девушке, оставшейся на берегу Иртыша, о которой мечтал дни и

ночи, не зная, где она теперь, чем занята, но уверенный, что его Марина также думает о нем...

Игорь Синьков с группой партизан вернулся в отряд мрачный, усталый. Правая рука была перевязана. Автомат висел на левом плече.

Проклиная себя за то, что не сумел выручить Элю, Синьков рассказал командиру о провале Позднякова, который должен был второй раз встретиться с Элей.

Но Сарбаев, выслушав его, не стал корить. Он считал, что Игорь сделал даже больше, чем было возможно.

— Хорошо еще, что всей группой не попались в немецкую ловушку. Как вам удалось выскользнуть?

— Мы просто не пошли на то место, где назначили встречу с Поздняковым, — ответил Синьков.

— Что, интуиция?

— Нет, осторожность, — уточнил Синьков и рассказал, что, проводив Позднякова в город, он сразу же решил встретиться с ним не там, где назначил свидание.

И не ошибся. Бургомистр пришел в условное место не один, и значительно позже. Так как немцев с ним было более взвода, партизаны их пропустили без выстрела. А когда те достигли места встречи, Синьков со своей храброй четверкой перешел к дороге, по которой гестаповцы должны возвращаться из местечка.

— Разреши мне с двумя переодетыми бойцами пробраться в город? — попросился Синьков. — Может, что-то узнаем. Если Эля действительно в гостинице...

— Даже если и была там, то теперь она — в гестапо! Раз бургомистра взяли, он ее провалит, — сказал Джума. — Нет, Игорь, оставайся со мной. Трудно мне будет одному. Андрея нет. Эли... тоже. Будь рядом. Назначим тебя комиссаром отряда. Грушовицкий говорил, что уже в каждом отряде бригады есть комиссар.

— Да какой же из меня комиссар! — искренне возразил Синьков. — Такую операцию провалил...

— Не ты ее провалил, Игорь. Это обстоятельства, не зависящие от нас, ее сорвали. А то, что сумел такого рьяного немецкого служаку превратить в нашего пособника, — это очень большое дело. Не отказывайся. Мы ведь с рождения отряда вместе, пойдем вместе и дальше. В го-

род капитан Орлов пошлет своих. Он теперь начальник разведки, ему и карты в руки.

— Не представляю себя комиссаром. Не умею речи произносить.

— Что верно, то верно! Длинных речей от тебя не слыхивал. Но в бою ты всегда был первым и всех увлекал за собой. А это важнее, чем уметь складно говорить.

Синьков долго молчал, словно обдумывая услышанное от Сарбаева, а потом тихо сказал:

— А насчет того, что бургомистр выдаст Элю, не бойся, командир. Машину, в которой немцы его увозили, мы забросали гранатами. Никого там не осталось.

Сарбаев крепко пожал руку боевого товарища.

— Если так, тогда попросим командира разведки узнать что-нибудь об Эле. А ты занимайся своим делом, товарищ комиссар.

Уже совсем завечерело, мела тихая поземка, а Демьян Терентьевич ремонтировал калитку. Он все что-нибудь делал, с рассвета до полуночи трудился в своем неказистом хозяйстве, хотя считал его никому уже не нужным — рано или поздно фашисты все спалят. Ни днем ни ночью не находил себе покоя, все думал о Кастусе, с которым виделся только один раз после того, как тот ушел к партизанам.

Судя по всему, партизаны набирали силу, становились армией, уверенно действовавшей в тылу захватчиков, вторым фронтом, с которым немцы не могли совладать. Так что Кастусь в более надежном положении, чем хлопцы, оставшиеся в деревне. За этими скоро приедут немцы и увезут в Германию. В соседнем районе уже всех хлопцев и девчат от шестнадцати до тридцати лет забрали. Вот только бы кто не дознался, что Кастусь там. Да ведь шило в мешке не утаишь...

Демьян Терентьевич запер калитку и хотел было уже уходить — пора было печку затапливать, да увидел двух парней, как-то воровато идущих по другой стороне улицы. Он заметил, еще когда начало смеркаться, что парни и девчата по двое, по трое шли на конец деревни. Видно, на вечеринку собираются. И хотя всякие вечорки были строго запрещены немцами, махнул рукой: пусть отведут душу, — может, это их последняя вечеринка. Но все же

решил предупредить, чтобы вели себя тихо, и окликнул этих двух парней. Те подошли как-то виновато и боязливо. Один из них доводился Демьяну Терентьевичу племянником по линии жены, он подошел к калитке, а второй парень остался на середине улицы.

— Игнась, ты там скажи хлопцам, чтоб потихоньку, — заговорил Демьян Терентьевич с парнем. — Сами ж знаете, что вечорки запрещены. На дворе чтоб не шумели, да и в хате потише, а то дознается какая сволота, повесят меня те супостаты.

Игнась воровато огляделся и тихо, так что слышал только Демьян Терентьевич, проговорил:

— Мы не на вечорку. Там в партизаны записывают. Только я вам ничего не говорил... — И парень ушел.

Старик так и обомлел. Что же это такое, не провокация ли? Не слыхал он такого, чтобы где-то так вот пришли партизаны и начали записывать к себе всех, кто хочет. А там кто его знает... Может, настала такая пора. Вот же на последнем совещании деревенских старост шеф полиции так и сказал: «Все вы партизаны, расстреливать всех подряд, но немецкое командование пока что дает вам время одуматься!» Надо все же пойти посмотреть, что оно там...

И, бросив свои инструменты в сени, староста пошел следом за хлопцами.

Во дворе старой вдовы Саветы было людно, но тихо, как никогда не бывает на вечеринках. Когда Демьян Терентьевич входил в дом, все, кто были во дворе, боязливо прижались к сарайчику, чтобы быть незаметными. Да старик и так никого в лицо не смог бы разглядеть — ночь была темная, мела поземка.

В доме, куда вошел Демьян Терентьевич, светила висевшая под потолком большая керосиновая лампа. За столом чинно сидели семь одетых в гражданское и вооруженных автоматами мужчин. На всех шапки с одинаковыми широкими алыми лентами. Перед столом, как в военкомате, стояли два парня, видимо ожидали записи.

«С виду и правда партизаны. Только что-то очень праздничные, — подумал старик. — Ну, да раз мобилизация...»

У порога, сняв свою старую, неприметную шапчонку, Демьян Терентьевич учтиво поздоровался.

Никто ему не ответил. Один из гостей, в рыжей лохматой кубанке с алой лентой поперек, склонившись над столом, записывал то, что ему говорил доброволец. Он кивнул вошедшему:

— Садитесь. Кто будете?

Левой рукой поддерживая под мышкой шапку, правой приглаживая остатки седых волос на затылке, Демьян Терентьевич сказал, что он староста и пришел узнать, может, что надо от него партизанам.

Писака рывком поднял голову, откинул свою огромную кубанку на затылок и, скривив большие, мясистые губы, так что уголки рта поехали вниз, процедил многозначительно:

— А-а-а, фашистский служака! Власть фюрера на селе!

В глазах у Демьяна Терентьевича зарябило. Он чуть не упал и, пятясь к порогу, сел на скамью у окна. Он узнал в этом ряженом «партизане» служащего из областного управления полиции. Хотел было выскочить за дверь и закричать, всем сообщить об этом. Но сердце его схватило в тиски, и он не в силах был ни подняться, ни заговорить. Это случилось с ним второй раз в жизни.

Первый раз подвело его сердце, когда собиравшие налог немцы приказали ему самому пойти к солдатке, у которой было четверо детей, и привести ее корову. Демьян Терентьевич тогда встал с явным намерением пойти и предупредить женщину, чтобы угнала свою буренку в лес и со всей семьей побыла там, пока эти грабители уедут. Но сердце ему изменило. Точно так же вот зажало его в тиски, и он не смог сойти с места. Немцы послали полицая, и корову забрали. Но то была только корова. А тут жизнь всей молодежи села!

Демьян Терентьевич слышал, что кое-где немцы таким способом проверяли молодежь, а потом всех, кто записался в партизаны, расстреливали. Это они считали верным способом пресечения роста партизанских отрядов. Значит, этот способ применили и здесь.

Так думал растерявшийся староста.

А тем временем «партизанский командир» приказал ему подойти к столу. Но видимо, понял, что старик не в силах, заорал:

— Что, старый черт, в штаны напустил? Значит, не одного продал из наших, советских людей?

«Такой гад советских людей называет своими!» — чувствуя, что уже может подняться, подумал Демьян Терентьевич.

— Уведите его! — приказал главарь, и тотчас двое с автоматами выскочили из-за стола и подхватили старосту под руки. — Да без шума там прикончите его, чтоб не полошить честных граждан!

— Хлопцы! То не партизаны! — закричал в открытую дверь Демьян Терентьевич, обращаясь к молодежи, ждавшей во дворе записи. — То переодетая полиция!

Старший выскочил из-за стола и с порога выстрелил вслед старику.

— Немецкий холуй! Он еще позорит красных партизан!

По белой пряди волос возле уха Демьяна Терентьевича быстро растекалась кровь, освещенная светом из комнаты.

— Игнась! — уже падая, слабым голосом взмолился Демьян Терентьевич. — То полицейские, тикайте! Разбегай...

Автоматной очередью ряженый полицай оборвал последнее слово бывшего старосты, народного заступника Демьяна Терентьевича Бортника.

Разбив лампу, из комнаты выскочили парни, ожидавшие своей очереди. А во дворе поднялась стрельба, крики раненых. Кто в кого стрелял, нельзя было разобрать: у многих парней, пришедших записываться в партизаны, было оружие. Главаря переодетых полицаев убили сразу же, когда тот второй раз выстрелил в умирающего старика.

Тут уже всем стало ясно, что староста был прав. Однако засевшие в доме автоматчики открыли из окон стрельбу. Все оставшиеся в живых добровольцы разбежались. И ряженные под партизан полицейские могли уйти. Но кто-то из парней по крыше пробрался к дымоходу и бросил в трубу гранату. После взрыва сразу прекратилась автоматная стрельба из окон дома.

Вскоре дом загорелся, освещая улицу, по которой забегали люди, уносившие раненых и убитых.

Среди убитых полицаев не досчитались одного из тех, кто выводил старосту на расстрел, — сумел бежать в суматохе. Значит, кары не миновать.

Наскоро похоронив убитых парней и девушек, жители села собрали весь свой скарб и к утру выехали в лес,

зная, что до конца войны возвращаться в родное селение не придется.

Обоз сопровождал вооруженный чем попало отряд, организованный из тех, кто так желал записаться в партизаны.

XXX

Лейтенант Раздольский, да и большинство его бойцов, сначала считал, что их партизанский отряд должен все время находиться в рейде и расти по принципу снежного кома, непрестанно пополняясь добровольцами.

Но вскоре они сами убедились, что такой рейдирующей может быть только очень крупная боевая единица, способная не только на диверсии, но и на ведение серьезного, длительного боя. Решили проситься в бригаду, которая их освободила из немецкого плена.

Стародуб и Чугуев пошли в отряд, чтобы познакомиться с его людьми, вооружением, боевыми делами.

После этой встречи был издан приказ — отряд Раздольского присоединялся к партизанской бригаде «За Родину!» с присвоением ему имени Щорса. В этот же день были утверждены комиссары отрядов. Комиссаром первого отряда, как и хотел Сарбаев, стал Игорь Синьков. В каждом отряде утверждены были командиры диверсионных групп, разведки и хозяйственных подразделений.

Бригада росла. Жизнь ее усложнялась. Полковнику Стародубу и его боевым соратникам, совершенно не знавшим до того методов партизанской борьбы, приходилось до всего доходить самим, а в трудных случаях обращаться за советом в штаб или подпольный обком партии.

Конец февраля выдался морозным, а спасительных метелей, заносивших следы партизан, не было. Штаб бригады решил воспользоваться вынужденным ограничением вылазок и организовал курсы подрывников для всех бойцов.

Зот Курчумов стал инструктором и заместителем командира бригады по диверсионной работе.

В бригаде было теперь много местных парней, не служивших в армии. Их обучали военному делу.

На железную дорогу в это время ходили только группы подрывников, у которых была своя база снабжения взрывчаткой и продовольствием, организованная комиссаром бригады Грушовицким на хуторах.

Видимо, художник глубоко проник в душу кающегося изменника родины — капитан Сердюк пришел на рыбалку один, без подвоха, встретился с капитаном Орловым, заявившимся тоже с пешней и прочими приспособлениями для подледной рыбалки. Андрей побродил по льду, немного посидел возле одного и другого рыболова. А когда два самых главных для него «рыболова» стали удить из одной лунки, ушел домой...

Через несколько дней после этой рыбалки Сердюк передал Орлову картотеку на некоторых выпускников своей школы. В ближайшее время он надеялся достать еще. А в будущем обещал сообщить о каждом выпускнике, куда тот будет направлен, чтобы партизаны сразу могли их обезвреживать.

Смущало капитана Сердюка только то, что никто из выпускников его школы не пойдет, очевидно, в партизанские отряды, действующие в области. Они примелькались в этом городе, где могут быть и партизанские агенты.

— Вся школа пойдет на север, в район Гродно или Барановичей. А к вам пришлют, видимо, оттуда,— высказал он свое предположение.

— Ценность вашей услуги партизанам от этого не уменьшается, — успокоил его Орлов, убежденный, что добытая им картотека через несколько дней уже будет в штабе партизанского движения, а оттуда пойдет в отряды.

Леончик вбежал взмыленный, но радостный. Вынув из бумажника фотокарточку, он торжественно подал ее Андрею.

— Вот! Достал! — сказал он так, будто одержал огромную победу.

На фотокарточке было изображено лицо довольно пожилого уголовника-рецидивиста, чем-то похожего на Гитлера, с такими же стеклянно-бесчувственными, отсутствующими глазами, только без усов.

— Это мой шеф! — пояснил Леончик.

— Областной абвер? — с трудом скрывая ужас, уточнил Андрей. И, напуская на себя безразличие, спросил:— Его что, так в гражданском и малевать?

— А ты можешь надеть на него форму оберста?

— Жену шефа гестапо я переодел в меха — и как он доволен!

— Если и этому угодишь так же, как Фельзингу, я схлопочу тебе собственную мастерскую!

— Это, наверное, очень трудно, — нарочито нахмурившись, усомнился Андрей.

— Ха! — Леончик, как мальчишку, щелкнул художника по носу. — Мне трудно!

— Тогда постараюсь.

— Срок три дня!

— Почему так мало? — притворно возмутился Андрей, считая, что ему хватило бы и полдня.— Хотя бы пять.

— Нету пяти! — ответил Леончик. — В следующее воскресенье вся знать гебита[1] будет чествовать моего шефа. Видимо, это будет там, на Стрельне, в новом ресторане. Картина должна высохнуть, чтоб можно было везти.

«В ресторане! На Стрельне!» — словно кричал кто-то во весь голос внутри Андрея, переполняя его радостным нетерпением.

Скорее бежать к связной! Это удастся только завтра. Да пока она сообщит в бригаду, пройдет еще два-три дня, лихорадочно подсчитывал Андрей. Нет, не успеют подготовиться.

— Только смотри у меня! За этой работой будет следить сам шеф гестапо. Они школьные друзья с шефом абвера. Ты меня слышишь? — перехватив блуждающий взгляд художника, повысил голос Леончик.

— Да мне что, были бы краски да полотно, — как можно равнодушнее ответил Андрей.

Всю ночь мучился Андрей, ничего не знавший о Ревазе и той большой диверсии, которая готовилась в ресторане против других, менее важных гостей...

Реваз удивился необычайной доброте хозяина, который почему-то вдруг позвал его обедать. Вообще-то истопник питался вместе с рабочими ресторана, где кормили очень скудно.

«Не разнюхал ли чего попик о взрывчатке да хочет избавиться от нее без шума?» — насторожился Реваз. Он старательно умылся, мочалкой долго тер свою руку, чтоб не было видно угольной пыли, пригладил волосы и пошел

---

[1] Гебит — область *(нем.)*.

к столу хозяина. По запахам понял, что обед будет обильным и сытным.

«Может, праздник какой? — подумал он. — Иначе с чего бы так раздобрился попик».

Хозяин налил по стопке из прозрачной бутылки безо всякой этикетки, наверное самогон, и, придвинув к работнику тарелку с закуской, сказал:

— Выпьем для успокоения сердца и поднятия духа нашего перед великими испытаниями господними.

Выпил и, не закусывая, однако усиленно угощая работника, сообщил о намерении немецкого начальства устроить в ресторане банкет.

Угрюмый истопник никак не прореагировал на это сообщение. Ему все равно шуровать в топке, что бы там наверху ни творилось — банкет, гулянка или просто пьянка! Так он об этом и сказал, когда хозяин спросил, что он думает по этому поводу.

— Да и я бы не ломал голову, если бы время не такое беспокойное! — почесал в затылке Илья Данилыч. — С меня взяли подписку, что в здании будет орднунг, порядок значит. Ох, этот их орднунг! — И он выхлестнул еще рюмку. — Давай мы с тобой, браток, попристальней присмотрим за этим сатанинским пристанищем, побережем его от всякого лиха.

«Ах, вот зачем ты меня подкармливаешь!» — подумал Реваз.

— Перед самым банкетом немцы, конечно, все перепроверят. Но представляешь, что будет, коли найдут какую-нибудь завалящую листовку...

«Какой дурень станет подбрасывать листовки, раз теперь тут бывают только немцы!» — подумал Реваз, понимая, что хозяин боится, конечно, не листовок.

— Ведь на работу пришлось набирать людей с улицы, — продолжал хозяин. — Это вот тебя сам бог послал, человека, непорочного душой. А повариха Зинка лютой ненавистью пышет — муженек ее командиром служит, там, — он кивнул на восток. — Эта злодейка, того и гляди, отраву какую подсунет самому шефу. Но где взять другую такую искусную стряпуху?! Вот я и прошу тебя, браток, давай-ка мы с тобой присмотрим за людьми, поузнаем, кто чем дышит.

Хорошо, что во время этой речи хозяина Реваз, словно чувствуя, чем она закончится, все ниже клонил голову,

и теперь не видно было, какая дикая решимость сверкнула в его черных, всегда суровых глазах. Зубы его уже сцепились, чтобы с ненавистью бросить попику в его лоснящееся от пота лицо: «Доносчиком никогда не буду!» — но, помня, зачем он здесь, Реваз кротко и даже как-то виновато ответил, что он всегда чумазый, поэтому больше отсиживается в подвале, возле своих котлов, так что и говорить ни с кем не приходится.

— Я прибавлю тебе плату, поработай временно еще и на кухне. Будешь воду качать. Водопровод теперь, пожалуй, скоро не пустят. Разбомбить станцию наши освободители — прости меня господи! — сумели, а строить что-то не собираются. Да и электрический насос теперь даже за соль не достанешь. Трудно тебе одной рукой, но это же ненадолго, пока пройдет их празднество.

Реваз кивнул в знак согласия, но спросил, когда же все-таки будет та вечеринка.

Воспользовавшись уходом хозяйки на кухню, Илья Данилыч под строжайшим секретом назвал день банкета.

— Ну, если так недолго, то можно поработать. А только сумею ли я подслушивать?

— А ты к Зинке подкатись поласковей, баба она, видать, греховодная... Все от нее и узнаешь. — Он предложил по стопке перед супом.

Но Реваз пить не стал. Он и от еды с удовольствием отказался бы, несмотря на то что суп очень уж аппетитно дымился. Бросил бы все и опрометью бежал бы на станцию, к Соне. Сообщение священника все в нем перевернуло.

Скорей бы закончился этот злополучный обед!

А хозяин расщедрился и все подливал да подливал.

Пообещав сегодня же начать работу на кухне и быть верпым щитом хозяина, Реваз сразу же после обеда убежал в котельную. В подвале, ввинтив две самые яркие лампочки, он тщательно изучил все подходы к своему бесценному кладу. И, только убедившись, что здесь все в порядке, ушел на станцию, к Соне.

Узнав о предстоящем банкете фашистов, Соня сказала Ревазу, что это, наверное, и есть тот самый момент, которого они так долго ждали. Его она попросила вести себя по-прежнему — усердно работать и молчать.

В полдень Степка Горох привез еще одну машину угля, а в двух черных мешках — тол. Реваз тут же переб-

росил уголь в подвал под рестораном и долго возился там, укладывая тол в яму, которую потом завалил углем.

За усердие хозяин опять накормил истопника сытным обедом и поднес рюмку.

На следующее утро Соня сама нашла Реваза и проинструктировала, как себя вести.

— Если немцы вдруг обнаружат взрывчатку, все вали на шофера, — сказала она.

— А его потом вместе с детишками... — начал Реваз.

— Он уже в лесу со всей семьей, — успокоила Соня. — Степка вывез из города огромный грузовик с продуктами.

— Вот тебе и Степка Горох! — только и сказал Реваз, чувствуя себя более одиноким, чем вчера, хотя со Степаном он и виделся всего два раза.

Анупрей Цьвох с метлой в руках бродил по двору, а у самого ноги подкашивались. В его доме вторые сутки сидят тридцать полицейских. Один пулемет установили на чердаке, а другой в березнячке на пригорке за сараем.

Привел их сюда высокий длиннолицый партизан, который приходил когда-то с Джумой Сарбаевым. Анупрей хорошо запомнил его тогда — такого плосколицего, узкогрудого человека он видел впервые.

Войдя в дом, полицаи связали партизана, бросили в темный чулан и заперли.

— Он нам еще пригодится, когда нужно будет опознать партизанского командира, — сказал комендант полиции.

Продуктов полицейские принесли на целую неделю. Боеприпасов тоже вдоволь. Видно, решили ждать, пока не появятся партизаны. Анупрею приказали слоняться по двору, что-нибудь делать по хозяйству. Но со двора ни шагу. Один полицай сидел в коридоре и следил за ним, не выпуская из рук автомата.

Однако Анупрей вскоре заметил, что сами полицейские боялись партизан. Для храбрости они пили самогон и все время спорили, кому где встречать партизан. Из этих споров Анупрей мало-помалу понял, почему они пришли именно на его хутор.

После того как партизаны выкрали инженера, немцы прямо поставили вопрос перед комендантами полиции

трех смежных районов: или голову командира партизанского отряда, действующего в этих местах, или три головы комендантских. В округе уже не один комендант потерял свою голову после подобных ультиматумов, поэтому полицейские решительно взялись за дело. А тут им еще повезло. В одной захолустной деревушке поймали партизана, который под видом беженца скрывался у молодой вдовушки. Сначала этот партизан притворялся больным, пришедшим в тепло для излечения, а потом признался, что он привел сюда детей, встреченных партизанами в лесу.

На прямое предательство Василий Вологодец (а это был он, хотя и назвался Семеном) все же не решился. Поэтому на допросе твердил, что его отряд постоянного места жительства не имеет, а детей нашли заблудившимися в лесу, на пути от одного села к другому.

К счастью, дети, приведенные Вологодцем в деревню, оказались более сильными духом — они убежали в лес, как только завидели на улице полицию. За ними последовал и один из хозяев, довольно пожилой мужик, который не мог допустить, чтобы дети ушли одни, на явную гибель.

Сначала полицаи только расспрашивали пойманного партизана, а потом начали бить. Чтобы избавиться от мучительных пыток, Вологодец решил показать им хутор Анупрея Цьвоха, возможное пристанище партизан.

В душе Василий всячески себя оправдывал. Ведь он не повел врагов прямо в партизансий лагерь. А к Анупрею партизаны теперь не придут, незачем. Ну, а сам он постарается убежать при первой же возможности.

Впрочем, никогда в жизни ни один предатель не считал себя подлецом. Он всегда находит оправдание своим поступкам, какими бы низкими они ни были.

Сначала Анупрей жалел избитого, задыхающегося в тесном чулане парня, а когда узнал о его предательстве, плюнул и занялся своими делами.

Вот уже второй месяц, как хутор Анупрея Цьвоха стал базой отдыха диверсионных групп бригады «За Родину!». Сюда партизаны сложными путями возвращаются после подрыва поездов. Отсюда уходят на задания, на пути получая от связных взрывчатку и продовольствие.

К этой уловке приходилось прибегать, чтобы по снегу не привести немцев в расположение всего партизанского отряда. Если же к минерам после диверсии привяжется карательный отряд, то партизаны поведут его такими лесными тропами, где всегда дежурят дозорные. Тут же в штабе бригады будут знать о прорвавшихся в партизанскую зону немцах и уж конечно не выпустят живыми.

Вологодец привел полицаев как раз в такой день, когда должна была вернуться с задания группа Анатолия Солодова.

Боясь, что партизаны попадут в засаду, Анупрей вывесил было сушиться свою единственную белую сорочку, подаренную ему Соней. Для партизан это был сигнал: «Приходить на хутор нельзя!» Но комендант приказал убрать «флаг». Чтобы отвести от себя подозрение, Анупрей огорченно сказал:

— То ж сорочке треба вымерзнуть.

Комендант разрешил повесить на чердаке, где никому ее не было видно.

После этого Анупрей ходил по двору как в воду опущенный. Уж сегодня-то партизаны обязательно придут. Смело возвратятся на хутор, как домой, раз на середине двора не висит белая сорочка...

Анупрей мучился в догадках, не знал, что делать, как быть. Сперва решил внимательно прислушиваться и присматриваться к ольшанику. И как только заметит, что партизаны идут, поднимет крик: предупредит, что на хуторе полиция. А там будь что будет!

Но прошел еще день, а никто к хутору не приближался. Худо, если придут ночью. Тут уж их никак не предупредишь. На ночь условным сигналом тревоги считался огонек в оконце на кухне. Но сегодня все окна наглухо затемнены полицейскими.

Ну что тут придумаешь?

И решился Анупрей на такое, что и самому страшно стало.

Как только начало темнеть, пошел в клуню, поджег солому, которой клуня была набита под самую крышу, закрыл ворота и понес охапку соломы в хлев, для подстилки корове. А полицай, который за ним следил, уже кричит, чтоб кончал управляться — темно, да и холодно.

Анупрей, нарочито сильно попыхивая трубкой, так что сухой табак воспламенялся аленькими язычками,

прошел мимо сеней к хлеву и буркнул, что уже кончает. И вдруг этот полицай заорал:

— Эй, дядько, что там у тебя в клуне горит?!

А дядько со свойственным ему спокойствием не сразу и прореагировал на этот крик. А когда он наконец вышел из хлева, то увидел, что из соломенной крыши клуни уже бил огромный столб яркого, вероятно, далеко видного огня.

«Добре горит!» — с радостью подумал Анупрей, а вслух заорал:

— Ой, ратуйте!

Вбежал в дом. Схватил ведро воды и побежал к пылающей клуне, призывая полицаев на помощь и надеясь в суматохе убежать в хвойничек.

Клуня стояла очень близко от дома, который тоже был покрыт соломой, огонь легко мог переметнуться и сюда. Целые охапки горящей соломы начали вылетать из прогоревшей в разных местах крыши ветхого строения. Комендант приставил к Анупрею автоматчика, а всю свою шайку поднял на тушение пожара.

Ведер в доме Анупрея было только два: чистое — для воды и грязное — для помоев. Залить ими горящую солому было невозможно. Да и гасить не было смысла — крыша прогорела и обрушилась. В небо, как всполошившиеся осы, взлетали красные искры и гасли где-то под звездами.

«Такой огнище хлопцы увидят издалека и все поймут! — успокаивал себя Анупрей. — Теперь они не придут...»

— Да, пан Цьвох, сигнал ты подал партизанам заметный! — сказал комендант, когда увидел, что уже никакими силами с пожаром не справиться.

Анупрей молча попыхивал своей трубкой.

Так и нашли его на второй день партизаны — с простреленной грудью и крепко закушенной трубкой в зубах. Анупрей Цьвох лежал посредине двора. А вокруг него дотлевали постройки — клуня, хлев и дом, старенький, никудышный, но такой гостеприимный и надежный партизанский приют.

Непредвиденный сигнал Анупрея Цьвоха партизаны, возвращавшиеся после подрыва немецкого эшелона, увидели издалека и все поняли. Тут же связались со штабом. Отряд автоматчиков устроил засаду и уничтожил всех

до одного полицаев. Сдавшийся в плен комендант, выпрашивая себе помилование, пытался всю вину свалить на Вологодца. Кстати, он сказал, что, когда дом подожгли, Василий так и остался в запертом чулане.

— Вот оно, возмездие за предательство! — сурово заметил Сарбаев.

Каким-то чудом уцелел омшаник, где Анупрей хранил зимой своих пчел. Пчелы оказались разоренными. Весь мед полицаи съели вместе с сотами, рамки разломали, и ветер, как мусор, гонял по снегу замерзших пчел.

В этом омшанике и расположились усталые от длительного пути подрывники Солодова. В нем было сухо. Составили в ряд ульи. Наносили с болота сена, припасенного Анупреем на зиму. Получились добрые нары. Солодов слепил печурку из глины, накопанной в углу омшаника.

Конечно, эта «ляпанка», как ее назвал сам мастер, вышла не такой, как сделал когда-то Чугуев. Но и она хорошо грела и сносно освещала новое жилище. А что еще нужно от печки партизану?

Однако все в этот вечер были печальными, молчаливыми — помнили, что под стенкой омшаника лежит еще не захороненный Анупрей Цьвох.

На ночь возле омшаника выставили караул.

Утром вокруг пожарища насобирали досок, горелыми гвоздями сколотили гроб и положили в него своего молчаливого, верного друга. Яму выкопали на самом высоком месте, в березнячке.

Могилка в березнячке на далеком болотном хуторе, может, и затеряется. Но добрые дела Анупрея Цьвоха не забудет никто из тех, кто побывал у него в холодную осеннюю ночь или в лютую зимнюю вьюгу, когда, по словам покойного, «ведьмаки справляют свою свадьбу»...

XXXI

Дорисовывая портрет шефа абвера, Андрей Гак думал о странном приказе, полученном от связной: портрет именинника сделать поскорее и как можно лучше. Немедленно уехать в Киев. Перед отъездом зайти к связной.

Леончику и самому хотелось угодить начальству, поэтому он заранее достал Андрею билет в Киев, прину-

див его таким образом дни и ночи работать над важным заказом.

И вот работа окончена. Хозяин и работник с утра ждут приезда Фельзинга, который должен посмотреть портрет, прежде чем признать его готовым.

Ровно в двенадцать Леончик вдруг сорвался с кресла и побежал вниз, бросив, как бомбу:

— Гестапо!

Обычно Леончик встречал своего почетного заказчика радостно и подобострастно. А тут слово «гестапо» прозвучало, как «смерть» или «виселица».

Чувствуя, что ноги подкашиваются и хочется куда-то опрометью бежать, Андрей все же продолжал свое занятие и, только на миг скосив глаз, глянул за окно, где остановилась черная машина, из которой против обыкновения кроме самого шефа и переводчицы вылезли два автоматчика.

«Уж не за мной ли?» — В глазах Андрея потемнело.

Шеф гестапо, как всегда, рывком открыл дверь, вбежал в мастерскую и остановился против картины. Рядом с Андреем бесшумно оказалась переводчица. Вошедший с ними автоматчик застыл у порога.

Ножницами расставив ноги и заложив руки за спину, шеф молча смотрел на портрет. Андрей глянул на грозного гостя и понял, что шеф зол. Лицо — зеленее обычного, желваки отвисли и подергиваются так, будто он что-то грызет. Переведя взгляд на девицу, Андрей поспешно сказал, что портрет еще далеко не готов и он рад будет выслушать замечания шефа.

— Радоваться погоди, — холодно ответила переводчица, словно и она была недовольна работой художника.— Шеф спрашивает, почему ты его сделал таким деспотом?— и пальцами показала себе на уголки губ. — Зачем так низко опустил эти уголки?

— Я делал точно по фотокарточке. Пропорции выверены дважды.

— Не вздумай показывать свою решетку, — нахмурив белесые бровки, заметила девушка.

— На этот раз я размеры переносил без клетки, циркулем.

— Ну, если циркулем, то покажи шефу, чтоб он это понял.

«Неужели приехал только из-за портрета?» — с облегчением подумал Андрей и взял циркуль. Но шеф так рявкнул, что побледнела и даже вздрогнула сама переводчица. А художнику показалось, что поток ругани Фельзинга закончится выстрелом в затылок. Не поворачиваясь к разъярившемуся фашисту, Андрей внимательно присмотрелся к портрету, подобрал краску и положил два мазка по уголкам губ.

Немец сразу умолк, как пес, которому прямо в зубы бросили еще не обглоданную кость. Он довольно хмыкнул и что-то пробормотал.

— А почему же сразу так не сделал? — перевела девушка.

— Люди, которым приходится вершить судьбы тысяч других, не могут быть улыбающимися, как легкомысленные красавицы! — решил лестью умилостивить врага художник.— Я ни разу не рисовал Наполеона улыбающимся.

— Не знаю, как он отреагирует на такой ответ, — качнула головой переводчица, — но переведу точно.

Выслушав девушку, шеф снова хмыкнул и, к всеобщему удивлению, уже мягче заметил, что художник не лишен способности мыслить.

— Видно, ему понравилось сопоставление с Наполеоном, — как бы самой себе сказала переводчица. — Все мужчины одинаковы. Одним хочется походить на Наполеона, другим — на Аполлона!

Опять Андрея беспокоили смелые разговоры переводчицы, да еще в присутствии Леончика.

Когда Андрей закончил исправление портрета знатного юбиляра, шеф гестапо бросил свое обычное «гуть!» и ушел так же стремительно, как и появился.

— Фу! — облегченно вздохнул вернувшийся в мастерскую Леончик. — Ну и нагнал страху!

— А вам-то чего бояться? — с кистью в руке присматриваясь к портрету, спросил Андрей.

— Твоего соседа ночью удушили прямо в постели. А жену похитили...

— Гераську? — уточнил Андрей, сразу почувствовав такое облегчение, будто с него сняли тяжелый камень. — А вам-то что?

— Всех, кто прописался в городе во время войны, сегодня под метлу — в Германию. Знал бы ты, как я пере-

дрожал за тебя! Так что тебе неплохо на время уехать из города...

Пальцы, державшие кисть, онемели, но Андрей все же сделал мазок на лацкане шефа абвера. А Леончик не мог остановиться.

— Дураки! Хватают кого попало, а удавила-то его собственная жена!

— На вид покорная, как рабыня, а удушила...

— Ха! Рабыня! — Леончик тяжело опустился в кресло. — Знаешь, как он ее взял? Посадил в тюрьму больную мать, а ее держал взаперти, пока не согласилась обвенчаться. Она купила свободу матери, а теперь вот обе исчезли.

— Поймают, — все так же хладнокровно сказал Андрей, вызывая хозяина на новую откровенность. — Куда они денутся в такой холод?

— Лес большой, спрятаться есть где. Там теперь таких много... — Тут Леончик спохватился, что наговорил лишнего. Что делается теперь в лесу, художнику лучше не знать, а то и сам еще драпанет...

В этот же день хозяин отдал художнику билет до Киева и деньги на обратный путь и на покупку красок, каких нельзя было достать здесь.

Идя на встречу со связной, Андрей был уверен, что на том его городская миссия и закончилась. Он вернется в лес и будет воевать вместе с товарищами.

Но приказ оказался совсем неожиданным. В Киев надо все-таки ехать, да еще и с поручением от партизанского штаба. По возвращении надо сойти, не доезжая одной станции. Там у человека, адрес которого связная попросила запомнить, он получит указание, что делать дальше. Возможно, он снова будет художничать у Леончика, как бы это ни было трудно. А может, придется вернуться в лес...

За два дня до торжества немцы прислали в ресторан двух электромонтеров: своего солдата-связиста и русского, невзрачного на вид парня, с изуродованным оспой лицом и култышкой вместо указательного пальца на правой руке. Немец сидел за столом в пустом зале, закрытом для подготовки к вечеринке, и не спеша заготавливал все, что нужно было для иллюминирования помеще-

ния. А русского парня он гонял с лестницей по залу. Тот усердно выполнял каждое приказание немца, за что Реваз, присланный хозяином в помощь, а скорее для наблюдения, даже невзлюбил рябого.

Работу в зале закончили только к вечеру. Немец добыл себе две бутылки пива и колбасы, сел за стол, а русского послал проверить проводку в подъезде. Вышел с ним и Реваз.

Рябой, орудуя отверткой в выключателе у подъезда, назвал пароль, который Соня сообщила Ревазу только вчера. От неожиданности Реваз даже вздрогнул. Но рябой повторил пароль. Пришлось отозваться. И тогда рябой потребовал повести его в подвал, где, как он сам сказал, хранятся «гостинцы Степки Гороха».

Реваз спустился с ним в подвал, и рябой, назвавшийся Федотом, коротко посвятил его в свое дело.

— Я тут уже был без тебя. Но теперь ты запираешь и мне самому не пробраться. — Ловким движением он вытащил из старой водопроводной трубы, замурованной в стенке фундамента, конец провода. Растянул его до кучи угля и стал присоединять какую-то вещицу, похожую на патрон. — Это электродетонатор. Миноискателем его не обнаружишь. Второй конец провода находится в соседнем доме. Ток я туда из сторожки уже подвел.

— Так дом-то сгорел! — воскликнул Реваз.

— Так было нужно,— ответил Федот.— Твое дело вставить детонатор в кучу тола, а провод закопать как можно глубже и забросать канавку углем. Весь уголь перенеси в эту сторону. Трубку закрой обязательно. Действуй! А я пошел иллюминировать. До встречи, братишка! — и, крепко хлопнув Реваза по плечу, Федот ушел.

«Почему же Соня не предупредила меня, какой из себя этот монтер?» — с досадой подумал Реваз о связной и занялся маскировкой шнура с электродетонатором.

Утром он еще раз проверил свою работу и пошел к Соне. Но та не стала выслушивать его протест против такой неожиданности с электромонтером. Сказала только, что надеялись Реваза вообще не вмешивать в подготовку минирования, что рябой был предупрежден о нем лишь на крайний случай. Соня потребовала немедленно возвратиться и не отлучаться из котельной до половины седьмого. Надо быть на месте, чтобы не вызвать подоз-

рения у немцев, взявших под усиленную охрану не только ресторан, но и дом его хозяина.

— Не пришел ли какой шпик и сейчас по следу? — уже сам высказал опасение Реваз. — Ну дай я тебя поцелую, чтоб со стороны было видно, зачем приходил...

— Да теперь уж куда деваться, целуй. Только я тебя огрею вот этой грязной рукавицей.— И тише, очень строго сказала: — Уходи из котельной сразу, как только начальство войдет в ресторан. Тогда уж не мешкай, прорывайся за город.

Проходивший мимо незнакомый Соне рабочий видел, как однорукий черноголовый парень пытался поцеловать стрелочницу, а та звонко смазала его по щеке.

— Ха! Бьешь, — значит, любишь! — заметив, что уж очень присматривается к ним незнакомец, крикнул Реваз и ушел не спеша, пиная ногой кусочки угля, валявшегося между шпалами.

«Кажется, этот прохожий доволен, — отметила про себя Соня и, вздохнув, с грустью подумала: — Был бы Реваз хоть лет на пять постарше, пусть целовал бы...»

В шесть часов, перед тем как начали собираться гости, в дом хозяина ресторана пришли три гестаповца с черепами на тульях высоких фуражек и на рукавах. Два автоматчика истуканами застыли у дверей, а капитан прошел в переднюю, свысока осматривая жильцов. Галантно, однако с плохо скрываемым высокомерием в голосе, капитан сообщил, что является распорядителем вечера, и пригласил хозяина со всеми домочадцами на банкет. Немец довольно сносно говорил по-русски. Указав пальцем на домработницу, спросил, кто это. Услышав ответ, отрицательно махнул одним пальцем: пусть караулит дом. Потом указал на Реваза, вызванного хозяином на ужин. Вынимая из гардероба свой костюм, хозяин пояснил, что это за человек.

— О-о, он обязательно дольжен быть пах свой служба! Если портится отоплений! — Хлопнув белой перчаткой себя по руке, словно что-то отсчитывал, капитан спросил, есть ли дети у хозяина.

Илья Данилыч, суетливо предлагая ему кресло, ответил, что господь не даровал деток.

— Оч-чен жяль! — как показалось Ревазу, совершенно искренне сказал гестаповец.

— Так что мы придем вовремя, спасибо за пригла-

шение, — сказал Илья Данилыч, давая понять, что немец может уходить, вполне уверенный, что приглашение принято с благодарностью.

Но тот сел в кресло и сказал спокойно:

— Семь-восемь минутен я могу подождаль. Пойдем вместо.

Автоматчики все так же неподвижно стояли по обе стороны дверей.

Илья Данилыч с костюмом в руках ушел в другую комнату и там шепнул переодевающейся жене:

— Похоже, что мы не столько гости, сколько заложники. Боятся они, чтоб чего в ресторане не произошло. Были бы детки, их он тоже «пригласил бы»!

Реваз стоял в растерянности. Уходить было рано. А оставаться опасно. Не приставят ли к нему какой охраны? Пока что решил спокойно и беспрекословно подчиняться, чтоб не вызвать подозрения.

Илья Данилыч с женой вышли очень скоро, бледные, взволнованные. Он — в темно-синем костюме, в снежно-белой сорочке с бабочкой. Она — в светло-голубом платье, украшенном безделушками.

Капитан пошел с хозяином и его женой в ресторан, а Реваза автоматчики, словно арестованного, провели в котельную.

Реваз сразу же понял, что это его последние шаги по земле. Но, спускаясь в подвал, думал только об одном: не обнаружили ли немцы взрывчатку, сработает ли потайная электросеть и успеют ли все фашисты собраться на банкет? Федот тоже дежурит. Он в сторожке у рубильника. Там этот парень может остаться живым, невредимым. Но он тоже под стражей. Хорошо бы, хоть он спасся. Кто он? Реваз не имел права с ним знакомиться ближе. Так сказала Соня. А хотелось хоть что-то о нем знать, особенно теперь, когда они оба могут погибнуть, мстя фашистам.

В подвале дули пронзительные сквозняки. Но сейчас Реваз не обращал внимания на холод. Зато немцы сразу же залезли в теплый угол за котлом. Усевшись на большие куски угля, один из них кивнул Ревазу, указывая на котел: мол, работай.

Реваз открыл топку. Пошуровал в котле добела раскалившийся уголь. Немцы придвинули свои куски угля поближе к теплу, жестом попросив не закрывать топку.

Реваз исполнил эту просьбу и покосился на единственное оконце, за которым стемнело.

Скоро семь. Гости уже собрались. Скоро войдет начальство. И тогда...

Можно, конечно, попытаться выскочить в окно. За кучей угля не попадут из автомата. Но тогда поднимется тревога, и все рухнет: поймут, что неспроста убежал.

Нет, Реваз Бараташвили не убежит со своего поста! И он тоже сел на уголь. Глядя в огонь, спросил, сколько времени. Немец показал наручные часы.

Без десяти семь. Реваз начал считать минуты. Но вскоре поймал себя на том, что в голове его начинает мутиться и он готов совершить что-то неожиданное для себя. Он встал и тихо, в глубокой тоске запел «Сулико».

Немцы удивились. С любопытством уставились на странного певца. Звуки песни были для них, наверное, настолько необычными, что они слушали, не прерывая его. Пел Реваз негромко. Наверху услышать не могли.

Немец, который был, видимо, за старшего, но с виду совсем юный белобрысый парень, воровато посмотрел на дверь и вынул из-за пазухи губную гармошку. Подобрал мотив песни, которую пел истопник, и начал ему подыгрывать.

А песня уже кончилась, и Реваз умолк.

Немец выжидательно посмотрел на певца и рукой очертил круг: мол, еще раз спой.

«Если б ты знал, что это твоя последняя песенка!» — подумал Реваз и глянул на часы. Было семь ровно. Именинник, видимо, уже пришел.

Скоро. Уже скоро...

И, глядя на голубеющее пламя, Реваз мысленно ушел на берег моря, где любил по вечерам бродить с Инкой и петь ей. И теперь он запел ей. Только ей.

Я могилу милой искал,
От людей ушел далеко.
Долго я томился и страдал,
Где же ты моя...

Леончик не просчитался — портрет, подаренный имениннику Фельзингом, вызвал среди гостей фурор.

В парадной форме оберста, при всех регалиях, шеф

абвера пришел в сопровождении звенящих орденами и медалями офицеров в чине не ниже капитана. Каждый вел полуобнаженную девицу. Юбиляр окинул взглядом крест-накрест, почти свастикой составленные столы и сел не там, куда ему угодливо указал щеголеватый распорядитель, а за ближайший к порогу стол.

Он виновник торжества, его право сесть где заблагорассудится. По взмаху руки капитана-гестаповца два официанта в черных фраках мгновенно произвели какие-то манипуляции на столе именинника, какие-то бутылки заменили, какие-то блюда добавили, поставили самую большую вазу с цветами, стоявшую на противоположном столе.

В течение нескольких минут к юбиляру подходили гости с подарками и поздравлениями. Все делалось по-немецки чопорно и аккуратно.

— Achtung! — раздался голос распорядителя.

Гости обернулись. Широко распахнулась дверь, вошел штурмбанфюрер Фельзинг, за ним два дюжих гестаповца внесли портрет юбиляра в массивной золоченой раме высотой почти в рост человека. При ослепительном блеске множества электроламп рама сияла и производила впечатление где-то в музее добытого шедевра.

— Миноискатель, — кивнул распорядитель стоявшему за его спиной гестаповцу, и тот ловким, незаметным для юбиляра движением провел миноискателем по тыльной стороне портрета.

Под громкие аплодисменты Фельзинг преподнес подарок юбиляру. Тот с довольной улыбкой пожал ему руку и усадил рядом с собой.

И только тут к полковнику пробрался Леончик, одетый в светлый не по сезону костюм. Он видел, как понравился шефу портрет, и хотел как-то дать знать ему, что в этом его заслуги гораздо больше, чем Фельзинга. Но случай был неподходящий — именинник был окружен подобострастно и льстиво поздравлявшими его гостями.

Распорядитель собственноручно повесил портрет на стене и тоже получил свою долю комплиментов. Портрет был повешен весьма эффектно.

«Вечер начинается на славу. Это очень хорошее предзнаменование», — удовлетворенно подумал Леончик, как всегда садясь рядом со своим шефом, чтобы предуп-

реждать каждое его желание. Но тут его неожиданно вызвали в кабинет распорядителя.

Капитан сидел за столом, уставленным винами и закусками. Фуражка его была сдвинута набок. Наливая себе в бокал вино и не глядя на Леончика, остановившегося перед столом, капитан сказал, что по-русски здесь сегодня не с кем будет говорить, поэтому господин Калина может отдыхать.

Не только в словах его Леончик уловил насмешку, показалось, что даже череп, изображенный на фуражке гестаповца, глумливо ухмылялся.

Широко, раболепно улыбаясь, Леончик поблагодарил гестаповца, сам не зная за что, и юркнул за дверь, словно ошпаренный.

В машине он сел не рядом с шофером-немцем, а сзади. Почему-то назойливо лезла в голову поговорка: «Знай сверчок свой шесток».

Всю дорогу Леончик злился на немцев. «Все-таки не считают они меня своим, как ни старайся. Высшая раса!»

Но жаловаться па капитапа и не подумал: он уже знал, что с гестапо не шутят. Мысленно он составлял план дальнейших взаимоотношений с высокомерным капитаном, которого прежде все как-то обходил. Придется после праздника позвонить, еще раз поблагодарить за полученную возможность провести вечер с любимой женщиной и, кстати, предложить ему услуги своего художника.

Эти мысли прервал громоподобный взрыв, потрясший всю окрестность. Шофер затормозил машину и, по знаку ошарашенного Леончика развернув ее, помчал назад, в Стрельню.

Место, где стоял ресторан, было оцеплено войсками абвера. Машину гестапо туда не пустили. Да там и делать теперь было нечего. Здание, из которого Леончика так позорно выставили, было превращено взрывом в груду дымящихся развалин.

Кастусь не мог уснуть: размечтался о завтрашнем боевом задании. Каждой новой вылазке партизан против немцев он радовался по-детски искренне и горячо. И всякий раз видел себя главным героем дня. Завтра предсто-

ит что-то необыкновенное. Был приказ хорошо высушить одежду и обувь.

«Несколько дней придется жить в лесу, без костров», — сказал командир.

«Значит, задумано дело серьезное», — понял Кастусь. И не только сам подготовился, но и помог товарищам: отдал им всю одежду, какая была у него в запасе.

Как раз в то время, когда он старался угадать план завтрашнего налета на фашистов, командир и комиссар, сидевшие в землянке, где уже спали партизаны, говорили о его судьбе. Разведчики доложили о провокации гитлеровцев в деревне, где старостой был отец Кастуся.

Кастусь, конечно, сразу же, как узнает об этом, бросится мстить за отца. Это и Сарбаев и Синьков понимали. Но как скрыть от него страшную правду? Завтра отряд пойдет на задание мимо села Кастуся. Другой дороги нет, а обходить болота некогда — задание срочное.

— Паренька не надо брать на эту диверсию, — категорически заявил Синьков.

— Да разве он усидит здесь с детьми? — возразил Сарбаев.

— А мы ему придумаем еще более важное задание — пошлем к комбригу со срочным пакетом.

— В пакете будет описание гибели отца Кастуся и просьба придержать паренька у себя до нашего возвращения с задания, да? — догадался Джума.

— Ты, товарищ командир, в последнее время вообще стал перехватывать мои мысли, — глядя в печальные глаза Сарбаева, сказал Синьков. — Тогда я пойду будить Кастуся и Ахмета, пусть вдвоем идут к Стародубу, а ты тем временем напиши письмо о трагедии Кастуся, попроси Павла Прокофьевича потеплее отнестить к осиротевшему пареньку.

Оставшись один, Джума еще долго не мог начать письмо, думал о том, что сказал Игорь. Да, он прав. После несчастья с Элей Сарбаев еще больше сроднился со своими боевыми друзьями. И самым близким человеком на свете теперь стал именно он, Синьков. Знать, оттого-то и понимать его Сарбаев стал с полуслова.

XXXII

Не всегда погода благоприятствовала партизанам, не всегда помогала. Вот сейчас нужна бы метель, а уж коли

началась оттепель — так дождь или туман. А оно, это родное полесское небо, вызвездилось да еще и луну повесило на самой середине, прямо над тропой, по которой пробираются партизаны к железнодорожному мосту.

Мост нужно взорвать в течение пяти дней. Радиограмму об этом Стародуб получил вчера ночью. Чугуев сразу же разработал план операции и довел до отрядов. Прошли уже сутки. Раньше, когда не было связи со штабом, с Москвой, партизаны делали то, что могли и когда это было им удобно. Теперь же нужно действовать в соответствии с приказом, за которым стоят какие-то определенные планы Верховного Главнокомандования, точные сведения о намерениях врага.

Конечно же лучше было бы исподволь разведать всю обстановку на мосту. Попробовать силы немцев, засевших в доте. На время оставить их в покое, а потом выбрать непогожую ночку да и ударить. Но откладывать нельзя: немцы усиленно готовятся к реваншу под Москвой, эшелон за эшелоном гонят на фронт. От партизан теперь многое зависит... Одним словом, мост надо взорвать поскорей.

К дороге идут все отряды бригады Стародуба. Больше сотни хорошо вооруженных, с огромным запасом взрывчатки партизан движется к мосту с двух сторон. Конная и пешая разведка прибыла туда еще вечером. Но какие бы ни были данные разведки, нападать в лобовую на охрану моста нет смысла. С одной стороны моста дзот, с другой — дот, построенный немцами совсем недавно для защиты от партизан. Если в этих хорошо укрепленных оборонительных точках немцев значительно меньше, чем партизан, все равно их боем не возьмешь. Артиллерии у партизан нет. А одними гранатами, да еще издали, гитлеровцев только раздразнишь, а тут и помощь к ним подоспеет. Нужна какая-то хитрость. А какая? Она могла прийти в голову лишь после донесений разведки. Но разведка узнала только то, что немцы в своих крепостях засели основательно, да и под мостом тоже хорошо укреплены два пулеметных гнезда. К мосту не подойдешь ни по берегу, ни по льду.

Отряд Бараташвили еще прошлой ночью перешел железную дорогу и остановился в лесу, в двух километрах от моста.

Сарбаев подвел свой отряд с нижнего течения реки и

расположился на болоте в лозняке. В тылу у него остался заместитель командира бригады капитан Строгов, руководивший всей операцией. Здесь же расположился запасной отряд «своих немцев», как называли партизан из отряда Раздольского, переодевшихся для этого случая в немецкую форму и вооруженных трофейным оружием.

Светало, а никакого решения партизаны не приняли. Было приказано дневать без костров, не разговаривать, ничем себя не выдавать. Если противник обнаружит, в бой не вступать, немедленно отходить, чтобы немцы думали, что это просто-напросто мимо проходящий отряд. Отстреливаться только в исключительных случаях.

Задание понятное, хотя и нелегкое. Всю ночь пробыли в сырости, на холоде, и днем негде будет обогреться. А мартовская промозглая сырость не милее январских морозов.

День выдался светлым, ведреным. Солнце взошло по-весеннему теплое. Партизаны начали согреваться. Но вскоре подул сырой пронизывающий ветер. Затянул небо грязными, где-то залежавшимися за зиму лохмотьями туч. А тут и донесения разведки одно не веселее другого: то инспекция проехала по дороге на дрезине и долго стояла на мосту, то специальный поезд привез охране моста еще два станковых пулемета. На весь день прекратилась связь между отрядами, расположенными по одну и другую сторону железной дороги. Патруль ходит по путям — через линию при дневном свете заяц не проскочит незамеченным.

Строгов вызвал к себе Сарбаева, который хорошо присмотрелся за полдня и к дороге и к мосту, разузнал от него обстановку, и они вдвоем пошли к опушке леса, чтобы в бинокль еще раз все хорошо осмотреть. С собой взяли только двух связных да снайпера.

Остановились в густом ельнике, в двух километрах от моста. Отсюда хорошо было видно немцев, лениво бродивших по высокой насыпи, и охранников моста, время от времени выходивших из своих укрытий на прогулку.

— Да, при хорошо налаженной телефонной связи им не страшны и десять наших бригад, — как бы про себя сказал Строгов.

— Из этих железобетонных гнезд их не выкуришь даже противотанковыми гранатами, — согласился Сарбаев. — Надо что-то придумать.

— Что тут придумаешь?

— Времени мало. Денька бы два еще оттепели, чтоб наледь прошла... — Сарбаев не закончил эту мысль, насторожился: — Шумит.

Строгов понял — идет поезд. Но долго на пути ничего не было видно, хотя шум уже слышался близко, где-то в лесу. Нарастал этот шум как-то медленно, нерешительно, словно машинист вел поезд на ощупь, с закрытыми глазами.

— Мин боятся, — заметил Сарбаев. — Впереди, конечно, «щупальца».

«Щупальцами» партизаны прозвали платформу с балластом, которую немцы пускали теперь впереди всех эшелонов. Эта платформа подрывалась на партизанской мине, а уж потом по обезвреженному пути шел воинский состав.

— Да, все предусмотрено, все продумано с немецкой аккуратностью.

Из-за ольшаника и на самом деле высунулась сначала старая, грязная платформа с песком. За ней — три пустые, такие же готовые на свалку платформы. Потом красный вагон с открытыми дверями. В нем ехала рабочая бригада путейщиков, которая обычно тут же ремонтировала дорогу, если первая платформа подрывалась на мине. И только у самого паровоза, в вагоне с открытой дверью, зеленели немецкие шинели и поблескивали каски. Это охрана. А может, и карательный отряд с собаками. Обычно после взрыва немцы открывают ураганный огонь по лесу, хотя и знают, что партизан, подложивших мины, там давно уже нет. И только при особой необходимости они выбираются из вагона и бросаются в погоню.

Поезд движется медленно, как похоронная процессия. «Щупальцам» спешить нельзя — мины часто взрываются не под первой платформой. У партизан техника минирования становится все более предусмотрительной и хитрой.

Сейчас уже редко встретишь мины с упрощенным взрывателем, когда партизан вынужден лежать метрах в ста от насыпи и ждать поезда, чтобы дернуть за провод или поджечь бикфордов шнур. Таким смельчакам обычно туго приходится — даже после удачной диверсии карательный отряд с собаками бросается прочесывать лес.

Теперь партизаны все больше делают мины со взрывателями замедленного действия. Через несколько секунд

после замыкания проводов передним колесом локомотива происходит взрыв чаще всего уже не под самим паровозом, а под вторым или третьим вагоном. Опрокинувшиеся вагоны паровоз протащит и натворит такого, что и за неделю не разберешь.

А цистерны с горючим партизаны научились поджигать с далекого расстояния термитными шариками-липучками, которыми они прямо из лесу выстреливают из обыкновенной детской рогатки.

Вот почему теперь впереди эшелона, идущего на восток с воинским грузом, приходится пускать по два и по три вот таких проверочных поезда.

Паровоз со «щупальцами» прошел мимо партизан и благополучно добрался до моста.

— Фу! — облегченно вздохнул капитан. — Признаться, я искренне боялся, что этот эшелон нарвется на мину, заложенную еще до нашего прихода каким-нибудь другим отрядом.

— Да, тогда нам пришлось бы худо, — согласился Сарбаев. — Началось бы прочесывание леса, и наше дело провалилось бы на полпути.

— Наверное, областной штаб дал указание другим отрядам не ходить пока на эту дорогу, чтобы нам не мешать.

— Пожалуй, так, — кивнул Сарбаев.

Проверочный поезд еще не скрылся за мостом, как послышалось надсадное пыхтение другого, кажется, более тяжелого состава. И когда из-за лесного выступа показался паровоз, Сарбаев, смотревший в бинокль, тут же возбужденно воскликнул:

— Елочка!

— Неужели?! — Строгов взял у него бинокль и действительно увидел еловую ветку, воткнутую в защитную решетку на передней площадке паровоза.— Ну что ж, этот мы вынуждены пропустить.

Еловая ветка на паровозе обозначала, что эшелон воинский — с техникой или живой силой. Прикрепляла ветку обычно Соня, веселая стрелочница на станции Стрельня. Если ей не удавалось, делала это другая стрелочница на следующей станции. А все командиры диверсионных групп бригады «За Родину!» уже знали этот сигнал. Поделились секретом и с соседями, которые располагались восточнее их вдоль железной дороги.

— Неужели с такой легкой проверкой идет воинский состав? — не поверил Строгов.

— Какая же легкая! — возразил Сарбаев. — Сегодня два эшелона уже прошли.

— После них могло все случиться.

— Днем это нелегко, — зная, что Строгов на таком деле впервые, заметил Сарбаев.

Поезд оказался действительно тяжело груженным. Пульмановские вагоны были запломбированы, и нельзя было узнать, что там. Ясно было одно: раз к линии фронта, — значит, везут смерть. Этот состав шел на такой малой скорости, что рядом с ним можно было бежать легкой трусцой.

— Жалко пропускать такой состав! — качнул головой Строгов. — Будем надеяться на соседей...

Но Сарбаев ничего не сказал на это. Он смотрел в сторону леса, из-за которого только что вышел поезд, смотрел и, казалось, ожидал еще чего-то.

— Что, неужели второй следом идет? — в тревоге спросил капитан.

— Они могут пустить и два и три подряд — целый караван. Бывает и такое, — ответил Сарбаев. — Но я сейчас не об этом думаю. — И вдруг в его глазах сверкнула какая-то озорная решимость. — Товарищ капитан, на мост мы должны напасть вон там, — он показал в сторону, прямо противоположную от моста, на лесок, из которого, словно тучи в непогоду, один за другим выплывали немецкие эшелоны.

— Я что-то не понимаю твоего замысла, — опустив бинокль, сказал Строгов. — Мост там, а взрывать его будем совсем в другой стороне, где нам удобнее... Это похоже на анекдот о пьяном, который потерял кошелек на трамвайной остановке, а искал под фонарем на перекрестке, где было светлее...

Джума только хмыкнул. Он теперь вообще не улыбался, даже если было очень смешно. Горькая судьба Эли унесла из его души что-то такое, что наполняло его жизнь радостью.

Выслушав товарища, он сказал, что ситуации действительно сходны. Только они взрывать будут все же на мосту, а засаду устроить должны далеко в стороне от моста. И коротко изложил свой план...

Выслушав его, капитан строго посмотрел в суровые,

с хитрым прищуром глаза казаха и сказал, как всегда, официально:

— Давай-ка, товарищ Сарбаев, поговорим с комбригом, чтоб ты возглавил всю диверсионную работу бригады. У тебя на это особый талант. Ну, да это потом. А сейчас идем, доложим командованию обстановку и обсудим твой план в подробностях. Конечно же это самый верный способ уничтожить мост без больших потерь.

Передав бинокль Синькову, оставшемуся с группой бойцов наблюдать за дорогой, Строгов и Сарбаев пошли в глубь леса, где расположился штаб бригады.

Высунувшись из окошка паровоза, толкавшего три контрольных вагона, немецкий офицер, приставленный к русскому машинисту, смотрел на лес, медленно уплывавший назад. От скуки он достал из кармана конверт с открытками. И только начал рассматривать первую картинку, изображавшую группу бесстыдно обнаженных мужчин и женщин, как вдруг из ельничка, что убегал назад вдоль дороги, раздался винтовочный выстрел. Немец сник и свалился. Непристойные открытки разлетелись по ветру. И в это же время в вагон, шедший сразу впереди паровоза, влетело несколько гранат. Одновременно позади поезда были убиты два немца, патрулировавших дорогу. Двух патрулей, шедших навстречу поезду, тоже смахнули с дороги одиночные выстрелы.

Из ельничка к вагонам бросились партизаны, одетые в немецкое. Машинист растерянно остановил паровоз. «Свои своих перебили?!»

А «немцы», выбежавшие из кустов, быстро забрались в вагон, в котором только что разорвались гранаты. Один из этих «немцев» вскочил в тамбур паровоза. Это был комиссар бригады Грушовицкий. Узнав, что машинист русский, комиссар приказал ждать его команды.

Неуклюжий пожилой машинист, с черными лохматыми усами, в засаленной фуражке, надвинутой до бровей, кивнул в знак того, что все понял.

В третий вагон, где ехали рабочие — ремонтники дороги, «немцы», выскочившие из леса, гранат не бросали. К этому вагону они несли какие-то тяжелые мешки.

Поняв, что поезд захватили переодетые партизаны, рабочие начали помогать им грузить мешки. Когда все

было погружено, в вагон поднялись и сами партизаны. Рабочим было приказано остаться в распоряжении стоявших в кювете вооруженных людей. Эти были одеты кто во что горазд, но на шапке каждого — красная ленточка. В вагон поднялся смуглый коренастый партизан в кожанке. Как определил машинист — не русский. И по взмаху его руки Грушовицкий, стоявший рядом с машинистом, подал команду:

— Вперед! Чуть быстрее, чем ехали сюда, — и спросил, скоро ли последует груженый состав.

Машинист ответил, что груженый не пойдет, пока контрольный не сообщит, что путь свободен.

— Тогда жми безо всяких сигналов.

— Жать-то я буду. Только что же будет с моей семьей? — печально ответил машинист.

— А ты не высовывайся, чтоб на мосту тебя не увидели, а мы на обратном пути тебя свяжем и спустим в кювет.

На том месте, где только что стоял поезд, партизаны уже минировали путь — на случай, если немцы заметят неладное и пустят поезд с карателями.

В двух километрах от места происшествия, на виду у солдат, охранявших мост, шел немецкий патруль. Увидев приближающийся контрольный поезд, патруль остановился, начал махать «немцам», стоявшим и сидевшим в вагоне. Но паровоз в это время пустил пары и сильный шум заглушил ответы «немцев». Тогда патруль спросил «немца», высовывавшегося из окна паровоза, что там за взрывы были на пути. Но и этот «немец» помахал рукой возле уха: мол, ничего не слышу. Поезд со «щупальцами» проследовал к мосту. А патруль пошел своей дорогой. Его пока нельзя было трогать, чтобы мостовая охрана не поняла, что поезд захвачен партизанами.

На мосту показался немец с флажком.

— Они что, пропускают вас на мост без условного сигнала? — спросил Грушовицкий.

— Короткий гудок, — ответил машинист. — Но лучше было бы, если бы вы знали немецкий.

— Знаю, — ответил комиссар. — Что говорить?

— Что-нибудь про погоду скажите постовому.

— На всякий случай скажите, как вас зовут? — спросил Грушовицкий.

— Сидор Тимофеевич, — ответил машинист.

— А меня Кирилл Федорович. Будьте готовы ко всему, Сидор Тимофеевич. Нам на мосту нужно остановиться и сгрузить наши мешки прямо над средней опорой. Сумеете так остановить состав?

— Все сумеем.

— Как только въедем на мост, из леса начнут стрелять. Но вы не бойтесь, делайте свое дело. Стрелять будут наши ребята, чтобы немцы не высовывались из своих гнезд и не мешали нам минировать мост.

— Ясно. — Сидор Тимофеевич ответил спокойно, однако подбородок его дрожал.— А если немцы все поймут и начнут жарить по нас из пулеметов?

— Ну, тогда мы их забросаем гранатами. Мы ведь сверху.

— Да то так, всегда лучше на коне, чем под конем, — нашелся машинист.

Стрельба из придорожного леса поднялась ураганная. Немец, стоявший с флажком, был тут же убит. А остальные, засевшие в дзоте и доте по обе стороны моста, открыли огонь из всех амбразур. Из-под моста вели беспрерывный огонь два станковых немецких пулемета по ближним деревьям, за которыми засели партизаны.

Поезд медленно продолжал двигаться по мосту. И когда вагон с «немцами» проходил над первой опорой, на голову засевшего под мостом пулеметчика была сброшена граната. Пулемет смолк.

Кирилл Федорович приказал машинисту двинуть поезд вперед, не останавливаясь над средней опорой. А когда таким же взрывом гранаты была подавлена вторая пулеметная точка под мостом, паровоз взял обратный ход и остановился так, что вагон со взрывчаткой повис над средним быком. Теперь минерам ничто не мешало заняться своим делом. Немцы из амбразур дотов не видели, что делается на середине моста, они ожидали налета партизан из леса.

Но партизаны не атаковали. Да и огонь поубавили. На беспрерывные пулеметные очереди они отвечали только меткими выстрелами по амбразурам.

Наконец паровоз дал короткий сигнал. Партизанский огонь вспыхнул снова, словно костер, в который подбросили хвороста. Поезд двинулся через мост, и, когда достиг противоположной стороны, с первого от паровоза вагона, повисшего над самым дотом, к входу в дот упал

тяжелый мешок. Поезд пошел назад, и с последней платформы было брошено две гранаты, одна из которых угодила на только что сброшенный мешок тола. Взрыв потряс все вокруг. Дот был засыпан землей. Стрельба из него прекратилась.

В дзоте поняли, что произошло на той стороне моста, и зенитка открыла пулеметный огонь по паровозу, который уже уходил с моста. Из тендера тонкими струями ударила вода. Но из второго вагона, тоже обстреливаемого зенитным пулеметом, к дзоту было выброшено два мешка с толом и несколько гранат.

За взрывом у дзота последовал другой, словно вырвавшийся из-под земли, глухой и тяжелый гром на главной опоре моста. Волной от этого взрыва сбросило с пути заднюю платформу удаляющегося поезда.

Паровоз вынужден был остановиться. Все, кто находился на нем, попрыгали вниз под откос и быстро уходили к лесу, оглядываясь на покореженные и осевшие на лед фермы моста, под которым средняя железобетонная опора была до половины разрушена.

— Такого я еще не видывал! Недели на две дорога перерезана! — с удовлетворением сказал Грушовицкий, пожимая руку Сарбаеву, лицо которого было в мазуте.

— А вы знаете, что мы могли тоже остаться там? — Джума кивнул на разрушенный и словно сразу поржавевший мост.

— Всякое могло, конечно, случиться, — пожал плечами комиссар.

— Да нет, я не о всяком. А о детонации. От первого взрыва у дота мог взорваться заряд и под нами, на середине моста.

— Вообще-то да, — согласился Грушовицкий и тут же отшутился, сказав, что в его планы не входило взлетать вместе с фрицами.

Приказав Строгову руководить операцией по прикрытию отхода бригады, Грушовицкий ушел в штаб, откуда прибегал за ним порученец комбрига.

Через полотно железной дороги теперь в открытую переходил на свою сторону отряд Бараташвили. Сарбаев подождал разгоряченного, шедшего с шапкой в руке Бараташвили и крепко его обнял.

— Твои стрелки работали здорово! — воскликнул Джума.

— Где уж здорово! Глянь, что там.

И Джума увидел двое носилок, на которых несли, повидимому, убитых партизан.

— Предала трухлявая осина, — сердито бросил Бараташвили. — Залегли ребята за деревом, а не заметили, что оно трухлявое. Фашисты пулеметной очередью срезали дерево. Знал бы ты, что это были за ребята!..

Партизаны вошли в лес, оставив на опушке трех конных разведчиков. Они должны были дождаться полной высадки карательного отряда, который конечно же скоро прибудет, определить его численность и быстро догнать своих.

На железной дороге сначала справа, а потом и слева послышался гул приближающихся поездов.

— Идут на выручку! — сказал Сарбаев.

— И тоже ощупью движутся, — заметил Бараташвили.

— Да, боюсь, что снимут нашу мину.

— Одну снимут — на другой подорвутся! — лукаво подмигнул своему командиру подошедший Синьков.

— А разве в двух местах заминировали?

— Да это я уж без тебя посамовольничал.

— Хорошее самовольство, комиссар!

Взрыв на железной дороге произошел, когда бригада углубилась в лес.

— Интересно, что сделал этот взрыв? — будто сам себя спросил Сарбаев.

Часа два шли партизаны по лесу. Но никаких признаков погони не было. Не догнала их и конная разведка.

— Не случилось ли чего с ребятами? — встревоженно сказал Строгов, обращаясь к Сарбаеву и Бараташвили, которые шли рядом. — Почему их так долго нет?

— Значит, каратели еще не появились, — предположил Бараташвили.

— Но ведь поезда-то шли. Даже что-то взорвалось!

— Думаю, что сейчас так просто, с ходу, они карателей не пошлют, — сказал Сарбаев. — Дело серьезное, и ловить нас будут по-серьезному.

— Да, это верно, — поддержал его Синьков, — прямо с поезда они посылают в лес карательные отряды против мелких диверсионных групп. А тут видно, что дело было совершено не маленькой группой. С моста им, конечно, успели позвонить, как только поняли, что происходит.

XXXIII

К вечеру конные разведчики догнали уходивших лесом партизан и рассказали обо всем, что произошло на железной дороге.

К взорванному мосту поезд доставил большую бригаду рабочих и около роты немецких солдат. Впереди, как всегда, шла платформа с песком, за нею еще шесть пустых платформ и одна с рабочими. Потом следовали три пульмановских вагона с немцами. Несмотря на такое количество «щупающих» платформ, поезд двигался со скоростью ленивого пешехода. Впереди состава шли два полицая, которые внимательно осматривали железнодорожное полотно. И нашли-таки мину. Провозились они с нею не меньше часа и взорвали в сторонке. Но и тогда поезд не пошел быстрее. И не зря. Нашли вторую мину и только потом пробрались к мосту. С полчаса немцы строчили из пулеметов и автоматов по лесу, сперва на северную сторону дороги, потом на южную.

Убедившись, что из лесу им ничто не грозит, немцы вышли из вагонов и быстро заняли оборону по обе стороны дороги. Начали даже окапываться. А несколько человек в гражданском пошли к мосту. Долго лазили по искореженным балкам и рельсам. Двое добрались даже до средней опоры, наполовину разрушенной взрывом. Пытались пробраться и на ту сторону, но там был большой разрыв, и они вернулись на железнодорожное полотно, где их встретил высокий немец в пенсне, видимо старший.

О чем они говорили, партизанам не было слышно, однако по тому, как огорченно махнул рукой старший и, отвернувшись, ушел к вагону, по тому, какой похоронной процессией поплелась за ним вся свита, партизаны поняли — восстановить мост нельзя. С этой доброй вестью и решили разведчики возвращаться, как только уедет комиссия.

Но не успел этот поезд скрыться за леском, как другой подошел к мосту с противоположной стороны. В этом составе было двенадцать вагонов с немцами. Они без стрельбы выгрузились и построились повзводно. Разведчики насчитали шесть взводов. При каждом взводе был проводник с собакой.

— Вот это уже хуже, — сказал Сарбаев.

Немцы перешли еще спящую подо льдом речку и рассредоточились по железной дороге до самого лесочка, где была снята первая мина.

Было ясно, что в одном из дотов сохранился телефон и прежняя охрана обо всем информировала свое начальство.

Сначала собаки взяли несколько следов. И каждый взвод направился к лесу по следу своей собаки. Но уже на опушке все собаки сошлись. Поднялся лай, гвалт, как на большой псовой охоте. Войдя в лес, немцы долго стояли. Видно, им не нравилось, что все следы сошлись в одну тропу. Наконец они снова рассредоточились и двинулись по лесу на расстоянии видимости взвод от взвода. Это можно было понять по стрельбе, которую они время от времени открывали, скорее всего, для самоуспокоения.

Конные партизаны-разведчики наконец оторвались от карателей и поскакали с донесением.

Получив это сообщение разведки, командиры отрядов собрались возле поваленной ветром сосны, на которой сидел капитан Строгов. Все прислушивались к приближающейся стрельбе.

— Уходя из своих лагерей, хорошо замели следы? — спросил Строгов командиров и комиссаров отрядов. И, получив утвердительный ответ, сказал, что теперь их задача — дать возможность штабу и основным силам бригады уйти, а самим не привести в свои зимовья карателей.

После короткого совещания решили рейдировать по лесу до тех пор, пока сводный отряд не оторвется от немцев. Чтобы задерживать их продвижение, командир приказал время от времени ставить противопехотные мины. Но чего-то самого главного, очень надежного, что помогло бы партизанам уйти от преследования, покамест не находилось.

К наступлению темноты отряд вышел из леса на поле, которое простиралось направо и налево километра на три. По ту сторону поля стоял стог старой соломы.

Отряд перешел поле, а конные разведчики остались в лесу. Они должны были дожидаться карателей и догонять своих не напрямик, через поле, а в объезд, лесом.

Разведчики прискакали в отряд часа через два, когда стемнело. Доложили, что немцы через поляну не пошли,

а расположились в лесу и развели два костра, метров за сто один от другого. Больше всего разведчиков беспокоило, что очень уж большие были костры — вся поляна освещена.

— Очень хорошо! — воскликнул Сарбаев.

— Чего ж хорошего? — удивился Строгов. — Они освещают лес, чтобы видно было далеко. А нам ведь надо подобраться на расстояние броска гранаты.

— Подобраться партизан в лесу должен даже под прожектором! — разгорячился Бараташвили. — Ему поможет тень от деревьев.

— Не давать немцам отдыха! Забросать костры гранатами, заставить фашистов бежать по лесу в темноте на нашу засаду! — предлагал Сарбаев свой план. — Утром их не возьмешь.

— Вот вы и берите на себя первый костер, — сказал Строгов. — А Бараташвили — второй.

Джума и так с недоверием относился к партизанским способностям капитана Строгова, а когда тот послал два отряда на истребление немцев, расположившихся у костров, а сам остался с горсткой людей и двумя пулеметами в безопасном месте, Сарбаев сделал свой окончательный вывод, что это далеко не Чапай, скачущий впереди отряда на белом коне.

Но вскоре от этого убеждения пришлось отказаться: партизанские гранаты заставили немцев бежать от своих костров. Бросились они не назад, в лес, а через поляну, за которой залегли оставшиеся со Строговым партизаны, в основном раненые.

Оказывается, Строгов был убежден, что немцы поступят именно так, но он не выбирал для себя легкой задачи, остался на этом опасном месте. Да и встретил хорошо вооруженных фашистов достойно.

Немцы метались по лесу, не зная, куда бежать,— везде натыкались на партизанский огонь. Две собаки, уцелевшие после нападения партизанских гранатометчиков, теперь стали обузой для фашистов и своим скулением лишь выдавали их. Каратели сначала надели им намордники, а потом и уничтожили.

К рассвету партизаны по предложению Строгова вышли на проселочную дорогу и решили пройти по ней в глубь района, сметая на пути мелкие полицейские гарнизоны.

Операция на мосту и особенно выход из нее сблизили Сарбаева и капитана Строгова, заставили Джуму поверить в командирские способности на первый взгляд чересчур расчетливого, педантичного капитана.

Когда стало известно, что штаб бригады благополучно возвратился в лагерь, соединенный отряд прикрытия под командованием Строгова остановился в Холодковичах, родном селе Кастуся.

Сам Кастусь в этой операции не участвовал, поэтому не видел, что сделали фашисты с его селом после того, как жители ушли в лес. Все село из двухсот дворов было сожжено и уже заметено снегом.

Именно это место партизаны выбрали потому, что село стояло среди болот. Единственная дорога в районный центр проходила густым болотистым лесом через речку. Партизаны прошли этой дорогой и сделали на ней завал, чтобы немцы не смогли проехать на машинах, и оставили свою заставу.

Измученным, простуженным бойцам нужно было во что бы то ни стало отогреться и отоспаться, раненым нужна была медицинская помощь.

В сожженном селе все же уцелело три амбара, покрытых такой старой, спрессовавшейся от времени соломой, что она уж и огню не поддалась. Эти амбары партизаны превратили в свои жилища. А для раненых и больных натопили халупку, которая была когда-то жилищем, да покосилась, ушла в землю, но печь в ней сохранилась. Впрочем, печей в селе осталось много, они возвышались среди пожарищ как печальные свидетели налета поджигателей.

Партизанам Сарбаева вспомнился хутор, сожженный немцами, где вот так же остались торчать обгорелые печи и дымари. Видно, строители новой Европы стремились украсить этим любимым пейзажем всю оккупированную территорию...

Партизаны обживаются быстро. Через несколько минут после того, как измученные походом, боями и бессонницей отряды разместились в случайно уцелевших постройках, из всех ворот и дверей повалил дым. В амбарах развели костры и топили по-курному. Повар из отряда Бараташвили прямо под открытым небом, среди пепелища, затопил случайно уцелевшую печку с огромной

плитой и готовил обед в ведрах, найденных тут же среди обуглившихся развалин какого-то большого жилища, может быть, детского сада или больницы.

В отдаленном амбаре с провалившейся на углу соломенной крышей, откуда валил густой рыжий дым, послышались звуки гармошки. После всего пережитого за последние дни музыка воспринималась, как легкие всплески морской волны в теплый летний день. Джума безотчетно пошел на эти успокаивающие и в то же время наводящие тоску мелодичные звуки. В покосившемся и почерневшем от времени амбаре, куда он забрел, вокруг огромного костра расположились партизаны Бараташвили. Сам Георгий, низко свесив голову, сидел рядом с гармонистом, круглолицым пареньком в лохматой шапке.

Увидев несмело вошедшего друга, Бараташвили вскочил, провел гостя на кучу соломы и объяснил, что в погребе нашли хитро спрятанную гармонь и флаг сельсовета.

— Откуда узнали, чей флаг? — спросил Сарбаев, недоверчиво целясь чуть прищуренным глазом.

— Записка в нем. Спрятал сын председателя, — ответил Георгий и тут же посоветовался, не вывесить ли этот флаг над селом в знак восстановления Советской власти.

Сарбаев одобрил предложение.

— Вывесим флаг над самой высокой крышей. Пусть знают, гады: дома сжечь можно, а Советскую власть не сожжешь! — И он кивнул гармонисту: — Сыграй, друг, мою...

Гармонист тихо взял несколько аккордов, потом заиграл смелее и смелее, и вот полилась мелодия, напоминающая всхлипывания чайки, мечущейся над бушующим морем.

— Эх, жаль нет тут братишки! — еще не зная, что его братишки уже нет на свете, с грустью проговорил Георгий. — Он бы спел! Эта песня написана для него. Товарищ, потише. Совсем тихо, будто ты не здесь, а на берегу моря, и не играешь, а только вздыхаешь над своей бедой.

Джума не ожидал от сурового Георгия таких речей. Но то, что произошло в следующую минуту, словно горькой волной захлестнуло его, перехватило дыхание.

С той же страстью и силой, с какими пел когда-то Ре-

ваз, Георгий запел впервые услышанную Сарбаевым песню:

О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?
Гармонь твоя стонет и плачет,
И ленты повисли, как траурный флаг.
Скажи мне, что все это значит?

То, о чем рассказывала песня, очень совпадало с судьбой самого Джумы. С арестом бургомистра оборвалась последняя ниточка связи с Элей. Он уже не верил, что ее удастся спасти...

Георгий пел с болью в душе:

Над чистой и светлой любовью моей
Немецкие псы надругались...

После этих слов Джума порывисто встал и ушел.

Слова героя песни, моряка, жаждущего горячего боя, в котором он мог бы броситься в смертную схватку и пусть погибнуть, но жестоко отомстить врагу, — эти пламенные слова разжигали Джуму Сарбаева, все больше настраивавшегося на то, чтобы прорваться в город и броситься на выручку Эли. Погибнуть в схватке с ее мучителями, но ей дать свободу. Об этой своей решимости Джума и рассказал Игорю Синькову, сидевшему поодаль от костра, тесно окруженного партизанами.

Игорь долго молчал и все больше мрачнел. Наконец, не поднимая на друга глаз, с трудом сказал:

— Элю вывезли в Германию.

Видя, что это известие ошеломило Джуму, добавил, словно хотел дать ему какую-то надежду:

— Вместе с группой молодежи на работу.

А потом стал быстро, подробно рассказывать все, что узнал от связной Кати Зиминой.

Новый гебитскомиссар, присланный вместо погребенного в развалинах ресторана, наводит в области свой порядок. Всех, кого можно заставить работать, он старается выслать в Германию. Когда из сел и местечек была угнана в неметчину вся молодежь, принялись за жителей городов и даже арестованных. Все посаженные за связь с партизанами были разделены на две категории: явных сообщников партизан расстреляли, а тех, кого только подозревали, отправили на каторгу в Германию. С партией девушек, сидевших по тюрьмам и комендатурам, вывезли

и Элю. Но куда именно ее отправили, установить пока не удалось.

Рассказав об этом, Синьков участливо посмотрел в глаза своего командира и друга.

— Она жива. Это главное, — промолвил он, не решаясь дальше что-то предполагать...

К костру на загнанном коне прискакал Запорожец. Он так устал и закоченел от быстрой скачки на ветру в легкой одежонке, что даже после горячего чая с трудом рассказал, ради чего скакал по лесу два часа, не жалея ни себя, ни коня.

Послал его начальник разведки капитан Орлов. Разведчики установили, что немцы выслали несколько сильно вооруженных карательных отрядов по всем районам области с приказом уничтожить на пути все живое.

Фашисты знают, что в Холодковичах расположились партизаны, однако решили сначала уничтожить еще не сожженные окрестные села и двигались вокруг Холодковичей.

— В каком пункте они сейчас? — положив перед гонцом карту, спросил Сарбаев.

Игнатий показал место и добавил, что двое разведчиков скачут по лесу параллельно движению немецкой автоколонны и через каждую пару километров зажигают большой костер.

— Зачем еще костры? — спросил Бараташвили, который, узнав о гонце, пришел к костру Сарбаева.

— Вехи. По ним вы узнаете, куда направились каратели, — пояснил Запорожец.

— Молодцы ребята! — обнял разведчика Бараташвили. — Да чего вы его водой заливаете! Ведите его к моим ребятам. Первача стакан ему и щей горячих с перцем! — С этими словами Георгий положил руку на плечо Сарбаеву, и по улице сожженного села они направились к Строгову.

— Джума, думай сейчас не о беде своей, а о том, как сбросить ее с плеч! Так учил меня отец, когда я был маленьким, — сказал Бараташвили. — Не можешь думать — я за тебя подумаю. Скажи, в твоем районе в данный момент нет других немцев, кроме тех, что движутся в сторону твоего лагеря?

— Только группа ландвирта, — безразлично ответил Джума.

— Чем они занимаются?

— Хозяйственники, Забирают скот и хлеб у населения.

— Вооружены?

— До зубов!

— Сколько их?

— Взвод.

— Попробуем с помощью этого ландвирта разгромить карателей. — Георгий хлопнул друга по плечу: мол, не робей. — Первым делом — прибрать отряд ландвирта к рукам. Взять живыми, чтобы не попортить военную форму. Она нам пригодится. Уговорить командира действовать по нашему указанию, если хочет сохранить свою голову. Занять хутор, что на тракте между селами. И ждать карателей. А дальше план такой... — И Бараташвили, как всегда, горячо, вдохновенно начал излагать свой план разгрома банды гитлеровских разбойников.

Слушая его, Джума не был уверен, что капитан Строгов одобрит такой дерзкий замысел Георгия, но обещал горячо его поддерживать.

По укатанной санями проселочной дороге медленно двигалась странная процессия. Несколько деревенских стариков под уздцы вели лошадей, волочивших бороны с наваленными на них каменьями. Они глубоко бороздили прикрытую снегом дорогу, искали партизанские мины.

В полукилометре за этой «разведкой» шли три крытых грузовика с эсэсовцами, вооруженными автоматами и пулеметами. За ними следовал «мерседес» с командиром карательного отряда, переводчиком и радистом, поддерживающим связь с городом.

Вслед за «бороновальщиками» колонна двигалась не быстрее похоронной процессии, зато это был испытанный фашистами способ прочистки дорог.

Так немцы бороздили проселочные дороги уже второй день. Но партизан они не встретили ни в селах, ни в лесу и решили, что те попрятались пред столь внушительной силой.

К вечеру второго дня, подъезжая к хутору, стоявшему на большой поляне, немцы заметили огромное стадо крупного рогатого скота, направлявшегося к хутору, а впереди прямо на дороге — шлагбаум, видимо перекрывший дорогу, чтобы случайные проезжие не помешали гуртоправам загонять скот во двор. Шлагбаум был примитивный —

простая жердь, положенная на козлы, стоящие по обеим сторонам дороги. Мимо этого шлагбаума с ревом и мычанием скот заходил во двор через широко раскрытые ворота.

У шлагбаума стояли два немца с автоматами. Один понукал скот, направляя его к воротам, и, кажется, даже не замечал подходивших автомобилей, а другой, ножницами расставив ноги и держа руки на автомате, пристально смотрел на приближающуюся автоколонну. Было ясно, что, пока скот не втянется с дороги во двор, шлагбаума этот немец не уберет.

Несколько солдат в капустно-зеленых шинелях и касках столпились на крыльце большого бревенчатого дома и с любопытством глазели на автоколонну. К ним вышел, видимо, хозяин дома, без шапки, без пальто, несмотря на холод. Почесывая в косматом затылке, он с неудовольствием смотрел на очередную партию гостей.

Так, по крайней мере, показалось штандартенфюреру, командиру карательного отряда.

Косматый хозяин не ошибся бы, принимая немцев, едущих на машинах, за гостей или постояльцев: не будь здесь ландвирта с его ревущим стадом, штандартенфюрер облюбовал бы этот хутор для ночевки. Здесь намного безопасней, чем в селе. До леса далеко. Можно организовать круговую оборону, не опасаясь, что партизаны подкрадутся из-за соседнего дома. Но придется пропустить это стадо и уже без «бороновальщиков» проскочить в село. Там, где прошел по дороге скот, едва ли остались партизанские мины.

Машина штандартенфюрера обогнала грузовики и остановилась недалеко от шлагбаума. Грузовики подтянулись и тоже стали один за другим метрах в пяти. Машины вообще шли на небольших дистанциях, чтобы в случае нападения можно было дать плотный огонь. Как только «мерседес» затормозил, адъютант командира карателей выскочил из машины и подозвал к себе часового, стоявшего у шлагбаума.

Нерешительно потоптавшись на месте, часовой медленно направился к машине. Из кабин грузовиков на препятствие, возникшее на пути, недовольно смотрели офицеры.

Немцы, без дела стоявшие на крыльце, с любопытством подошли к жердевой ограде и разбрелись вдоль нее.

А из калитки быстро вышли двое — полный, грузный пожилой офицер в шинели с меховым воротником, вероятно сам ландвирт, и стройный, подтянутый гауптман в щегольской форме, без шинели, с орденами на груди.

Гауптман решительным жестом остановил часового, направившегося было к легковому автомобилю.

Толстый офицер вскинул руку для приветствия. Но не успел он гаркнуть свое «хайль», как штандартенфюрер и его адъютант были убиты автоматной очередью, раздавшейся со стороны шлагбаума.

Это и послужило сигналом: из-за бревен, присыпанных снегом возле ограды, в сторону грузовиков одна за другой полетели гранаты. А «бездельничавшие» за оградой «немцы» залегли и ударили по машинам из автоматов.

Из кузовов, над которыми рвались гранаты, фашистов, как вихрем, смело. Все, кто уцелел, залегли в кювете по другую сторону дороги, откуда можно было уползти по невысокому, но густому ельнику. Но только они открыли ответный огонь, из ельника в кювет полетели гранаты, взрывами заглушавшие автоматную и пулеметную стрельбу. Так удачно залегшие было в кювете каратели стали уползать назад. Но и там их ожидал плотный огонь невидимых в ельнике автоматов. Очень немногие оставшиеся в живых стали поднимать руки, сдаваться...

Радиста, который начал было передавать сообщение о том, что видел, схватили бойцы Георгия Бараташвили. Немец уже успел сообщить, что на отряд напали партизаны. Его заставили вызвать подкрепление на дорогу к Холодковичам, которая была заминирована еще тогда, когда сводный отряд поселился в сожженном селе.

Операция по уничтожению карательного отряда была закончена. Бараташвили и одетый в форму гауптмана Сарбаев изложили капитану Строгову свои дальнейшие планы.

— Сейчас мои хлопцы проверяют машины. Две оказались целыми, — докладывал Бараташвили, — «мерседес» тоже на ходу. На этих машинах рвануть наперерез подмоге карателям. Возле поворота на холодковичскую дорогу спешиться и лесом подойти к минному полю, где немцы наверняка застрянут.

Строгов кивнул в знак одобрения. Молча пошли к автомобилям, которые уже развернулись и урчали моторами.

Хотя кузова машин были сильно повреждены гранатами, на двух машинах поместились оба отряда. Да и на «мерседесе» сумели усесться не пятеро, а значительно больше.

Резервный отряд карателей оказался сверхоперативным. Партизаны не успели углубиться в лес, как услышали взрывы мин на дороге к Холодковичам. А когда уже в темноте выбрались на дорогу, увидели две разбитые машины и следы пешком возвращавшихся в город немцев...

Завербованный Андреем Гаком капитан Сердюк делал все возможное, чтобы смыть свой позор изменника Родины. Это он сообщил капитану Орлову о карательных отрядах, посланных в разные концы области. И партизаны в каждом районе сумели встретить карателей так, что только отдельные разрозненные группы немцев без машин, а то и без оружия, переодетые в крестьянскую одежду, возвратились в город, где их ждали по меньшей мере штрафные батальоны да Восточный фронт.

Лишь через много дней после взрыва ресторана Георгию Бараташвили сообщили о героической гибели его брата. Сказал об этом сам комбриг на одном из совещаний командиров.

Когда полковник Стародуб заговорил дрогнувшим голосом: «Георг, ты мужественный человек...», Георгий, сидевший у стола, сразу догадался, что услышит что-то недоброе, обхватил руками голову, да так и застыл, словно замерз, облитый водой в ледяную стужу на ветру.

И все удивились, как воспринял скорбную весть этот кипучий, вспыльчивый человек. В бригаде Георгия называли «вулканом». И вот этот вечно извергающийся «вулкан» умолк, затих под тяжестью огромного, безысходного горя.

Совещание затягивалось только потому, что все боялись за Георгия — что будет делать «вулкан», когда вырвется отсюда? Бараташвили, видно, понял это, подошел к Стародубу. Правая щека его подергивалась и казалась раскаленной.

— Товарищ комбриг! — тихо, почти шепотом заговорил он. — Разрешите на три дня уйти в лес. — И, оглянувшись на товарищей по оружию, успокаивающе поднял руку: — Не думайте, друзья, что раскис я от горя, как старая баба. Нет. И не раскис. И не ослаб. Наоборот, неистраченная сила брата досталась теперь мне. Кровь брата кипит вот

тут! — он постучал себе в грудь. — Пойду подумаю, куда девать эту силу.

— Георг, я согласен, что тебе надо побыть одному, подумать, — отвечал полковник. — Но прошу об одном: не теряй головы. Помни, теперь у каждого за плечами горе.

— Нет, товарищ комбриг, головы я не потерял от горя! — все так же спокойно отвечал Бараташвили. — Просто до сего дня я делал все в половину силы. А теперь хочу развернуться! — И он широко развел руки, будто хотел обхватить и уничтожить что-то огромное, тяжелое, ненавистное.

— У тебя уже есть какие-то замыслы? — выспрашивал Стародуб, не желая отпускать его. — Может, поделишься?

— Боюсь не испортить бы дело... — начал было Георгий, но, пытливо обведя взглядом командиров и комиссаров, проникновенно, словно обращался к каждому в отдельности, заговорил теперь уже громче, горячей, напористей: — Товарищи, поймите вы, я же кавалерист, природный наездник. Джигитовке начал обучаться с трех лет. А в армию попал — и пропало все, что в крови передали мне деды и прадеды. Даже, кажется, обвисла, онемела правая рука, которая когда-то неплохо рубала. Правда, рубать ей приходилось только лозу. А теперь бы... Ух, как я хотел бы рубать эту черно-зеленую саранчу!

— Удастся ли тебе рубать фашистов, не знаю, — заговорил Чугуев. — А вот создать летучий кавалерийский отряд, чтоб наводил ужас на районные и местечковые гарнизоны, крайне необходимо.

— Товарищ Чугуев совершенно прав! — поддержал начальника штаба Стародуб. — Но где раздобыть хороших коней?

— В каждой комендатуре есть по нескольку верховых лошадей, — горячо заявил Бараташвили.

— Сбор этих лошадок может обойтись тебе голова за голову, — заметил Строгов. — Стоит ли игра свеч?

— Товарищ командир, разрешите сказать! — встал Сарбаев. — Я знаю немецкий кавалерийский отряд седел в тридцать.

— Где он? Чего молчал?! — закричал Бараташвили, вмиг очутившись рядом с Джумой и схватив его за плечи,

— Садись, Георгий, успокойся, подумаем вместе, — сказал Чугуев, доставая из планшетки какие-то бумаги. — Тут у меня есть один трофейный документ, мне кажется, он как раз нам сейчас поможет. Это личное дело командира первого отряда, — кивнул он на смутившегося Джуму Сарбаева, — составлен документ в полиции. Я прочту его дословно:

«1. Фамилия, имя, отчество: Сергей Зима. Отчества нет, как у всех басурманов.

2. Вероисповедание: нехристь, какой-то мухамед.

3. Образование: высшее тюремное — прошел семь тюрем».

Партизаны, слушавшие этот документ, начинали посмеиваться, перешептываться.

«4. Довоенная профессия: конокрад».

Дружный хохот прервал дальнейшее чтение этой бумажки.

— Товарищ начальник штаба, не теряйте этот документ! — взмолился Джума, когда смех поутих.

— На, дарю тебе на память. Сам храни, — Чугуев отдал серый листок и продолжал, глядя на Стародуба: — Вот, может, мы и попросим заняться кавалерией товарища, у которого есть в этом деле опыт. — И тут же, словно извиняясь, спохватился: — Но это я так, товарищи, для веселой разрядки. А поручить операцию по уводу лошадей конечно же лучше всего товарищу Сарбаеву, потому что человек он осторожный и осмотрительный, а главное — сам видел этих кавалеристов.

— Осторожный, хитрый, и впрямь, как степной конокрад! — с удовольствием поддержал Строгов, который после совместной операции на мосту души не чаял в казахе.

— Операцию с лошадьми надо провести так, чтоб не платить человеческой головой за лошадиную, — сказал Стародуб. — Пусть Бараташвили и Сарбаев разработают план операции и доложат.

Стародуб и оставшийся в штабе Чугуев были рады, что Бараташвили удалось отвлечь от тяжких дум, которые могли пригнуть его к земле.

В горе, в неутешной печали человеку нужно побольше валить на плечи тяжелых дел — пусть он, охваченный скорбью, чувствует себя еще более нужным людям, чем был нужен вчера, когда ничто не омрачало его жизни.

XXXIV

Растаял последний снег, и партизаны исчезли, словно тоже растаяли в лесу. Пройдет целый отряд — и никакого следа. А крушения на железных дорогах стали все более частыми и неотвратимыми. Подрывники научились делать какие-то хитрые мины. Да и вообще творят они что-то непостижимое. Часто поезда подрываются именно там, где только что была обнаружена и обезврежена мина.

«Молниеносная война» не удалась Гитлеру. Теперь уж не до взятия Москвы. Теперь бы закрепиться на оккупированной территории, которая для них день ото дня уменьшалась. Сделать Днепр неприступной железной стеной. Но как это сделать, если здесь, в тылу, идет война не легче фронтовой?

Фюрер обещал каждому офицеру имение на захваченной территории. Но какой немец согласится жить на земле, где все под ногами горит, где, ложась спать, не знаешь, проснешься ли живым! А разве можно будет вызвать сюда жену с детьми? Если по дороге они не погибнут под обломками подорванного поезда, то на месте им придется прятаться где-то в подвалах, потому что здесь нет даже бомбоубежищ.

Странно жили эти русские! Все что-то строили, строили. А бомбоубежищ у них нет, будто никогда не собирались воевать.

Так размышлял новый гебитскомиссар. Человек он уже немолодой, на фронт его не послали. Да, собственно, и сюда не посылали, а уговаривали, упрашивали послужить великой Германии. Барон занимал на родине довольно высокие посты и везде справлялся. Но там он все знал. А тут ничего не знает. В этой стране все делается наоборот. За целый месяц он ничего не сумел сделать такого, чтоб о нем можно было сказать: «Барон и там навел порядок». Наоборот, ему кажется, что все здесь рушится. Сюда его еще так-сяк притащил немецкий паровоз. А отсюда выбраться теперь по железной дороге и не мечтай. Но ведь на самолете всего не увезешь. А увезти отсюда надо, и не мало. Почему же не увезти, если есть возможность? У барона три дочери, внуки и внучки. О, им нужно очень многое из того, что есть в России! Особенно меха...

На этом размышления гебитскомиссара были прерваны секретарем, вошедшим со срочным докладом. Как всегда, секретарь положил на стол стопку разных бумаг, требовавших внимания барона, а устно рассказал о важнейших событиях минувшей ночи.

Как ни странно, самые важные события в этом краю происходили ночью. За минувшую ночь на вверенной барону территории пущено под откос пять воинских эшелонов, разбито две районные комендатуры, отбит партизанами весь собранный у крестьян хлеб, который везли в город под усиленной охраной мотоциклистов. А самое главное, что совершенно не укладывалось в голове барона, так это то, что партизаны увели сорок шесть скаковых лошадей, принадлежащих особому карательному эскадрону, стоявшему в центре города.

— Утром партизаны на этих конях окружили большой немецкий обоз и увели его в лес. Следы обоза исчезли в болотной речке, — не то со злорадством, не то с восторгом закончил свой доклад секретарь, совсем еще юный, хотя и рослый паренек.

Барон спросил, чему он так радуется.

— Не радуюсь, господин гебитскомиссар, а негодую! — возразил юноша. — Кучка вшивых лесных бродяг угнала из-под носа гестаповцев таких коней. И — след в воду. Да я их под водой нашел бы!

Барон молча, но грустно посмотрел на горячащегося юнца и отпустил его.

«Кучка вшивых лесных бродяг! — хмыкнул он.— Вот так же они там, наверху, смотрят на эту лесную армию. Точно так же. А это ведь армия. Да еще какая! Это чисто русская армия. У нее свои методы, свои приемы. И нам их не понять...»

Через час гебитскомиссар услышал новость похлеще утренней: партизаны заняли два села близ железной дороги и вывесили там красные флаги.

Нужна была хорошо подготовленная воинская часть для истребления партизанских группировок, осмелевшихся уже занимать села. Но где взять эту силу? Резервные войска командование все чаще снимало с отдыха и отправляло на фронт.

Большую надежду возлагало гестапо на шпионов, засланных из спецшколы в партизанские отряды. Каждый день поступают сведения от этих шпионов об уничтоже-

нии партизанских командиров и комиссаров, а партизанское движение, как пожар, охватывает все новые районы.

Гебитскомиссар, конечно, и не подозревал, что все выпускники спецшколы свои донесения писали под диктовку партизан...

Боясь прежде всего за свою собственную жизнь, гебитскомиссар требовал от подчиненных усиления репрессий, безжалостной расправы с мирными жителями, помогающими партизанам, и не понимал, что, чем сильнее он закручивал гайки, тем больше народ тянулся к партизанам. Летом гебитскомиссар уже опасался выезжать за пределы города даже на броневике..

Недели две в бригаде Стародуба жили двое из областного штаба партизанского движения — Прохоров и майор Стрельцов. Изучали жизнь партизан, их методы борьбы, беседовали с бойцами.

Наконец Прохоров объявил, что они возвращаются к себе в штаб. Вручил Стародубу пачку наградных листов и объяснил, что это и было главной причиной их долгого пребывания в бригаде. Нужно было изучить жизнь бригады, прежде чем представлять партизан к правительственным наградам.

— На ордена не скупись, — наказывал он Стародубу. — Мужик ты прижимистый. На благодарности и то туговат. А у тебя здесь что ни человек, то герой. Заполняй наградные листы. Не забудь погибших — Анупрея Цьвоха, Реваза Бараташвили, да и живых не обходи, особенно тех, кто проводил операцию по подрыву моста. А операция «шабашников» заслуживает самой высокой оценки. Особо отметь девушку, которую вы потеряли из-за военного инженера. Он оказался значительно более ценным «языком», чем мы предполагали... Через месяц пришлем связного за этими материалами.

Кавалерийский отряд Георгия Бараташвили готовился к далекому и трудному походу. Командование одобрило план Бараташвили совершить рейд в глубокий тыл врага. Главной задачей эскадрона было пробуждение в народе веры в скорое возвращение Красной Армии. Выдавая себя за эскадрон глубокой армейской разведки, конники Бараташвили будут уничтожать мелкие гарнизоны про-

тивника и на базе добытого в этих налетах оружия создавать местные партизанские отряды.

Как просился в этот рейд прирожденный кавалерист Джума Сарбаев! Но его не пустили.

— В одно гнездо двух таких орлов? — говорил Сарбаеву Стародуб. — Слишком жирно. Коней достать помог — и на том спасибо. Без тебя я не могу, сам понимаешь...

Для эскадрона достали переходящее Красное знамя Верховного Совета Белоруссии, хранившееся у одного колхозника. Это знамя отряд решил пронести по тылам врага как символ Советской власти, которая жила и будет жить вечно.

В светлый июньский полдень конники Бараташвили, вооруженные автоматами, винтовками и ручными пулеметами, с песней отправились на запад.

— Начальник, ты не ошибся при подсчете? — спрашивал Чугуева Стародуб, недоверчиво глядя на бумагу, где были выписаны итоговые цифры партизанской деятельности бригады.

— Нет, Павел Прокофьевич, — ответил Чугуев уверенно. — Проверил дважды.

— Неужели и на самом деле мы столько навредили фашистам? — всматриваясь в цифры, сам себя спрашивал Стародуб. — Восемнадцать воинских эшелонов пущено под откос. Да это же вооружение целой дивизии! Убито фашистов... Неужели же более тысячи? Выходит, по пять гитлеровцев на одного партизана? А я все переживаю, что долго раскачиваемся в борьбе с оккупантами, не разворачиваем настоящих боевых действий...

Этот разговор прервал связной из областного штаба, которого ввел часовой. Устно связной передал приказ явиться в штаб Стародубу с лейтенантом Сарбаевым и его комиссаром. Командование временно передать другим товарищам, по своему усмотрению. Захватить все наградные листы, подписанные командиром, комиссаром и начальником штаба бригады.

— Что там случилось? — недоумевно спросил Стародуб.

— Совещание, — коротко ответил связной.

— Ну-ну! — И Стародуб послал гонцов за командиром и комиссаром отряда «Смерть фашизму!».

Проводником взяли Кастуся. После гибели отца он был адъютантом Стародуба. Но Павел Прокофьевич чаще всего называл его сынком.

К вечеру следующего дня Стародуб со своими товарищами добрался до места. И удивился, что это было не в самом штабе, находившемся в землянке, а на хуторе, в большом доме. Здесь уже были Прохоров и человек десять незнакомых ему партизан, видно таких же, как и он сам, командиров.

— Наградные листы принесли? — сразу же спросил Прохоров, забрал у него пачку бумаг и, разложив на столе, кивнул пришедшим: — Садитесь, товарищи, поужинайте покрепче. Дорога вам предстоит дальняя и нелегкая.

Стародуб удивленно посмотрел на него. Но еще больше он удивился обилию вареной картошки и мяса на столе.

— В честь чего это пир горой? — спросил он.

— В честь убийства лося, — улыбнулся Прохоров.

— Вижу, Захар Филиппович, чего-то не договариваешь! — заметил Стародуб.

— Вот поешь — сразу скажу, — подмигнул Прохоров партизанам, которые как-то победно и торжественно смотрели на только что прибывших. Видать, они уже знали, что именно затевается.

Стародуб все-таки уставился на Прохорова: мол, говори.

— Предстоит совещание основателей партизанских отрядов нашего края и награждение их орденами и медалями, — не поднимая головы от наградного листа, ответил Прохоров.

— А кто будет награждать?

— Да кто же! Вероятнее всего, Михаил Иванович Калинин.

Стародуб даже привстал. А Прохоров продолжал, уже глядя в глаза и радуясь такой реакции на его добрую весть:

— Как стемнеет, уйдем в лес, на поляну. В час ночи прилетит самолет за вами. Утром будете в Москве.

Никто теперь не мог есть. Каждого охватило такое волнение, что было не до еды.

— Вот почему на столе остались эти горы мяса! — сказал Стародуб. — Товарищи приходили, и ты сразу их

угощал третьим. А детей своих, поди, учил не есть сладкого перед обедом, чтоб аппетит не испортить.

Захар Филиппович, лукаво улыбаясь, сложил наградные листы и, передав их своему порученцу, придвинулся к середине стола.

— Пришли все. Так что за стол, товарищи, дадим решительный бой этому лосю. Я лично хорошо переношу самолет, если в желудке нет болтанки от пустоты.— И он первым принялся за ужин.

Когда поели и выпили по стакану чая, пахнущего всеми разнотравьями полесского луга, Захар Филиппович блаженно откинулся на спинку стула и сказал:

— Если бы знали фашисты, кто собрался в этом доме!

— О-о-о! — расставив ручищи, пророкотал суровый черноусый великан. — За пятеркой партизан, подорвавших паровоз, гоняются целыми ротами. А тут собрались такие орлы — за плечами у каждого десятки эшелонов, пущенных под откос! Да из самого Берлина прилетела бы целая хмара бомбардировщиков!

— Захар Филиппович, — придвинулся Стародуб к Прохорову, — в самолете места всем хватит?

— А что?

— Да я бы сынка захватил с собой. Ему бы лучше учиться, чем воевать.

— Откуда у тебя тут сын? — удивился Прохоров. — Ведь сам говорил, что оба там, на Большой земле.

— Этого я здесь приобрел, сразу взрослого. Мечтает стать судостроителем.

— Ну так что ж, бери, устраивай. Пусть учится. Но ты мне потом расскажешь, что это за история.

— Ох, Филиппыч, горькая, очень горькая история, как и все теперь тут, вокруг нас...

XXXV

День стоял солнечный, светлый, как в праздник. Была годовщина войны. Но Москва не казалась так угнетенной военной обстановкой, как представлялось партизанам, когда сидели в самолете, вывозившем их из глубокого тыла врага. Людей на улице было много, и все куда-то шли. Одни — быстро, другие — не спеша, и казалось, заняты были совсем не войной, а обычными житейскими заботами.

Только они двое, Джума Сарбаев да Игорь Синьков, брели без всякой цели по улице Горького, никуда не спешили, ничего не собирались делать. И самое удивительное, непривычное для них, что не оглядывались, не присматривались, ниоткуда не ожидали нападения и сами не собирались нападать, как это бывало в тылу врага.

Возле памятника Пушкину остановились, как перед каким-то чудом. Ведь там, на оккупированной земле, не осталось ни одного памятника, ни одного музея: что разрушено, что разграблено, что загнано в подземелье. А тут вот стоит он, бессмертный поэт, задумчиво смотрит на проходящие перед ним новые поколения и как бы говорит: «Здравствуй, племя младое, незнакомое...»

Пошли по Тверскому бульвару, любуясь необычайными розами на высоких черенках.

— Это что ж их так высоко подняли? — спросил Синьков друга. — Чтобы срывать не нагибаясь?

— Нет, чтобы весь воздух был напоен ароматом, — ответил Джума и тут же сам задал какой-то не менее пустячный вопрос.

За год войны это был первый день, когда командир и комиссар партизанского отряда вот так беззаботно болтали о том о сем.

Вдруг Сарбаев остановился, придержав друга за плечо, озорно посмотрел ему в глаза и спросил:

— Товарищ комиссар, а какой на вас костюм?

— Новый, какой же еще, — ответил Синьков.

— А цвет, какой цвет?

— Да ты что, не видишь? Продавец сказал, что это кофе с молоком.

— А фуражка?

— Ну и фуражка. — Игорь даже снял свою фуражку с маленькой алой ленточкой, которую продавец сам пришпилил, когда узнал, что они партизаны.

Осмотрев фуражку, Синьков надел ее и спросил, почему возник такой вопрос.

— А туфли какого цвета? — не унимался Джума. — Коричневые?

— Коричневые, конечно, — недоуменно развел руками Синьков. — Да ты что!

— Нет, ты скажи мне совершенно точно, коричневые или не коричневые? — допытывался Джума, с трудом подавляя улыбку.

— Да что с тобой, Джума? Конечно же коричневые. Но что из этого?

— Ах, все-таки коричневые! — С лица Сарбаева вдруг сошла напускная хмурость, он улыбнулся, сверкая зубами, и подмигнул: — Значит, я был прав?

Синьков задумался и вдруг вспомнил:

— Да! Ведь тогда, на хуторе Анупрея Цьвоха, когда я злился на грязные обмотки, ты уверял, что мы еще в коричневых туфельках да в светлых костюмчиках пройдемся по Москве... Я тогда так позавидовал твоему оптимизму!

— Партизану оптимизм дороже компаса!

— Ох, девочки, это же партизаны! — услышали друзья восторженный возглас за спиной.

Оглянулись. Под небольшой, низко остриженной липой стояли две девчурки, видно первоклассницы, и с восхищением смотрели на партизан. Каждая в руке держала мелочь, — наверное, шли за мороженым. Подбежал мальчишка, их сверстник. Этот сразу же подошел к Сарбаеву и спросил, какая у него медаль, похвалившись при этом, что видел всякие, а такую — впервые. Сарбаев объяснил, что медаль у него партизанская. А ордена...

Мальчишка не дал ему договорить, сам сказал, что это у него орден Красной Звезды и орден боевого Красного Знамени.

Девчушки тем временем, позвенев своей мелочью, куда-то убежали.

Тут внимание партизан привлекла радиопередача. Очень знакомый голос послышался из репродуктора в глубине сквера.

Сарбаев и Синьков узнали голос своего командира. Полковник Стародуб, отвечая на вопросы корреспондента, рассказывал о людях своей партизанской бригады, о их мужественной борьбе в глубоком тылу врага.

Когда Стародуб умолк, диктор сказал:

— Вы слушали выступление командира воинской части, которая вот уже год, не выходя из боя, громит врага на временно захваченной фашистами земле.

Джума посмотрел на часы. Пора было возвращаться в гостиницу. Скоро Стародуб вернется туда с Кастусем. Вечером — на аэродром. И снова в тыл врага, в леса, на дороги, занятые чужеземцами. Снова в бой!

Распростившись с мальчишкой, партизаны направи-

лись было к центру, когда к ним подбежали запыхавшиеся первоклассницы. У каждой в руке было по огромному алому пиону.

— Товарищи партизаны, можно вам подарить цветы? — в один голос спросили они.

Одна преподнесла свой цветок Сарбаеву, другая — Синькову.

— Спасибо, миленькие! — Джума ласково положил руку на русую головку с косичками, торчащими по сторонам. — Как тебя зовут?

— Люся Зюзина, — ответила девчушка.— А ее — Тома Филяева.

— Ну вот, Люся и Тома, мы рады вашему подарку, давно не держали в руках цветов. Но не заберут ли нас в милицию? Ведь цветы вы на клумбе сорвали?

Девочки, перебивая друг дружку, объяснили, что цветы они купили на рынке на деньги, данные им на мороженое, рынок-то рядом.

— Ну, если так, тогда большущее вам спасибо.— Джума за худенькие плечики поднял девочку, посмотрел в светлые, бесконечно счастливые глаза и, опустив ее, дал новенький червонец на мороженое взамен потраченной на цветы мелочи.

Разглядывая жизнерадостные пунцовые лепестки пиона, Джума с горечью подумал, что ему не привелось подарить Эле ни одного цветка. Вспомнил, как он искал ветку вербочки с кашкой, когда Анупрей Цьвох вел его на первое свидание с Элей. Теперь Анупрей казался ему самым дорогим на свете человеком. Но и его уже нет.

— Игорь, сколько дней могут храниться эти цветы? — спросил Джума друга.

— Да с неделю. А что?

— Давай повезем их на могилу Анупрея Цьвоха.

Синьков удивленно посмотрел в глаза друга, мысленно представил расстояние от Москвы до одинокой могилы на хуторе Волчий кут, взял оба цветка и сказал, что, если их завернуть сейчас в мокрую газету, они проживут долго.

— Ночью мы улетим. А послезавтра к вечеру будем на хуторе. К лагерю от штаба все равно мимо Волчьего кута, — сказал он и так посмотрел в суровые, полные тоски глаза друга, словно только сейчас по-настоящему его понял.

Завернув цветы в газету, друзья молча отправились в гостиницу.

Однако полковник Стародуб не вернулся к условленному времени. Сарбаев и Синьков не пошли даже обедать, ждали его с минуты на минуту. А к вечеру начали беспокоиться.

Наконец Павел Прокофьевич пришел усталый, но счастливый, радостно взволнованный. Следом за ним как-то робко вошел неузнаваемо преображенный Кастусь. Он был в новой, незнакомой партизанам черной форме.

— Павел Прокофьевич! — широко расставив руки, словно хотел обнять, воскликнул Джума. — Мы уж беспокоились, не случилось ли чего, а вы такой счастливый, будто бригада уничтожила тысячу эсэсовцев или самого гауляйтера Белоруссии! Может, сыновей своих увидели?

— Нет, сынков я так и не увидел, — печально ответил комбриг. — В Ленинград сейчас не проберешься, но по телефону с одним говорил. А вот насчет того, что совершила бригада, ты прав. Наша бригада совершила сейчас еще большее, чем ты говоришь,— выставив на стол бутылку шампанского, сказал Стародуб, улыбаясь так, как в тылу ни разу не улыбался. — Представляю вам студента судостроительного училища Константина Бортника!

— Так быстро?! — удивился Игорь. — А экзамены?

— Экзамены он выдержал на «отлично», прямо в паркомате. Партизанская медаль послужила самым главным документом. Ну что, вы, наверное, не обедали, нас ждали? — Полковник открыл шампанское так, что пробка выскочила в окно. — Выпьем за будущего корабела!

Все шумно поздравили Кастуся, а командир партизанской бригады, глядя на шипящее вино, сказал:

— Тех эсэсовцев, о которых ты говоришь, Джума, мы еще уничтожим, да и другие не уйдут со своими гауляйтерами. Но самое главное — успеть как можно больше спасти таких вот, как наш Кастусь. Спасти и дать им путевку в жизнь. За твое светлое будущее, Кастусь!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Андрей Максимович Дугинец

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ БОЯ

Роман

Редактор А. Д. Шевченко
Художник В. А. Сальников
Художественный редактор Е. В. Поляков
Технический редактор М. П. Зудина
Корректор Е. Г. Луаннская

Г-52765. Сдано в набор 26.3.74 г. Подписано в печать 24.7.74 г. Формат 84×108[1]/32. Объем печ. л. 11¼, усл. печ. л. 18,9, уч.-изд. л. 19,854. Типографская бумага № 2. Тираж 100 000 экз. Цена 79 коп. Изд. № 4/5045. Заказ № 2413.

Воениздат
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3.

Отпечатано с матриц на Книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Дугинец А. М.

Д80 Не выходя из боя. Роман. М., Воениздат, 1974.

359 стр.

Роман посвящен партизанскому движению в Белоруссии в первые месяцы Великой Отечественной войны. Разрозненные вначале силы народных мстителей объединяются в партизанскую бригаду. Летят под откос вражеские эшелоны, гремят партизанские выстрелы в немецких гарнизонах и комендатурах. Грозой гитлеровцев стал отряд казаха Джумы Сарбаева.

Ярко и взволнованно, в романтическом ключе автор, сам участник партизанского движения, описывает, как советские люди боролись в тылу оккупантов, помогая Красной Армии приблизить день освобождения Родины.

Д $\frac{70302\text{-}264}{068(02)\text{-}74}$ 151-74 Р2

ПОПРАВКА

На стр. 296 переставлены строки: строку 24-ю сверху считать строкой 23-й.

Изд. № 4/5044. Зак. 818.